

**Хамид Исмаилов**

## **ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА**

Роман

### **От переводчика**

Хочу предварить эту публикацию несколькими очень важными для меня словами, которые, я надеюсь, сумеют сгладить хотя бы часть моей вины перед автором. Я очень спешу с опубликованием этого перевода лишь в силу странных, даже в некоторой степени мистических обстоятельств, окружающих эту работу, да и в целом, наши отношения с Алтаэром Магди.

Случилось непоправимое и я понимаю, что за это несу ответственность в наибольшей степени я сам, дело в том, что, как выяснилось впоследствии, А.Магди направил мне на перевод единственный экземпляр своего романа, а в то время, когда я работал над переводом, в силу известных всем и неизвестных никому обстоятельств нашей московской жизни, я с семьёй был вынужден некоторое время жить на квартире любезной и известной критикессы Лолы Садыковой-Звонарёвой (Коннен). Туда же мы перевезли нашего покойного кота Кити, который, как и всякие коты, весьма любил погреться на рукописях под светом настольной лампы хозяина. Но однажды на кота нашёл какой-то бес, и он описал не только этот самый единственный экземпляр романа, но и многие труды совершенно безвинной хозяйки. Мы долго сообща отчитывали кота, потом он трагически скончался, но неискоренимый запах его мочи, кстати, весьма подстёгивавший мой перевод, в конце концов, всё же заставил меня выбросить рукопись в мусорку на Лианозово, как только перевод был завершён.

А потом я вдруг узнаю, что это был единственный экземпляр.<sup>1</sup> Вот почему я спешу хоть как-то скрасить случившееся скорейшей публикацией своего перевода.

Понимая свою неумышленную и всё же тяжкую вину, я всё же в глубине души полагаю, что случившееся имеет некую связь со всей недолгой историей наших отношений с Магди, ведь именно он, совершенно не спрашивая меня и даже не будучи мне представленным, собрал мои многочисленные статьи конца 80-х годов и написал по ним свой первый роман "Собрание утончённых или роман литературного сознания", моделируя моё сознание этого времени, как типическое интеллигентское сознание эпохи перестройки. Но да Бог со всеми с нами! Каждый, как говорится, смывает вину собственными слезами...

---

<sup>1</sup> Сам Магди и в письме ко мне, да и в романе, неоднократно объясняет, что сам он всего-навсего публикатор этой самой единственной (почему он и не запаса, мол, копиями) рукописи, имевшей столь абсурдно-несчастную историю, но видит Бог, я этого совсем не знал. Как бы то ни было...

## Вместо эпиграфа

... о Боже! И создал же Ты столь совершенное чудо Своё! Старик смотрел краешком глаза в ту сторону, где, склонившись над Книгой, сидел мальчик, и странно-неуправляемые чувства вытравливались наново в его отполированном и чистом сердце. Бывает так, что среди сосредоточенной молитвы саму молитву заменяет незаметно мысль о молитве, которую можно изгнать лишь ею же самой - подняв голос в распев и его же услышав, но, прости меня Всевышний, не давалось это старцу, достигшему казалось бы не разового просветления - удела бьющихся, но непрерывного равного света, каюсь, о Боже, тысячекратно, нет, не давалось... Он давно уже оставил пустым царство снов и миражей вживь, чтобы подозревать в этом некое наваждение или кошмар, однако мысль его трепетала как мотылёк - между Создателем и Творением, прости нас Боже, грешных, и опять его бледный взгляд падал на читающего Книгу мальчика...

Со скрежетом крутящегося обратно - ровного до этого колеса, он вернул свою душу в небывалые, незапамятные времена - почитай в этот божий возраст - прочёл сто раз кряду "Вал-аср" и сто раз вдобавок "Икраъ", но Боже Всемилостивый и Всемилосердный, всякий раз, когда на язык его души ложились слова о сироте, ум его размывал возводимые всю жизнь стены, и как лишённый в одночасье опеки - беспризорно озирался по сторонам, чтобы наткнуться в неизбежный раз на это светлое лицо, доставшееся ему от Бога...

Три сотни раз принеся покаяние, старик отложил разогретые чётки и отпустил себя, оставив решать всё Аллаху. Вопрос - это путь от конца к началу, сомнение - дорога назад - он знал это сердцем и умом, и всё же он окаянно решился. Детства ли я возжаждал в своей последней несмирности, повтора ли непроторённого пути - думал он сокрушённо и неодолимо... Плоть ли во мне восстала на последнем издыхании, неусмирённая, неусмиримая?..

Этого мальчика семь дней назад привёл к нему Мирза Хумаюн Ардашер, собравшийся в восставший Балх. Вы столп нашей непопранной веры среди моря тщеты и непокаяния, - сказал он в тот поздний час. - Мальчик рос сиротой и знает вкус горечи, дабы оценить всякую минуту смирения и покоя под вашим оком. Среди сплошного разврата и блуда лишь ваша святая обитель оставляет мне право на надежду. И пусть же мой мальчик крепко держит полу вашего халата и следует за вами по дороге праведной и прямой...

Старик вспоминал эти слова воина, которому стоило многого не посадить мальчика в седло и не погнать в песчаную, пыльную бурю впереди себя в Балх, навстречу битвам и скитаниям, и он оценил тогда эту отверженность отца; сквозь устоявшийся покой своего духа он не воспротивился тогда некоему едва заметному, противоречивому движению души, и теперь он безостановочно каялся перед Всевышним, Которому, как видно, угодно было испытать старца ещё один - нескончаемый раз. Но волен Он делать всё, что угодно Ему!

Он украдкой взглянул ещё раз на мальчика, читающего Книгу и как будто бы почуяв набирающуюся тяжесть его бесшумного прежде взгляда, мальчик поднял глаза. Ресницы его взмахнули тёмной тенью и тенью же их чёрные, ясные глаза поднялись навстречу взгляду смущённого и застигнутого врасплох старика. Он отвык встречаться впрямую с юными глазами - ученики ответствовали ему не подымая глаз, но в этом взгляде - и это почуял смятённой душою старик - не было ученичества, глаза, привыкшие к ровному свету Книги, как бы задержались, задержали в себе этот ровный и неостановимый свет, и душа, грешная душа маялась перед ним, как словно мотылёк, не знающий, что делать с этим светом.

На седьмой день, когда мальчиком была заучена тридцатая часть Книги, вопрекор вековым

правилам старец неожиданно для всей такъи<sup>2</sup> объявил чиллу.<sup>3</sup> Правда и в том, что чиллу объявил он не всей такъе, а лишь мальчику, возбудив тем самым долгие и бесплодные сомнения учеников, и даже некую ревность к мальчику, удостоенному посвящения в немислимо скорый срок. Нет совершенства в человеческом мире. Сам Хафиз Сафаутдин Шайх тем вечером после халки<sup>4</sup>, размышляя очищенным сердцем о жизни, заметил среди круга посвящённых, что Учитель отяготился годами, проведёнными им в пустыне одинокого отречения и совершенства... Сердце Богу, помыслы собранию, - повторил он изречение святого Бахаутдина и собрание разошлось по ночным, мигающим свечками кельям, продолжать свои сомнения и грешные споры.

Лишь в чиллахоне не горело в эту ночь никакой свечи. Предоставленная природе, ограждённой лабиринтом стен, отражаясь в которых, ночной свет отражался о самоё себя в подземелье, она лишь была тем местом, где мысль возвращается к самой себе, и кровь, пропитанная ею, шлифует несовершенное сердце.

Мальчик, ведомый по дороге совершенного духа Учителем, после ночной молитвы осваивал столпы простейшей по форме молитвы Ихлас, о Том, Кто Един, Кто не рождён и не рождает, и нет Ему сравнения в этом мире. Первые тысяча повторов оставались на языке, не отликая от плоти, и горсть сушеного изюма, дозволенная Учителем, пускала сладкие побегии меж растрескавшихся слов, и он называл это пустыней, откуда начинается путь...

Привыкшими к темноте глазами старик разглядывал это совершенное лицо, безгрешное в своём неведении и ещё не вступая на Путь, призванный им самим, уже чуял некий холодок, веющий на его сердце. «Что же случилось со мной, о Аллах? Зачем же Ты кладёшь мне на плечи то бремя, что, быть может, мне уже непосильно?» - и вновь он принимался за следующую тысячу молитв, погребая под её успокаивающей признанностью весь рой своих никчёмных сомнений.

На третье утро, когда после предрассветной молитвы мальчишка прикорнул над шелестящей от утреннего, проникшего даже сюда в далёкое подземелье сквозняка Книгой, старик впервые за многие годы почувствовал предательскую влагу в своих настороженных глазах. О чём была эта влага, когда он возблагодарил Создателя за то, что мальчик не видит его в минуту слабости и мягкодушия, ведь именно в тот день, занёсший им незаметно свежей воды для омовения и другую горсть ореховых ядрышек с кишмишом Порсо Мухаммад, ставя их на каменную полочку в дальнем углу, заметил свет исходящий не от Учителя, но - Боже Всеблагодой! - от мальчика.

Свечки сгорали за свечками, заблудший в этих глубинах подземелья мотылёк, вспорхнувший ли из-за изюма, дорожа своей единственной на многослойную и гулкую пустоту жизнью, бился о каменный отсвет потолка, и лишь на девятый день, истомившись, упал и сторел в огне. И даже этот вечный образ, дававший всегда последнюю решимость старцу, вызвал впервые род оторопи и испуга, и мальчик, почуввав сбой в мерном шелесте губ Учителя, внезапно обернулся, и неизбежная усталость глаз будто бы стряхнула с себя пыль бесчисленных молитв...

Старец тогда совладал с собой, он знал непреложно, что Путь тем и Путь, коль скоро встав на него пусть заведомо, пусть произвольно, ты обрекаешь себя на то, что уже Путь ведёт тебя, и даже так: ведёт тобой, - смирение с неизбежностью этой истины давало ему прежде успокоение, но теперь даже это невероятное усилие воли не могло затмить ощущения, что Путь - это не то, что начинается с первого дня тревоги, оставшейся сзади и пронизывающей спину, и даже не то, что считается свершением - пусть даже это мерцающий впереди сороковой день, привидевшийся на день девятнадцатый - нет, старик обречённо вдруг ощутил, что Путь - это расстояние,

---

<sup>2</sup> суфийская община

<sup>3</sup> сорокодневный пост, который проводится в специальном подземелье - чиллахоне

<sup>4</sup> суфийское радение

разделяющее его и мальчика - эти два шага вбок между ними двумя коленопреклонёнными, эти два шага вбок, которые никогда не преодолеть, не осилить, не свершить...

На двадцать седьмой день мальчика охватил жар. Хафиз Сафаутдин Шайх, неслышно заносивший тем утром в подземелье воду для омовений и уносивший горшки с редкими испражнениями, потерявшими всякий запах, и тот заметил, что даже камень ниши не столь холоден как бывало - мальчика трясло, и старец поначалу решил, что мальчик наконец достиг Долины страхов, где правили джинны, но странное и непривычное чувство ведомости, а не ведения, испугало старика: он поспешил духом в гущу этих страхов и галлюцинаций, где джинны плясали языками огня, где пляски кончались соитием, где бесы, как новорожденцы, хватили маской твоё лицо, твоё тело, и, влезая в них, творили всё, что тлетворно хотели. Нечеловеческим усилием воли старик складывал из языков огня это единственное слово "Аллах", как заговор, как оберёг, как спасение для них обоих, и когда огни опали, изредка вздрагивая последними непокорными язычками, старик увидел, что мальчик шепчет не молитву, восславляющую имя Милостивого и Милосердого, но зовёт мать свою, имя которой неведомо ему за давностью смерти... Пот лился с него струями, мешаясь сразу же под намокшей чалмой с мутными слезами - отчего же слёзы детские так мутны? - недоумевал старик, ведь шёл уже тридцатый день, и к этому времени заражённые отшлифованным духом все отправления этого брэнного тела становились чистыми и неслышными, а тело, само тело, начинало бледно светиться... Откуда, из каких неизвлекаемых глубин эта муть?

Бессонница и изнуряющий пост превратили душу старика в клубок струн - да, да, именно это ощущение перепутанного, но не потерявшего способности звучать, клубка не покидало старика - каждое движение мальчишеского нутра отзывалось долго и гулко в этом клубке, но впервые за многие просветлённые годы старик терялся, не понимая значений этих звуков...

Ещё и ещё раз, приступом - как молитву за молитвой - волна за волной, он бесплодно наступал на неведомую доселе сушу - столь близкую и столь незнакомую, и опять на обнажённом песке непреодолимого этого расстояния оставалась лишь пена и влага, и он слизывал её со своих растрескавшихся от молитв губ...

Мальчик не приходил в себя уже неделю.

Глубокой ночью, после полуночной молитвы, старик укладывал мальчика на кошму и, прикрыв его молельным ковриком, обтирал его горячее лицо кончиком своей тонкой чалмы. Почему он не отправил его при первом же знаке недомогания вверх, нет, прежде, ещё прежде того, почему он ввёл эту юную и неокрепшую душу в это подземелье, зачем поставил на этот долгий путь уединённых и отрешённых? Какая гордыня заставила его вести ребёнка по пути, что принадлежит лишь Аллаху?! Мало ли было ему того, что двадцать лет назад Абдулатиф Лабиб Урмавий - юноша писаной красоты сбежал на тридцать третий день из подземелья - сумасшедший и гонимый оскорблёнными ангелами потревоженной и неосвоенной им молитвы "Ихлос"?!

Оставаясь лицом к лицу с этими вопросами, старик опять прятался под защиту молитв, но истомлённость духа противостояла и им - эти бесчисленные молитвы, потерявшие счёт и значение, казалось, теперь решили растерзать его душу включь...

К тридцать седьмому дню мальчик открыл на рассвете глаза. О том, что это рассвет старик догадался по лёгкому прикосновению ветерка в спину - отражённый лабиринтами каменных стен свет сверкнул на мгновение и едва уловимый запах хны от бороды горбуна Абу-аль-Малика, занёсшего видимо тёплую воду для омовения, да очередную горсть сушеного урюка с наколотыми орехами, придал уединению воспоминание о посторонней жизни.

Сон ли это был или предвидение: он ясно вспомнил как на тёмной улице, ищущего свой забытый баул, его встретил этот самый Абу-аль-Малик-горбун и вместе с мальчиком повёл туда, где старец - ещё не старец, должен был найти успокоение. Они шли дворами, а особенно же поднимались по глиняным ступеням и деревянным лестницам, пока не оказались там, где запрокинув голову навзничь, некий строгий старик читал за пологом древнюю книгу, но не к нему вёл горбун Абу-аль-Малик - вправо от этой комнаты, за бязевым навесом он пригласил на мгновение-другое в своё жилище и откинув этот навес, он сам прошёл во внутрь этой кельи - с сундук пространством - вот это моё жилище, - сказал он, милости вас прошу, и тут же расстилая в этот сундук курпачу<sup>5</sup>, протянул припрятанные под ней три танги мальчику - дескать, сбегай на базар по угощение. Старец-ещё не старец стал виниться - мол, не стоит утруждений, я лишь на миг-другой, поскольку я сам бы хотел жить этой жизнью - он бросил взгляд на всю эту келью размером, как он теперь понимал с чиллахону, да, увы, дорога велит другое - он коснулся губами кишмиша, и даже сложив вдвое, откусил сушеной дыни - а там наш двор - показал горбун Абу-аль-Малик в сторону полога, и на пологе обрисовался огромный двор с навесами и террасами, с неким подобием чайханы и даже сцены для певцов и музыкантов. По вечерам приходят мутрибы<sup>6</sup>, - объяснил набожный горбун и старец-ещё не старец всё с тем же чувством полновесной вины сказал: Что ж, прочту-ка молитву и пойду. Он прочёл очень простую и неказистую молитву, дескать, не пропади то место, где мы сидим, когда Абу-аль-Малик взглянул на мальчика и сказал: А я уж собирался читать Аль-Кадр. Мне проще сказать о себе, - ответил старец и встал...

Мальчик открыл глаза.

---

<sup>5</sup> подстилка

<sup>6</sup> музыканты

## Глава 1

...Летом чайхана выносилась под огромные пристанционные серебристые тополя, на которые собственно и направлялась железная дорога в прошлом веке. Установили пяток суп<sup>7</sup> и тем летом, когда началась война. Правда все меньше народу оставалось под тенью тополей, старые ушли на фронт, новый Гилас из раненных и пришлых еще не собрался. Разве что Умарали-судхор<sup>8</sup>, поправившийся в довоенной тюрьме на пуд - годный к тюрьме, но не годный потому к строевой, затем Толиб-мясник - тогда еще как в отместку Умарали столь худой, что люди изредка доверяли ему распределять карточное мясо - дескать, не съест, хотя подслеповатая Бойкуш уже тогда пустила навет, мол, как он прокормит нас, когда себя содержать не умеет... На рассвете под тополями появлялся еще Кучкар-чека, которому когда-то Оппок-ойим отбила одно ухо, и он обрабатывал теперь его вторым.

И вот садились они на рассвете по углам трех отдельных суп - дабы никто их ни в чем не заподозрил, забрасывали под языки по черному катышку опиума, закрывали свои набрякшие веки и встречали то ли рассвет, то ли свои сновидения, а то ли 7.12-часовой "кагановичский" поезд - это "от Советского Информбюро" Гиласа.

Изредка утренний нежный шелест разогревающихся листьев прерывался созревшими размышлениями Умарали-судхора, подпиравшего свою мясистую голову кулаком с боксерскую перчатку Николая Королева:

- Говорят немец уже близко. Вчера Октам-урус сказал, что одного уже видели в Ченгельды...

Проходило несколько минут шелеста листьев, и в разговор вступал Толиб-мясник, по солнечному лицу которого уже ползали две проснувшиеся мухи:

- Если пойдут со стороны Казахстана, то только железной дорогой...

Опять зависало молчание, и Кучкар-чека, как бы только отработавший всю информацию здоровым единственным ухом, сморщенно, как сушеный урюк, произносил:

- Если пойдут Гиласом, то, как пить дать - через чайхану...

И опять наступало долгое и бесплодное молчание. Затем скрип деревянных шпал или кряжистых тополей, казалось, приносил далекие отголоски то ли приближающегося поезда, то ли надвигающегося немца...

- Парпи-писмык еще тот. Он не пропустит их без плова, а?! - и Умарали-судхор облизывал свои килограммовые усы...

Дул ветер. Шли минуты.

- И еще с мясом,- добавлял свою долю тощий Толиб.

И, наконец, вздрогнув от далекого гудка паровоза, как от команды "Смирно!", Кучкар-чека беспристрастно заключал:

- Ведь оберет этих немцев, подлец. Все их золото, все деньги. Накормит, заговорит и отберет...- и его глаза разгорались от негодования как солнце или его отсвет на стекле пытящего паровоза...

На следующее утро разговор начинал Кучкар.

- Слышали, из Одессы к нам в город везут евреев...

В опиумном молчании, казалось, каждый перевспоминал вчерашние известия, но ни Толиб-мясник, тогда еще не мясник, ни тем более Умарали-судхор, к тому времени уже не ростовщик, не находили ни в одном закоулке своих мозгов и телес ни следа от этой новости.

<sup>7</sup> супа - деревянный настил для сидения за чашкой чая

<sup>8</sup> ростовщик

Тогда Кучкар-чека, бог весть, откуда заполучивший эту информацию, опасно продолжал:

- Вот если бы наш дорог... первый секретарь ЦК товарищ Усман Юсуп построил бы им дом на берегу Анхора...

Все долго размышляли над этими странными, верноподданническими словами Кучкара. Ведь никто еще ничего не сказал... И тогда отъявленного "диссидента" Умарали разбирало его тюремное зло:

- Ни х..я не справится! Обосрёт как и всё! - говорил он на исходе пятой минуты, когда Толиб-мясник еще помнил о евреях, но забыл о ЦК.

- Вот Умарали-ака бы справились,- вправлял он, наспех соединив два конца разговора в своей единственной тощей голове.

Замешательство Кучкара длилось столь долго, что можно было подумать о замыкании в его целом и исправно-служащем ухе.

И тогда Умарали-судхор сладко зевнув, так что золотистое солнце сверкало в его слюнистом огромном зеве, продолжал:

- Дом эдак на шесть этажей... по 30 комнат на каждом...

- Это без двадцати двести! - восклицал на исходе седьмой минуты Толиб.

- И сдать им по... по...

- Это же жуткие деньги! - вдруг вместе с гудком паровоза просыпался скрюченный, как свернутый ком антенны, Кучкар...

Шел новый день войны...

Глубокой ночью Умарали-судхор вошел в свой двор, навесил двухпудовую щеколду на свои покривевшие от тяжести ворота, и растолкал свою спящую под виноградом жену:

- Ху, мочагар<sup>9</sup>, у тебя осталось что-нибудь поесть?

Жена запричитала:

- Но вы ведь только что из чайханы... - на что Умарали обматерил ее с головы до ног, пока жена не смилостивилась и не сказала:

- Ошхонада токчада коган мошкичир бор, ушани ола колинг...<sup>10</sup>

Умарали поплелся в темноте в ошхону, нащупал в нише тавак и жадно набросился уплетать все, что в нем было.

Утром жена просыпается, смотрит, исчез жмых, замоченный в тазу для баранов. Будит осторожно мужа и тихонечко спрашивает:

- Дадаси, хай дадаси, кечаси нимани еювдийз? Кунжара йўгу...<sup>11</sup>

А он в ответ:

- Ха онайниский, этувдима, кечасиминан коннимми суриб чиктия...<sup>12</sup>

Занимался новый день Великой Отечественной...

Иной раз к полудню собрание Умарали, Толиба и Кучкара посещал и Самий-раис - председатель колхоза "Ленин йули самараси", который окружал Гилас с двенадцати сторон. В войну за отсутствием кадров его укрупнили настолько, что раис объезжал на своей гнедой свои

---

<sup>9</sup> стерва

<sup>10</sup> - На кухне на полке есть остатки мошкичири (узбекского блюда), поешьте его...

<sup>11</sup> - Папочка, а папочка, что вы вчера съели? Жмыха-то нет...

<sup>12</sup> - Вот ё..твою мать, сказал ведь я что-то не то, всю ночь меня пронесло...

колхозные поля за неделю в один конец, и за неделю - в другой. Спал он при этом, где придется, но чаще всего на лошади, которая наострилась подставлять мгновенно тот бок, на какой валилась безпокойная голова раиса. Иной раз лошадь, чуя сдавшую тяжесть седока, вывозила его ровно к полудню к гиласской чайхане, что была на пересечении всех колхозных дорог, и там Умарали, Толиб и Кучкар, кончив обсуждение последних известий от "Совинформбюро" поезда 7.12, наконец, собирались за одной супой, чтобы полакомиться тем, что им всеведущий и всемиловитый Аллах послал на сегодняшний день...

Самиь-раис в своих беспробудно-бесконечных скитаниях по полупустым женским полям с редкими выездами на эту чайхану, куда семья писала ему письма с просьбой завезти риса и муки со склада, и волоском уса не догадывался, что Умарали-судхор под страхом "трудовой мобилизации" в бескрайний колхоз, похожий на ссылку, обложил весь Гилас налогом, и каждый полдень то Изя-еврей - директор артели имени Папанина, то подслеповатая Бойкуш, то сапожник Юсуф, то завскладом Чинали приносили в чайхану то, что посылал для Умарали и его тощих сотрапезников Всеведущий и Всемогущий...

И когда Самиь-раис, разгруженный с лошади Кучкаром-чека и Толибом-мясником, сидел, покачиваясь по инерции на трех толстых курпачах, когда Умарали протягивал ему письмо от его семьи, директор Изалий Борухович выглядывал в форточку своей артели, и вечером уже весь Гилас знал через женщин о том, что список, добытый Кучкаром-чека передан Умарали-судхором Самиь-раису.

Самиь не курил опиума, но как все председатели любил выпить русской водки. Повсюду это был экзамен на благонадежность, который Самиь выдерживал играючи и причмокивая. Вот и в последний раз, когда объединили семь колхозов, но решили оставить на них одного председателя, в районе, в присутствии строгого на проверку русского уполномоченного, он как щенят перепил и Назара-комсомола и Хаккула-ВКП (б). Пусть знают, что и у простого народа есть свои кадры!

Так вот, Умарали-судхор, столь просто решивший проблему понедельных раисовских, а заодно и ежедневных своих обедов, столкнулся с затруднениями совсем по другой части, а именно по части русской водки. Вся государственная уходила на фронт, на первых порах, как ремесленник-индивидуал его спасал винодел, а вернее виногон-Колек, гнавший в единственную водочную бутылку, не угнанную на фронт, свою кишмишевку. Но теперь, когда у Колька, как и у всей напрягшейся для решительной схватки с ненавистным врагом страны, вышел весь сахар и кишмиш, он потерял смысл жизни, а потому перестал бояться даже этой самой трудовой мобилизации в пустынный Самиьвский колхоз.

Но отточенный многолетними посидками нюх не подвел Умарали-судхора и на этот раз. Однажды в государственной задумчивости проходя мимо поезда 16.17, он вдруг учуял этим самым крысиным нюхом нечто остро напоминающее ему запах горькой отрыжки Самиь-раиса. Принюхавшись, он нашел этот запах недалеко от колес паровоза, и застигнутый за этим занятием вооруженным машинистом-коммунистом Иваном, он долго объяснял тому, припоминая весь свой тюремный лексикон, чего он тут ищет.

- Твая Иван, мая Умарали. Мая тарбуз даёш, твая - водка.

Он вдыхал этот вонючий запах и показывал его аромат:

- Вах-вах-вах! - и показывал, где он нашел водку.

Машинист Иван поначалу не понимал, чего хочет этот диверсионист, который говорит, что он умирает, а потому стал намеренно протирать смоченной этим самым запахом тряпкой свой табельный наган. Но когда, заложив руки для пущей благонадежности за спину, Умарали



наклонился к тряпке и стал что-то лепетать и тарыхтеть, машинист-коммунист, решив из интернационалистских соображений, что младшему брату нужна тормозная жидкость - ну положим, для его колхозного трактора, ведь неспроста же он тарыхтит, - в конце концов, пошел на эту крайнюю меру, и даже наотрез отказался от кооперативного арбуза взамен.

- Вот, - протянул он дружеской индустриальной рукой бутылку жидкости аграрию. - Заправляй свой социалистический трактор!

- Да, да тырактир! - вспомнил Умарали слышанное им в тюрьме от русских слово.

С тех пор машинист-Иван стал экономить ради восторжествующего колхозного движения на тормозах, и сэкономленную жидкость отдавал раз в неделю подшефному Умарали, а тот исправно вливал полученные пол-литра братской помощи из единственной водочной бутылки в зеленеющего все более и более раиса.

- Дорога совсем заела бедного Самиь, - думал сокрушенно Умарали, когда Кучкар и Толиб водружали поевшего, отпившего и справившегося о семье раиса на его гнедую, и она, подставляя всякий раз тот бок, куда кренилась неприкаянная туша Самиь-раиса, цокала в сторону бескрайних колхозных полей...

## Глава 2

Октам-урус был из первых революционеров, устанавливавших сначала в городе, а потом и здесь в Гиласе Советскую власть. Собственно, что значит - устанавливал. В 16-ом году забрали 16-летнего Октама, впрочем, как и весь его кишлак, неподалеку от Гиласа, на тыловые работы в какую-то русскую нечерноземную глушь, но поскольку Октам был по рождению альбиносом, а потому и прозван урусом, то первые же морозы буквально пошли мурашками по его коже - он весь покрылся диковинными струпьями, как будто бы взвод стрелял по нему шрапнелью; и полковой врач, пугаясь неизвестной заразы, счел за большее благо отправить Октама туда, откуда его и взяли.

И вот когда отправляли Октама-уруса вместе с офицерами-эммисарами в родные края, к нему на вокзале, а точнее в уборной вокзала подошел подозрительный татарин, и, удостоверившись, что Октам истинный, обрезанный мусульманин, который мочится на полусогнутых ногах, дождался конца мочеиспускания и попросил его передать в ташкентское депо маленькое письмо. И ведь божился проклятый татарин Аллахом, что это послание родственникам, но как говорит пословица: "Огайнинг татар булса, енингда ойболтанг булсин!"<sup>13</sup> - То было революционное послание, Прокламация, за транспортировку которого ничего не подозревающего Октама упекли в Ташкентскую крепость сразу же по прибытии, как политзаключенного.

Октам не жаловался - уж лучше у себя на родине в тюрьме, чем на чужбине под небом в окопах... А там пришла революция. Нашли Октама революционные матросы Ташкента, подняли дело охранки, с восторгом обнаружили его революционное прошлое, и даже шрамы, оставшиеся от лютой российской болезни продемонстрировали на митингах Пьян-базара, как следы мрачного царского прошлого и тюрьмы народов!

Октам только поднимал рубаху, да приспускал штаны, ничего другого не понимая, но на Всекраевом большевистском Съезде его уже кооптировали в ЦК по списку из местных революционеров. Словом стал Октам вскоре большим большевиком, и даже его прозвище - "урус" приобрело уже смысл политически-сознательный и удостоверяющий.

Октам-урус не мог ничего делать. Разве что все время боялся, что это вдруг обнаружится. Но это мало кого интересовало, и даже больше того, делало его своим и среди чайрикёров, и среди мардикёров, и среди строителей, и среди ткачей. Никто не ревновал этого славного большевика к чужой профессии.

Но вскоре пришла пора индустриализации, коллективизации, культурной революции, когда с врагами надо было расправляться по отдельности, согласно профессии, и когда Октам заучивал по ночам и по слогам очередные партийные лозунги, он понимал своим скудным умом, что в горящем доме самое безопасное место - это двор.

Тогда-то и попросился он в забытый богом и партией Гилас, тогда-то партия и направила его на укрепление шерстьфабрики, где среди партии татарок, завезенных вагоном из Оренбурга, он должен был провести линию партии, прямую, как железная дорога, идущая через Гилас. "Опять татары!" - смешанно подумал Октам, но потом, вспомнив конец первой татарской истории, прибавил: "Ха майли, охири бахайр булсин!"<sup>14</sup> - и принял директорство.

Так он оказался в Гиласе, где дабы как-то влиять на этот бабий коллектив, был вынужден жениться на их бригадирше Банат, многословной как радио, громкой как паровоз... Вскоре у них родилась дочь, которую они называли Оклюция - Октябрьская революция.

<sup>13</sup> "Если друг твой - татарин, то держи при себе топор!"

<sup>14</sup> "Ну да ладно, лишь бы конец был благополучен!"

В войну за нехваткой транспорта для подвоза шерсти весь личный состав фабрики эвакуировали в Сары-агачскую степь, к казахским отарам, но дабы эти татарки, моющие шерсть в мутной реке сразу же после обстрижки, не повыходили замуж за пастухов-казахов и не разбрелись с ними по степи, множа личную собственность, Октам-урус был послан в степь уже не как директор, а как особо уполномоченный. Там он раскрывал вредительство тех шерстеев, что оставляли неостриженными пуки шерсти вокруг овёных членов да овечьих сосков. Несколько раз показательно обстрижа этих баранов, он настолько запугал и чабанов-казахов, и шерстемоек-татарок, что в конце войны вернул на шерстьфабрику весь ее личный состав, если не считать трех сыновей, нагулянных поварихой Альфией от дровосека-Кыпчибека, ставшего с тех пор сторожем шерстьфабрики на долгие годы.

Когда после войны к Октаму-урусу пришли сваты по его Оклюцию Октамовну, а он сидел у себя в "кабинете" и проклинал того самого растреклятого татарина, оставшегося там, на Казанском вокзале, в начале этой железной дороги –

а проклинал он этого татарина потому, что вчера опять приходил фининспектор и в очередной раз не добившись уплаты налогов за подворье, принялся описывать скудное имущество Октама: Кошма - 1 экз., Кровать железная - 1 экз., Печка-бурж. - 1 экз. При последнем слове, произнесенном без купюр - "буржуйка", Октама вдруг разобрало. Он вошел в свой кабинет и через единственный в Гиласе телефон попросил барышню соединить его с Усманом Юсуповым. И когда после долгого шуршания Усман наконец взял трубку, Октам не слушая его утолщающего голоса, крикнул ему в трубку, указывая на бедного, но неприступного фининспектора:

- Усман, инкилобби килишимиз шунгамиди?!<sup>15</sup> - и тут же, не дожидаясь ответа, бросил трубку на два золоченых рожка...

так вот, когда он сидел в своем кабинете, проклиная того самого татарина, вошла его жена Банат и на удивление коротко - наверняка порастратила свой разговорный зуд на сватов, сказала:

- Дадаси, бир тепага телпон-пелпон килинг энди. Улдими, Усмон-ака ёрдам-пордам берар. Узбекчилигу, киззи курук чикариб буладими. Яна шарманда буб утирмийлик...<sup>16</sup>

Октам на мгновение призадумался и согласился:

- Ха, майли, чикарман-у, лекин куев камсамул эканми узи?!<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> - Усман, для этого ли мы делали революцию?!

<sup>16</sup> - Папочка, позвоните вверх. Неужто Усман-ака не поможет. Ведь как никак узбеки, никак нельзя выдавать дочку без приданного. Как бы не опозориться...

<sup>17</sup> - Ну да ладно, схожу на прием. Но жених, он-то хоть комсомолец?!

### Глава 3

Родной брат Кучкара-чека Мулла Ульмас-куккуз еще до войны, когда расстреляли их отца Остонкула-махсума, дабы не расстреляли и весь остальной род, был вынужден жениться на безродной сестре Октама-уруса - такой же полуальбиноске, как и он сам, а потому Ульмас-куккуз тайно ненавидел всех русских во главе с Октамом.

В то время как Октаму-урусу своим большевистским приказом открыл кружки русского языка во всех махаллях, прилегающих к шерстьфабрике, а потому и живущих в счет нее (кто воровал шерсть, кто - продавал, кто - покупал, кто - пряд на дому, кто - вязал, кто - продавал пряженное, вязанное и чесученное, кто - вновь покупал это и т.д. и т.п.), открыл, дабы более доходчиво материть несознательные массы, Мулла Ульмас-куккуз, пользуясь родственной связью - дескать, он меня и так честит каждый день дома! - саботировал эту культурную акцию, имевшую, как оказалось, военно-стратегическое значение.

Ведь забрали вскоре Ульмаса на фронт, а он кроме "ёпти Боймата"<sup>18</sup> ничего по-фронтовому и не знал. И все-таки командир по фамилии Козолеев, да политрук по фамилии Политюк выучили его-таки на всю жизнь единственной фразе: "Равнясь!Смирно!Слушайбоевойприказ!Противникфашистскиеордынаступаютпофронтусчислшсл еннымперевесом!Нославнекрасноармейцыподмудрымруководствомотцанародоввеликого СТАЛИНА УР-Р-Р-ААА-АААА!"

Как только заучил он эту фразу наизусть, немцы взяли его в плен под Смоленском. На все вопросы фашиста бедный Куккуз отстреливался своей непонятной фразой, полагая, что говорит на том же языке, на котором его и спрашивают. При этом он блаженно улыбался, а потому положительно нельзя было докопаться откуда он и кто такой. Тогда немцы решили, что Мулла Ульмас-куккуз - еврей, - вон какой вежливый, и, подтвердив свою догадку неоспоримо обрезанным членом Муллы, отправили его первым же товарняком в концлагерь, дожидаться своей очереди в топку.

Там, в Дахау, среди евреев многих национальностей - от русских и до эфиопских, Мулла Ульмас по случайному чертыханию, когда они в дежурстве топили печь, наткнулся на бухарского еврея Пинхаса Шаломая и тот, подбрасывая в топку угля, объяснил земляку по-узбекски, в чем дело и чем они тут занимаются.

В ту ночь, лежа на нарах в лагерном бараке Ульмас-куккуз плакал своими зелеными эфталитскими глазами и молил Аллаха спасти его от неверной смерти. "Раз Ты сделал так, что меня приняли за еврея, пусть я буду им. Я выучу языки, я буду ездить по свету, я буду всем интересоваться и во все вступать. Пусть я буду, мой Аллах, евреем, но только в жизни, а не в смерти!" - рыдал он.

То ли Аллах, то ли Пинхас услышал его. Дело в том, что на следующий же день Шаломай раздобыл в уборной подтертый клочок газеты, в котором сообщалось о создании Туркестанского Легиона. "Будь проклята жопа того фрица или жида, который подтерся об эту благословенную новость" - шептал Шаломай и прикладывал клочок к глазам. В тот же день Пинхас написал письмо в штаб этого Легиона, Мулла Ульмас-куккуз по неграмотности лишь черкнул свою арабскую закорючку и приложил измазанный в человеческой копоти палец, и через неделю к ним в лагерь прибыл господин то ли казахского, то ли киргизского вида, и к вечеру забрал с собой тараторившего на радостях ту самую русскую фразу блаженного Ульмаса, а заодно с ним и Пинхаса, выдавшего себя за таджика Панжхоса Салома.

<sup>18</sup> букв. "Накрыл Боймат" вместо "ё. твою мать!"

Легионерская карьера иудея Пинхаса Шаломая в качестве узбека пошла куда более успешно, нежели у мусульманина Ульмаса. А объяснялось это просто: Пинхас читал и писал по-узбекски и по-таджикски несмотря ни на какие реформы письменности: и в арабских буквах, и на латинице, и на кириллице, Мулла Ульмас же из тайной ненависти к пришлым буквам - опять же из близкородственной связи с Октамом-урусом, который не знал вообще никаких букв, и, тем не менее, был видным большевиком, - презрел все нововведения и умел лишь расписаться в граве "Получено" или "Уплачено" по-арабски из двух букв - круглешком и палкой. Словом, Панжхос стал вскоре влиятельным узбеком в Штабе Турклегiona, а Муллу Ульмаса-куккуза, за слишком частое повторение той самой русской фразы, отослали пасти немцам богопротивных свиней.

Но обещанное, а особенно Аллаху, есть обещанное, и Мулла Ульмас принялся осваивать среди свиней свой первый иностранный язык. Когда хозяева свиней материли его по-своевски, он вспоминал родного и далекого Октама-уруса и по привычке хотел поиметь всех сестер этих матерящих, как свою мучительную жену-полуальбиноску Оппок, и тогда слезы выкатывались из его зеленых глаз и стекали по белесым ресницам. И все же вскоре нашлась управа и на неблагодарных хозяев, которых он по ошибке считал оказывается урусами, а потому и учил, скрепя сердце, их замысловатый язык с этими "ищ вайщищ ништ".

Пришли союзные американцы и Ульмас, догадавшись, что учил не тот язык, то ли на радостях, то ли чертыхаясь, отбарабанил им ту самую красноармейскую фразу, за которую его отправили еще куда подальше - во Францию, пасти в Фонтенбло лошадей. Там, в семье Комтессы Мадемуазель де Сюз, двоюродный дед которой привез оказывается из Египта какую-то колонну и установил ее на площади Конкорд, Мулла Ульмас-куккуз не только научился разбираться в сырах и винах, но между внучкой Жозефины и этой самой Мадемуазель выучился шептать самые пахучие и изысканные слова: "Я расшнурую твой корсет!" или же "Как жмут нас в любви панталоны!"

Но однажды, в промежутке, перепив на вокзале в Авоне красного Сэнт-Эмилиона, он увидел своего собутыльника по имени какого-то коньяка - то ли Наполеон, то ли Камю, который в углу, совершенно абсурдно писал вверх, пытаясь достать струей мочи до подпотолочного плаката "Vive La Resistence!", дабы моча потекла слезами из глаз Родины-Матери, и что-то разобрало Ульмаса, да так, что некая бессознательная сила вдруг выплеснулась в нем той самой красноармейской фразой, от которой этот самый Коньяк стал как вкопанный с повисшей струей мочи.

В ту ночь Коньяк увез его пьяного в Париж, к своему другу с узбекским именем Сарт. Правда, никаким он сартом тот не был, просто поначитался всяких книг, вот и выдумал себе фамилию. В Гиласе бы засмеяли всякого за такую шалость: представить себе только: "Мулла Ульмас-куккуз француз", да его тут же даже свои за еврея примут! Словом, до утра заставлял этот Сарт повторять Ульмаса ту самую фразу, заливая ее всякий раз стопкой Камю. Французов к рассвету стало тошнить, один упал, другой уперся в стену, а Мулла Ульмас-куккуз так воодушевился от сокрушающей силы своей фразы, что, в конце концов, принял их обоих за Мадемуазель и внучку Жозефины и уже при ослепительном солнце шептал им на ухо: "Я расшнурую тебе корсет!" и "Как теснят нас в любви панталоны!"

Сарт оказался в одном сартом, он был хитер, а потому к вечеру переправил Куккуза людям Мориса Тореза. Тот из каких-то идеологических разногласий, тропами Форэт Нуара переправил Муллу Ульмаса сначала в Швейцарию, а потом Альпами в Италию. Там Ульмас дважды ел спагетти по-болонски с товарищем Пальмиро Тольятти и, запивая всякую морскую вонь отвратительным итальянским вином, отдающим здешней рыбой, он однажды опять опрокинул из себя ту самую сокровенную фразу. Его тут же переправили в Палермо.

Среди взрывов, разборок и разделов на утлой шлюпке он бежал морем в Грецию с

мальчишкой-оторвой по имени Тото, мать которого Куккуз любил так, как не любил ее ни один итальянец. Она, не зная национальности Муллы, шептала ему в минуты любовных истязаний на плохом английском, оставшемся ей от американцев: "Фак ми! Фак ми!" - и все более распаяясь, ёрзала как угорь между слов: "Спэйн ми! Грек ми! Фрэнч ми! Турк ми!" - и уже в минуту безумного оргазма вопила по кошачьи эту самую непонятную национальность куккуза: "Сарт ми! Сарт ми!" - от которой Мулла испытывал свой высший национал-патриотический восторг!

В Греции, на берегу моря, набив ему рот камнями, его учили греческой декламации, в Турции, где язык оказался почти своим, основная нагрузка пришлась на ноги: в танцах кружащихся дервишей ордена Мевлеви из Муллы в момент транса выбрасывало ту самую богопротивную фразу, из-за которой его переправили через Тракию в Боснию, а оттуда и в Сербию, к самому Иосипу Броз Тито. Там он и взял несколько уроков сербского и хорватского от самого вождя южных славян.

Но однажды, когда за сливянкой, он безудержно выпалил ту самую фразу, увы, с ним рядом не нашлось того самого мудрого Пинхаса Шаломая, который сумел бы объяснить этому простодушному узбеку, напичканному языками, диалектами, говорами, что фраза эта пришлась на самое время натяжения советско-югославских отношений. Тито ему не простил. Через восемь стран-посредниц, языки которых поочередно освоил ничего не подозревающий Мулла Ульмас, он таки выдал его Сталину.

Как предателя Родины, Муллу Ульмаса-куккуза отправили по этапам. Четыре года нечеловеческих сибирских дорог и лагерей отложились в судьбе и жизни неумирающего Ульмаса хакасским, бурятским, эвенкским, нивхским, эскимосским и еще одним языком, названия которого никто не знал...

Он перевидал за свою мытарскую жизнь столько стран и мест, что когда в хрущевскую оттепель его наряду со всеми политическими, реабилитировали и спросили, откуда он родом, дабы отослать эшелон обратно, Мулла Ульмас-куккуз забыл название своего родного Гиласа. Три ночи и два дня вспоминал он на сверхсрочных лагерных нарах название Гиласа и не вспомнил. Но вспомнил он почему-то Кок-терек с его базаром, где его брат Кучкар-чека продавал по воскресеньям баранов, напасенных Ульмасом, а потом... а потом его жена - Оппок-ойим работала там базаркомом!

Его отправили эшелон в Кок-терек. Но по ошибке не в тот, родной, в двух километрах от Гиласа, а в казахстанский, где у учителя местной вечерней школы по фамилии Солженицын, который тоже оказался лагерником, Мулла брал уроки математики по-немецки. Говорить по-русски и учить Ульмаса-куккуза русскому языку с его расширительными возможностями учитель по фамилии Солженицын отказался наотрез, а отказался он после того, как, напившись по случаю приезда, казахской бузы, Мулла Ульмас-куккуз говорил только той своей войсковой фразой, которая хранила его столько лет крепче оговора или ворожбы!

Пригодилась таки эта фраза Ульмасу в жизни! Пионеры Гиласа в течение 8 лет непрерывной переписки со всей страной отыскиали в казахском Кок-тереке самого первого фронтовика Гиласа, которым оказался Мулла Ульмас-куккуз. Да, в то время было много фронтовиков у Гиласа, куда более достойных бывшего овцепаса Ульмаса-куккуза, но на поверку оказалось, что ни один из них не родился в самом Гиласе. Одноглазый Фатхулла был родом из полуузбекского-полутаджикского Чуста, полковник в отставке Турдыбай-аскер, имевший на груди ордена всех тех стран, языки которых сдались Мулле Ульмасу, тот вообще в графе "место рождения" имел прочерк, потому что

имя, фамилию и национальность получил в возрасте 11 лет в детдоме.

Словом, учитель математики прощался с Муллою чуть не плача, ведь после великосербского, Ульмас стал было обучать математика основам албанского, узбекского и идиша, но, как видать, не судьба!

Хочешь-не хочешь, стал Мулла Ульмас-куккуз, вооруженный своей красноармейской фразой, теперь бьющей точно в цель, ветераном №1 Гиласа и прилагающих к нему колхозов. Уж его жена Оппок-ойим, прибравшая к тому времени Гилас к рукам, постаралась, чтобы ее бедному мужу были возданы подобающие ей почести! И вот однажды, на республиканском слете ветеранов войны и труда во время перерыва, в уборной он столкнулся, что называется, писька к письке с кем бы вы думали? - с самим Пинхасом Шаломаем, который, как оказалось, из Панжхоса Салома превратился теперь в Петра Михайловича Шолох-Маева, защитив диссертацию по славной роли узбекских разведчиков в глубоком тылу у немецко-фашистского врага и сняв по этой диссертации художественный фильм "Подвиг Фархада", объявленный для демонстрации сегодня после слета. Теперь он заведовал кафедрой русско-узбекского и узбекско-русского перевода в институте, где трех-четырёх русских докторов, не знающих ни бельмеса по-узбекски, держали для редактирования диссертаций, отправляемых в московский ВАК, а 37 узбекских профессоров, докторов и кандидатов, писавших время от времени эти диссертации, увы, путались в падежах и склонениях русской грамматики. Вот и служил им мостом дружбы Шолох-Маев, знавший в совершенстве оба языка, не говоря о куче других. Ведь и там, в уборной, удивляя прямых ветеранов, перестающих писать, эти двое попеременно разговаривали то по-судетски, то по-эльзасски, то по-каталонски. Но когда Мулла Ульмас-куккуз, застегивая ширинку на нововведенные "молнии" вместо железных пуговиц, прищемил по непривычке себе свое мужское место и невольно выматерился на языке рыбака, которому в то же место вцепился зубастый морж у берегов Моря Братьев Лаптевых, то этой матерщины не понял даже сам доктор наук и заслуженный деятель Пинхас.

Именно после этой встречи в уборной республиканского слета ветеранов, Петр Михайлович Шолох-Маев пробил у себя на кафедре полставки для Ульмаса-куккуза с должностью "носителя вымирающих языков", организовав при нем всесоюзный центр по изучению и реставрации языков Крайнего Севера и Сибири.

Ко времени дряхлеющего со своим развитым социализмом Брежнева, когда славный ветеран и носитель Мулла Ульмас-куккуз почти ежедневно стал вспоминать свою неистребимую фразу, евреи потянулись из Советского Союза. Записался в очередь и Пинхас Шаломай. Но ему почему-то отказали: то ли по незаменимости, то ли обнаружили какие-то обстоятельства в его военном прошлом, и тогда Пинхас по старой дружбе уговорил Муллу Ульмаса-куккуза написать письмо тому самому учителю Солженицыну, который теперь стал большим человеком.

- На каком языке я буду писать? Русского я не знаю. Узбекского он не доучил. А потом - я и не умею писать! - воскликнул он в сердцах. Тогда Пинхас написал что-то сам, а Ульмас в нем по-прежнему лишь черкнул один круглешок и одну палку по-арабски.

Что там произошло - известно лишь одному Богу, да еще может быть Пинхасу с Солженицыным, но через две недели вызвали Ульмаса-куккуза в город, будто бы для вручения очередной фронтовой награды вкупе с Грамотой от Корякского нацкома партии, а на самом деле в 24 часа выдворили его вместе с Пинхасом Шаломаем за пределы СССР!

Так на старости лет Мулла Ульмас-куккуз, родной брат покойного Кучкара-чека и родной зять покойного большевика Октама-уруса, оказался на Брайтон-Бич, и не найдя там никаких новых для себя языков - что поделать - принялся таки за изучение одесского говора гусского языка, матеря по

пьянке всех напропалую той самой неистребимо-могучей русской фразой и понимая теперь весь ее неотвратимый смысл...



## Глава 4

Два слова попутно о жене Муллы Ульмаса-куккуза, красноглазой полуальбиноске Оппок, родной сестре большевика Октама-уруса. А история ее былой жизни такова. В начале двадцатых годов, когда Октам-урус вдруг пошел в гору большевизма, к ним в кишлак зачастили сваты. Оппок - совсем еще девчонка, выглядывала из щелочки ичкари на комсомольских вожаков, помогающих ее беспартийной руки, да партийного покровительства Октама, и находила одного кривым, другого - худым, третьего - лысым... Тогда-то ее бабушка и сказала фразу, которую Оппок запомнила на всю свою жизнь:

- Хў-ув бола, сан узийни кип-ялангоч килиб бир тош ойнага соб кўрчи!<sup>19</sup>

Словом, вскоре вожаки отвадились наведываться к ним, переженясь кто на татарках, кто на казашках, а самые большие карьеристы - и на русских. Потом, по настоянию своего брата полуальбиноска Оппок сбросила принародно паранджу, и тогда даже вожаки этого движения перепугались и перекрестились, представив себе, что они могли заполучить себе в жены. После этого уже никто к ней не забредал в сваты...

Так и прожила бы она свою жизнь в коммунистическом одиночестве и в общественных трудах, когда бы не те самые массовые расстрелы, в пору которых на ней - первой секретарше стацкома комсомола не был принужден жениться Мулла Ульмас-куккуз.

В первую ночь, боясь коснуться лицом лица и все подправляя защитную подушку, бедный Мулла Ульмас лежал на первом секретаре и думал: быть может лучше развод и расстрел, тем временем как она с комсомольской неумностью вопила: "Даешь!" и требовала и требовала своих комсомольско-брачных взносов!

До войны они родили троих, во время войны она уже одна дородила еще четверых защитников и защитниц Родины, носивших впоследствии отчество предателя Родины Муллы Ульмаса-куккуза. Воспитание детей в одиночку заставило ее уйти из секретарей райкома в базаркомы. Тогда-то Октам-урус, как незапятнанный большевик, порвал с ней всякие родственные отношения.

Оппок-ойим, усвоившая на базаре простое экономическое правило: "Ты - мне, а - тебе", ответила ему тем же самым, оставив брата-большевика перед будущностью дома престарелых за государственный счет вместо коммунизма, а сама же зажила как тугой кошелёк, не терпящий по своей природе пустоты. Детей она пристроила в институты и перед самой всесоюзной паспортизацией, дабы изменить их отчества на прочерк, она купила себе место паспортистки Гиласа. Все теплей и спокойней чем на Кок-терекском базаре.

Место паспортистки оказалось куда-более прибыльным, чем об этом догадывалась потратившая четыре сотни в старых деньгах стареющая Оппок-ой. Записные красотки платили ей за изъятие графы, вернее целых графиков брако-разводов, новые коммунисты - за сокрытие старой судимости. Но больше всех ей заплатил базарный весовщик Али-шапак, младший брат Толиба-мясника, которому она оставила свое место базаркома в Кок-тереке. Али-шапак попросил ее исправить в своем году рождения всего лишь одну цифру, а в результате стал на десять лет старше своего старшего брата Толиба. Через год, когда Али-шапак вышел на пенсию по старости, а его старшему брату Толибу еще предстояло хрячить на государство целых пять лет, Толиб-мясник взвыл, что пожалел тогда денег. Всеобщая паспортизация к тому времени кончилась, доставив несметные богатства паспортистке Гиласа - жене предателя Родины и первого здешнего фронтовика Муллы Ульмаса-куккуза, которого Оппок ойим уже выписывала домой через своих

<sup>19</sup> - Эй, девчонка, ты как-нибудь разденься догола и посмотри-ка на себя в зеркало!

пионеров.

А между тем, так и дожил свою жизнь опозоренный Толиб-мясник, став на старости лет из своего скопидомства младшим братом своего братишки Али-шапака...

## Глава 5

Во дворе бесконечно плакали старухи...

Мальчику казалось, что никогда не случится перерыва в этом тупом, многоголосом завывании, встречавшем у ворот каждую новую старуху, юркавшую туда мимо старого, одноглазого фронтовика Фатхуллы и двух незнакомых мужчин, что стояли и ждали, наверное, всю махаллю, но более всего Гаранг-муллу - отца того самого учителя истории из старших классов, который и нашел мальчика за школой на пустыре, когда мальчик поначалу испугался, но испугался оказывается совсем не за тем - а просто, как учителя, заставшего его за беготней, и испугался еще больше, видя как неестественно добро тот подзывает его к себе, стоя над арыком и не переходя на эту сторону - он так и остался стоять там, когда мальчик, узнав об этом, побежал сначала за портфелем, валявшимся на пустыре, и возвращался обратно, - и даже когда из-за угла школы взглянул в последний раз - может быть с мыслью: а не наказание ли это за то, что он не на уроке - но ведь уроки уже кончились, - и тогда еще более гнетущая мысль, что ведь уроки кончились давно и ему давно уже пора бы быть дома, заставила мальчика прислушаться к нескончаемому плачу старушек, мышками юркавших мимо стоящих у ворот мужчин, и потом, казалось, вволю пользовавшихся возможностью поголосить, затем порасспросить о житье-бытье первую встретившую во дворе, тем временем пока голосили пришедшие до неё, которых она чуть позже меняла, уступая свое место последующей, и так до бесконечности...

Мальчик стоял за вишнями, у самых окон дома Хуврона-брадобрея, в том самом месте, где они играли в орехи, и вырытая лунка с годами отчерченным кругом вокруг неё, ту, что теперь он присыпал носком ботинка, вызывала в нем такое же раздражение, как и этот бесконечный вой старух, юркавших мимо толпы мужчин, среди которых шумнее всех был красносapoгий, как гусь, домком Сатыбалды, размахивавший рукою с папкой во все стороны, отчего еще больше походил на гуся, и оттого мальчик не любил его еще больше, как не любил домкома и дед, за то, что тот не знал никого по имени, и каждого подзывал к себе, маша рукою в которой папка, как и теперь он подзывал Расула, чтобы тот подвязался поясом - как сын этого... как его... - и вот тогда мальчик хотел уже выйти из-за вишен, пусть даже не назовут его по имени, но, подавшись вперед, он зацепился о вишню ранцем, и снова какой-то жгучий стыд прибил его к стене - и снова он услышал плач - как будто спугнутые домкомом заготовили гуси - а он, какой-то жалкий и мокрый цыпленок сидел с этим ранцем за спиной, прислонившись к дому Хуврона-брадобрея, и смотрел, как, ковыляя на все свои сто с лишним килограммов, побежал за угол дома - к себе - одноглазый Фатхулла - вот из-за этого именно угла он выбегал и оглядывался - вдвое быстрее, чем обыкновенный человек, отчего его косматые усы разлетались по сторонам, когда пацаны нещадно звонили в первый здесь дверной звонок и убегали, вклинив в него щепочку от его же щербатой двери, а он, как сказочное чудовище, семимильными шагами выскакивал из-за угла и озирался по сторонам вслед за своими усами - вдвое быстрее, чем обыкновенный человек, но и тогда он не замечал их под этими вишнями у дома Хуврона-брадобрея, со стороны своего отсутствующего глаза, и усы его уныло опускались, а потом начинали мерно взлетать, оттого что он начинал тяжело дышать, а может быть и им, как и всей улицей владел бесконечный и дребезжащий звон летнего полуденного безделия...

Сейчас он вышел, неся в руке пояс, хотя Расул, как и он сам, уже были подпоясаны, и тогда мальчик, думавший об этих некстати рано кончившихся уроках, об этом некстати придуманном пустыре - надо было сразу после звонка идти домой! - решил объявиться одноглазому Фатхулле из-под вишен, но, внезапно услышав голос бабушки, спрашивавшей у кого-то из мужчин, кажется у Сатыбалды-домкома - пришел ли этот... как его... Гаранг-мулла? - отпрянул опять к окнам, с трепещущим сердцем, как будто бабушка хотела спросить о нем - и спроси она о нем, он бы

вышел, пусть перед этим никого не знающим по имени Сатыбалды, перед этой толпой стариков и мужчин - неподпоясанный, с ранцем за спиной, но теперь, когда бабушка, оставив калитку распахнутой, сама ушла туда, где продолжался плач, он сидел, прислонившись к дому Хуврона-брадобрея, ощущая жгучий стыд, еще более жгучий от своей беспомощности и безысходности.

Одноглазый Фатхулла, держа в руке вынесенный из дома пояс, стоял, не зная кому его теперь предложить, и опять мотал головой, как он мотал, выбегая из переуллка, когда смотрел и не замечал их под вишнями, и, наконец, положил пояс на скамейку, и этот разноцветный шелковый платок, сложенный треугольником, свисал со скамейки также неловко, как свисали косматые усы Фатхуллы-фронтоника, стоявшего у открытой настежь калитки, из которой неслся и неслся плач. Мальчик всей кожей ощущал его жгучую неловкость, потому что причиной этой неловкости, ему казалось, был он сам - ему предназначался этот пояс, свисавший теперь со скамейки, пояс, которого касалась каждая старушка или женщина, шмыгавшая вдоль дувала между толпой стариков и мужчин и скамейкой - в распахнутую калитку.

Там во дворе за чередой женщин, плачущих, положив головы друг другу на плечи, мальчик увидел уже успевшую приехать из города тетушку Тилляхон, которую пусть и не любила бабушка - она, - говорила бабушка, - и мальчик видел теперь это собственными глазами - на всех похоронах и поминках чуть что - так и бежит в нужник - отсиживаться, пока другие плачут, к тому же всегда обвешивается как елка - золотом, - она и сейчас блестя своим золотом, бежала поперек двора в нужник, но ведь приехала, успела!..

Пока мальчик следил за тетушкой, которую не любили ни бабушка, ни он - он еще за то, что она, как и Сатыбалды-домком, никогда не могла запомнить его по имени, старушки внезапно оставили двор, по которому мчалась вприпрыжку из нужника Тилляхон, пустым, уйдя с плачем в дом, а вся толпа мужчин, стоявших у ворот, вслед за юркнувшим во двор Гаранг-муллоу, заняла мгновенно их место во дворе, так что тетушка Тилляхон не успела проскочить в дом, прижав стыдливый платочек к своим намоченным глазам, и теперь со своим платочком в руках, что были увешаны золотом, она стояла посреди двора, и платочек ее беспомощно свисал, как свисал и одинокий пояс, оставленный одноглазым Фатхуллой на пустой скамейке у распахнутых ворот.

Плач раздавался теперь из дома.

Мальчик услышал, как из дому позвали подпоясанных Расула и даже Хокима - его одноклассника и дядю - прощаться с отцом, и тогда, может быть, в последний раз мальчику захотелось броситься туда, пусть со своим ранцем, теперь уже резавшим плечи и подталкивавшим его частыми ударами в спину, но сила сильнее, чем эта тяжесть и эта прыть заставила его еще отчаянней прижаться к стене этого глухого дома, где жили дети Хуврона-брадобрея; и он стоял, не шевелясь, пока не вынесли носилки, обернутые чапаном, пока впереди них не вышли в распахнутые ворота подпоясанные Расул и Хоким, а с ними и одноглазый Фатхулла, и домком Сатыбалды, и сын Оппок-ойим - Кувандык, и пьянчужка Мефодий-юрфак, и Наби-однорук, и слепой старик Гумер, и преемник Кучкара-чека - Осман Бесфамильный, и Толиб-мясник, и старший участковый Кара-Мусаев младший, и Кун-охун, и еще много людей, и, неся эти носилки на плечах, они скрылись за углом дома Хуврона.

Тогда он бросился к другому углу, и, добежав до конца соседнего переуллка, увидел процессию уже перед самой железной дорогой. Люди шли, меняясь под носилками, и даже машинист Акмолин остановил свой станционный маневровый паровоз, и, высунувшись из окошечка, глядел, как процессия переходит через пути, как те, кто стояли на станции, несутся к этой процессии и становятся под носилки, а потом, уступая место другим, сами тихо возвращаются опять к своим местам. Наконец, не смея оставить свой паровоз, он дал на всякий случай долгий и хриплый гудок, который и заставил мальчика споткнуться от неожиданности о рельсу. Мальчик бежал за процессией, и ранец больно бил его по спине, когда, вскочив, он стал перепрыгивать через рельсы,

наконец, процессия вышла на дорогу, и спешно прошла мимо его школы, и мальчик, пробегая мимо своей школы, опять взглянул на тот пустырь за рядом тополей - ему казалось, что он увидит там учителя истории, стоящего над арыком, но пустырь был пуст, и если бы не длинная, жгучая, тоскливая песня, едва слышимая оттуда, то...

Мальчик чуть задержался, а процессия тем временем быстро удалялась. Останавливались встречные машины, выходили шоферы и вставали под носилки на десяток-другой шагов, потом опять садились в машины и неслышно отъезжали, вернее, как-то оплывали, а процессия шла и шла. Торопились успеть до заката. Солнце уже скакало между дувалами и домами, потом между тутовой, беспорядочной посадкой, потом еще раз между дворами, и, наконец, процессия свернула на кладбище.

Мальчик, запыхавшись, подбежал к уже закрытым воротам, в которых раскрыв калитку, заставляла ее кирпичом какая-то женщина. Он опешил от неожиданности, так попадают в чужие дворы, но внезапно распрямившаяся женщина опешила не меньше его, и еще больше растерялась, когда он пролепетал: "Ман... уларни..." - "Да, да, да..." - и женщина быстро-быстро пошла вглубь кладбищенского двора и вошла к себе в дом, здесь же, на кладбище. Мальчик стоял ни жив, ни мертв. Казалось, и она уже была посвящена во все, и оттого ожидание ее решения было мучительным и бесконечным. Но она не выходила.

И тогда мальчик безоглядно устремился внутрь кладбища, туда, где в разукрашенной росписью цветов и птиц беседке стояли несколько носилок наподобие тех, за которыми он бежал. Он оглянулся назад. Женщины не было. Он осмотрелся и между мраморными надгробиями да железными решетками в отдалении увидел поднимающую кетменями и лопатами могильную пыль свою процессию. Когда бы не ранец, он дополз бы дотуда, но с этой ношей за спиной надо было идти в обход за низеньким, полуразвалившимся дувалом к глубокому арыку на противоположной стороне, а уж от арыка, заросшего ивняком, до толпы было рукой подать.

Когда он добрался дотуда, процессия уже сидела на корточках и Гаранг-мулла читал свою глухую молитву. От непонятности ее слов, она была еще тоскливей, такой тоскливой, как дуновение ветерка над сухой травинкой или как отчаяние последнего мураша, все взбирающегося и взбирающегося на ее пыльный, колючий, бесплодный стебель. Наконец он дошел в своей молитве до того места, где в свое тоскливое завывание должен был вплести имя покойного, и... вдруг остановился, отчего мальчику стало так страшно, что он готов был упасть в воду и не выплывать из нее, он так бы и поступил, когда бы Гаранг-мулла не спросил у сидящих: "Рахматликнинг оти нима эди?"<sup>20</sup> Сатыбалды-домком густо закричал, но все остальные зашептали: "Хашим, Хашим..." Глухой домулла переспросил несколько раз, прикладывая ладонь к уху, и когда Фатхулла-фронтвик своим зычным, командирским голосом гаркнул: "Хошим эди!", домла вздрогнул, но как будто-бы дожидался именно этой вести, внезапно обернулся к толпе, хмыкнул и сказал:

- Э-э, так это тот самый Хашим, что водил тетю-Фатхуллу в гости к Бойкуш?

И все разом грохнули. Смех стоял над кладбищем. Сам Гаранг-домулла исходился мелким бесом, смеялся могильщик и домком, и даже сам Фатхулла прослезился и зрячим, и слепым глазом<sup>21</sup>.

<sup>20</sup>"Как звали покойного?"

<sup>21</sup> Мальчик дважды слышал эту историю и знал ее наизусть, как все то, что рассказывалось дедом. Вернее, дедчимом, поскольку собственного деда, как говорила бабушка, расстреляли ещё до войны. Правда, оба раза история рассказывалась дедом по-разному поводу и в разных словах, но, впрочем дед всё рассказывал так - как впервые.

С Фатхуллой дед приехал в Гилас почти одновременно, когда весь Гилас уместился на одной улице, идущей от железнодорожной станции и вглубь, к тугаям Зах-арыка. Как они остановились на одной станции - один, возвращающийся контуженным и раненым с войны, другой - выбирающийся из тыла - никто не знает, хотя бабушка, сидя со старушкой Зеби, иногда нехотя вспоминала про артель Папанина, где они шили под началом дяди Изи солдатские телогрейки - семнадцать молодаяк,

оставшихся - кто с детьми, кто с похоронками. И ещё как они раз в сутки выходили на поезд с хлебным вагоном, вынося кто что мог на обмен, кто ведро зелёных яблок, кто - внеурочную телогрейку, а Бойкуш ещё помидоры и картошку - зажиточная была старушка - будь земля ей пухом!. Вот так и поселились в Гиласе тринадцать мужчин - Толиб-мясник женился разом на двоих, а Оппок-ойим не захотела обзаводиться новым пришельцем, ждя бесполезно возвращения своего мужа - Муллы Ульмаса-Куккуза. И Бойкуш - будь земля ей пухом - так и осталась тогда без мужа. За этим бабушка всегда начинала пересчитывать по пальцам гиласских пришельцев, но всегда насчитывала их двенадцать; когда же мальчик напоминал ей о деде, она сердилась и бурчала:

- Вот и твоя мать убедила меня, что он мне муж!

Мужчины быстро сошлись друг с другом, как разом нашли себе и занятия. Хашаром, то что потом стали звать субботником, построили себе наискосок от артели чайхану и, выбрав деда чайханщиком, проводили всё свое свободное послевоенное время за пиалкой чая и неторопливой, сладкой беседой.

И вот тогда, в эти сладкие голодные годы первого покоя, сидя вечером в чайхане, кто-то помечтал, что хорошо бы жениться на Бойкуш. Скорее всего это был Толиб-мясник, чьё прозвище пришло к нему впоследствии, вместе с появлением мяса, а тогда он был как и все - станционным рабочим у дорожных дел мастера Белкова, и обеспечивать двух жён с их довоенными детьми, без подобных мечтаний было и впрямь трудно. Кто-то, подзадоривая Толиба-ещё не мясника, сказал, что его мужества на трёх женщин не хватит, тем более на подслеповатую Бойкуш, которая уж если схватит, то оторвёт с корнями! - Все расхохотались, как хохотали всегда, когда дед рассказывал эту историю, и мальчик не понимал, над чем они смеются, и глядя на серьёзного деда, ещё более терялся в догадках; и тогда Али-шапак - впоследствии базарком после Оппок-ойим, сказал, что лучше бы об этом мечтал Фатхуллу: ни тот, ни та не заметят - что отхватили! И все опять хохотали. Тогда мальчик глядел на старика Фатхуллу, и видя его одинокий смеющийся глаз, успокаивался, как успокаивается ребёнок, заглядывая в конец непонятной сказки. Тогда Али-шапак обратился к деду, дескать, уж он бы посватал соседку за соседа, ведь говорит пословица: "Кўшининг кўр бўлса кўзингни кис!" Дед поклонился в ответ и удалился. Через некоторое время он вошёл в чайхану с большим узлом и сказал, что через три четверти часа Бойкуш ждёт его с Фатхуллой на плов. Дескать, он распорядился. Только вот ради такого экстренного угощения надо выполнить одно условие. О чём же разговор?! - ведь в те годы плов за три четверти часа могла позволить себе лишь Бойкуш, мужчинам даже всей чайханой приходилось готовиться к пловоедству неделю-другую: достать всё необходимое - от морковки на Кок-терекском базаре и до немецкого трофейного риса из города, куда надо было идти с утра, самого утра, а это значит - не выходить на работу, и поскольку отпрашиваться тогда не было принято, а не выходить на работу - и подавно, то... Словом, там, где был плов, отпадали сами по себе всякие условия.

Подбадриваемый всеми Фатхуллу, прошествовал с узелком по ту сторону самовара, и там, за бязевой ширмочкой перед ним был развязан этот заветный узелок. В нём были: женское необъятное платье - бабушка и тогда была как проходящий поезд, - говаривал дед, черный с застиранными цветочками кашмирский платок, - потом им бабушка в жаркие дни будет занавешивать единственное окно, и в какой-то красной и душиной темноте мальчик ощутит себя сидящим у Бойкуш Фатхуллой - и он прикроет один глаз, и эта красная и душиная темнота перекоцует, просочится в этот закрытый глаз и расплывётся кочанами капусты; - но там в узле была не капуста, а кривая и толстая по двум краям, как огромная изогнутая гантель, тыква. Её дед приделал Фатхуллу вместо груди, хотя Фатхуллу здесь стал уже потихоньку противиться. Но слово мужчины есть слово, и дед накинул на него вместо чачвана сам узелок, а сверху чапан, и уже следовало бы говорить "накинул на неё", как добавлял дед и слушающий вместе со всеми Фатхуллу начинал топорищить свои косматые усы. Но дед был настоящим другом, он не стал показывать Фатхуллу в этом виде в чайхане - ещё бы - женщина и в чайхане! - а сквозь маленькую заднюю дверцу, через которую забрасывали в чайхану привезённые на телеге дрова, без четверти часа до положенного срока, он вывел фронтального разведчика в глухой переулок.

Густой и щекочущий запах жареного лука и мяса пробивался и сквозь чачван - бязевую накидку на лице, и если бы не кривая тыква, привязанная за пазуху, то Фатхуллу - и он признавался в этом - дышал бы ароматом в полную грудь. Проходя мимо собственного дома, дед, естественно, ускорил шаг, чем чуть не привёл к аварии с непредсказуемыми последствиями и уважаемую Фатхуллу-биби - в платье и платке собственной жены, но к счастью, дразнящий запах жареного мяса и лука загнал всю махаллу по домам к керосиновым лампам N10, тускло светившим в окнах да к атале - мучной похлёбке в запёкшихся от однообразия казанах.

Зайдя за угол, откуда обычно выбегал Фатхуллу и беспомощно мотал своей огнедышащей головой, не замечая мальчишек под вишнями Хуврона-брадобрея, они ещё раз огляделись с ног до головы, и когда дед попытался поправить явно покривевшую кривую тыкву, ел владелица даже шлёпнула деда по рукам, и это было весьма кстати, потому как волосатые руки Фатхуллы могли бы доставить неприятности Бойкуш при приветствиях: в обнимку, положив головы друг дружке на плечи и похлопывая друг дружку по спине, а потом ещё пожимая руки. Последнее решено было не делать, и дед воскликнув: "Бисмилло!" - постучался в калитку дома, стоящего бок о бок с домом Фатхуллы. Через некоторое время Бойкуш заскрипела цепями и засовами, и калитка открылась.

Именно так, через много лет, эта калитка заскрипит и перед мальчиком появится Таджи-Мурад, сын Бойкуш в матросской тельняшке, которую он купил вместе с бескозыркой за 12 рублей, высланных ему на возвращение из армейского стройбата Бойкуш, и тогда мальчик почувствует себя перед этим моряком Тихоокеанского флота на какое-то мгновение и дедом, и Фатхуллой, и ещё кем-то, незримо присутствующим над этой скрипящей цепями калиткой, но это будет потом, а тогда дед скажет:

- Мана, Бойкуш-кўшни, Андижондан Сиззи истаб келган холайзди олиб келдик...- то есть, вот, соседка Бойкуш, привели мы у Вам Вашу тётушку из Андижана...

- Я онемел, - вставлял тут своим зычным голосом Фатхуллу, а дед как будто обижался:

- Впрочем, нет худа без добра, по крайней мере, Вы, уважаемая, ничего не испортили своим "Равняйся! Смирно!"

- Вот, милейшая, встречайте свою тётушку. Она, говорит, знала вас ещё вот-такусенькой девочкой, когда вы ещё лежали в люлочке-бешике. Ах, время... время...

На подслеповатые глаза густо здоровающейся Бойкуш уже навернулись слёзы, и дед без опаски мог показывать Фатхулле, как себя вести. Но Бойкуш и впрямь была из тех, кто, схватив что-либо, с трудом выпускает его из своих рук - она попеременно складывая тяжёлую как тыква, голову то на одно, то на другое плечо Фатхуллы, пересказывала всю свою горестную жизнь, оживив в памяти всех, кого помнила с возраста, когда лежала в бешике, и особенно тех, поскольку, как она понимала, именно с тех пор её и тётушкины жизни разошлись в столь далёкие стороны, что вот только такой случай, счастливый и неожиданный случай, о котором сообщил три четверти часа назад Хашимджан... Может быть боясь, говорил впоследствии дед, что в ответ на её расспросы тётушка примется рассказывать ещё большую свою биографию, Бойкуш плавно перешла на сегодняшний день, переспрашивая о здоровье тётушки, о пути-дороге, и ещё обо многом, пока дед не почувствовал своим опытным чайханским носом тонкую струю горечи в столь богатом на ароматы цветнике запахов готовящегося плова.

- Соседушка, у вас что-то горит, - пытался он втиснуться в потоки бытового красноречия накопившейся Бойкуш, но она в это время только начала оборот:

- Оллохга шукрки, ойнинг ўн беши коронгу бўлса, ўн беши ёрук экан, мана бизлар хам кунимизнинг бир насибасини икки киламиз деб, кенг дастархондан сочилган майда ушукдак шунча узокларда... да, да, как маленькие крошки просыпанные с большого стола, в такой дали пытаемся из участи сделать долю, и ведь впрямь говорит, что если пятнадцать дней месяца темны, то пятнадцать следующих полны света, и слава Аллаху... - дед говорил это без умолку, и на середине долгой фразы Бойкуш всех разбирал смех.

- Путь этой фразы был столь же далёк, как и путь тётушки к плову, - заключал дед, а потом добавлял: - вот и пришлось мне пуститься на крайнее средство - просто крикнуть: "У вас чайник расплавился!" Бойкуш мигом отрезвела и обернулась к деду:

- Вы что-то сказали?

- Она глухая, говорите громче, драгоценная...

Он прокричал это, как бы показывая, как следует говорить и, пользуясь вниманием Бойкуш, тут же пригласил "тётушку":

- Проходите, уважаемая, самое высокое место в этом доме принадлежит вам, не правда ли, драгоценная Бойкуш? - И уже по привычке, пользуясь непросматриваемой стороной Фатхуллы, как через два десятка лет будут пользоваться тем же самым, давя на первый звонок в округе и убегая, пацаны махалли, дед делал знаки мудрой Бойкуш.

- Бойкушхон, даже голодный человек ищет не еды, но человека, - философствовал дед через четверть часа за дастарханом, сказочным по тем временам. Мальчик всякий раз силился представить, что там могло быть. Наверное черешня "бычье сердце", которую можно есть с хрустом - целыми гроздьями; персики - такие, что когда надавливаешь по их шерстистым бокам, чтобы поделить надвое, в лунке проступает капелька сока, наподобие росинки, а потом уже открывается его жаркое нутро; потом конечно же дыня, нарезанная "верблюжьими горбами", и наверное... Нет, ананаса там быть не могло. Не зря же дед привёз его из Москвы и всего один раз.

На этом месте мальчик дважды заставлял себя на том, что дед уже рассказывает, как они, съев жирный плов, уже подбирают рисинки - соберешь семь штук и проживёшь семьдесят лет. Мальчик давно уже вёл тайно ото всех свой счёт и если даже дед иногда ругал его за пловом за малоедство, но уж семь уроненных рисинок мальчик собирал за собой аккуратно и в очередной раз съедал их, обретая себе новые и новые годы.

Так и дед подбирал свои семь рисинок. Фатхулла ел плов из-под чачвана - бязевой накидки, которая потом сменила ширмочку в чайхане, и два огромных жирных пятна на ней говорили о том, как усы мешали ему в тот вечер, но именно в тот вечер его усы приобрели тот самый блеск, который пропал лишь с сединой цвета бязевого чачвана. Он сидел в этом чачване, поскольку хитроумным дедом было внушено Бойкуш, что нравы в Андижане мало изменились с тех пор, когда она лежала ещё в бешике, и тётушка из-за чачвана рассматривала ее пухленькие щёки. Вообще, с немного позволения тётушки - она довольно притомилась и даже осипла в дороге, расспрашивая у всякого встречного, где живёт её драгоценная племянница, - обо всех андижанских новостях, услышанных в чайхане, рассказывал дед, а Бойкуш слушала, изредка перебивая и прося угощаться, и дед, уже наевшийся, воспринимал это как недоверие к сообщаемым новостям, отчего переходил к еще более заворачивающим.

- Вы знаете, драгоценная, от Андижана будто бы проложили железную дорогу до Оша, и теперь эта дорога стала как лестница, которую облепили муравьи. Сплошной поток идёт по ней, дабы поклониться священной Сулейман-горе...

- Берите, угощайтесь, - говорила Бойкуш.

- А теперь, поскольку по дороге не ходят поезда, то вообще будто бы есть грандиозный план по перенесению Сулейман-горы на середину между Ошом и Андижаном...

- Берите, плов остывает, - вставляла подслеповатая Бойкуш.

- ... будто бы народ Андижана обедает народ Оша и топчет его землю...

- Вы совсем не берёте... - жаловалась Бойкуш.

Дед, впихивая насилие в себя очередную горсть плова, облизывал пальчики и собирался продолжить, как... вдруг заметил, что тётушка из Андижана, с таким трудом добравшаяся до своей гиласской племянницы, теперь наевшись плова, тихонько посапывала под чачваном. Мудрая Бойкуш, замороженная то ли рассказом тётушки со слов Хашимджана, то ли еще чем-то, вдруг стала вращать своей бесшесей головой, как сова, почуявшая мышь. Мышь приближалась и увеличивалась в размерах и

На этом месте для мальчика кончалось все веселое в этой истории о покойной старушке Бойкуш. Теперь они лежали почти рядом, между ними был еще Джебраль - отец Хуврона-брадобрея, да Угилой - одна из жен Толиба-мясника, которую заташил под себя, прихватив за широкое и крепкое платье, проходящий товарняк... Вот и теперь оставшийся одиноким на кладбище Фатхуллы, воскликнув свое "Ё пирай!" - поправлял и поправлял кетменем тот холмик, под которым лежал старик. Потом Фатхуллы стал озираться кругом, сначала в сторону удалившейся за Гаранг-муллоу процессии, а следом и в сторону, где стоял мальчик. Тогда мальчику на мгновение показалось, что он ищет его, как ищет и не может найти под вишнями Хуврона, с отцом которого - персиянином и отшельником Джебралем он дружил, и эта дружба в глазах у пацанвы приобретала какой-то таинственный смысл оттого, что один глаз Джебрала - ровно противоположный слепому глазу Фатхуллы - был стеклянным...

Мальчик вспоминал это, пока Фатхуллы поочередно почтил могилы Джебрала и мудрой Бойкуш, и снова огляделся вокруг, как будто пытаясь и не умея найти себе место в этом кругу, и, наконец, пошел своей грузной походкой по той тропинке, куда ушли люди, ведомые Гаранг-домуллой. Мальчик теперь видел, как аккуратно - крошка к крошке, притоптана, прибита земля дедовского холмика, и ему вдруг стало нестерпимо стыдно за все проделки со звонком, как если бы Фатхуллы все это время знал имя того, кто это делал, но молчал, непонятно из каких соображений, а может быть просто из доброты, и вертел всякий раз головой так, как бы для острастки, как на его месте вертел бы головой любой...

Мальчик сидел над могилой и наблюдал за муравьиной дорожкой, вдруг выбившейся с самого краю этого холмика, почти что под самыми ногами - муравьи обходили, обнюхивая его ботинки, здороваясь на каждом шагу друг с дружкой, с теми, кто шел навстречу, и пропадали у других, покрытых колючками могил, там, куда между ног, почти просунув голову, смотрел мальчик. От того, что он перегнулся - слетел через голову ранец, и тогда мальчик опять вспомнил Фатхуллы, и опять ему стало невыносимо стыдно, как если бы все это время Фатхуллы наблюдал за ним, подобно тому, как он сейчас за мурашами, и тогда, проглотив стыдливую слюну, он стал вспоминать слова молитвы, которой учила его бабушка, и стал читать ее вслух, и слыша сам себя, чувствовал всю торопливую неестественность непонятных слов, что посыпались на мурашей, неудобство, что передавалось мурашами в затекшие ноги...

Солнце стекало красным пятном с высоких и далеких тополей, стоявших, наверное, в ряд перед первым же двором за пределами кладбища, и когда мальчик посмотрел в ту сторону - то черные бугры и длинные тени решеток, казалось, зашевелились, как бы располагаясь поудобнее на ночь, и с той стороны, чуть повыше этих холмиков и решеток, и даже чуть выше тополей, на мгновение повеяло той свежестью, с которой просыпаешься после долгого плача во сне, просыпаешься начисто, как будто бы рождаешься взрослым, готовым все понять, и тогда мальчик без страха пошел туда, куда ушел старый и одноглазый Фатхуллы.

Именно он был первым, кого увидел мальчик, войдя в эту дверь, что так и осталась открытой после стольких сегодняшних людей. Двор был полит водой и подметён, и во дворе было тихо и пустынно, если бы не глухой голос Фатхуллы, неумело читающего молитву, сидя на супе, напротив тучной бабушки. Голос его доносился из темных сумерек, и к нему направился мальчик.

Он стоял за его темной спиной, непросматриваемый бабушкой, и теперь еще в большей степени не знал, что ему делать дальше; неумелая молитва Фатхуллы была для него теперь

---

каждый ел шаг, величиной со вздох, делал подслеповатые глаза Бойкуш всё более напряженными и затачивающимися. Но дед, сидящий за дастарханом напротив тётушки, видел большее - с каждым вздохом, как будто всё это время пережёвываемый плов опускается всё ниже и ниже - всё ниже и ниже опускалась изначально косая грудь тётушки, и внезапно она оказалась на коленях, сидящей скрестив ноги почтенной гостьи. Срыв оказался столь резким, что Фатхуллы вздрогнул, и своим просаженным от фронтовой махры голосом гаркнул: "Ё пирай!"



единственным теплым и надежным прибежищем, и он, может быть впервые в своей жизни, ощутил каждое непонятное слово ее своим зябким нутром, повторяя и истово задерживая в себе каждое её слово... И когда Фатхулла произнес: "Омин!" - мальчик судорожно вскинул руки и ощутил их сухой, пылающий жар всей кожей лица. И именно в это мгновение бабушка бросила через спину Фатхуллы:

- Ха, келдингми?<sup>22</sup>

И тогда Фатхулла, не оборачиваясь к нему, ответил ей: "Он был с нами", и мальчик снова ощутил тот стыд, который ощутил сегодня на кладбище, когда ранец перевалился через его голову, и стоя за спиной старика, мальчик почувствовал себя чем-то вроде ранца Фатхуллы, который накрепко прикреплен к этой огромной спине и если только старик нагнется или обернется...

Но бабушка сказала в это время:

- Чего-то я проголодалась за целый день. Идемте, поедим..., - и тогда огромный, непроглатываемый ком подкатил к горлу мальчика, и этот же ком покатился вдруг из глаз, оставляя на лице жгучие муравьиные дорожки. Он испытывал нестерпимую жалость к старику, который остался на кладбище один, совсем один, как будто бы его устранили из этой жизни, где продолжают кушать, как ни в чем, ни бывало, будут готовиться ко сну, и опять пить чай, и опять обговаривать все дела завтрашнего дня; такое же чувство он испытал впервые года два назад, когда дед, работавший проводником пассажирских поездов, привез откуда-то из-под Кунграда слепого щенка и пообещал, что тот вырастет бульдогом. Щенка так и прозвали - Бульдог, но когда через месяц он проявился обыкновенной степной казахской собакой и уже бросался на брошенные кости, его впервые оставили одного на ночь во дворе. Бедный пёс так выл всю ночь от обиды, что бабушка предполагая скорое землетрясение, просидела всю ночь на супе, всякий раз вздрагивая в чуткой дремоте, когда по станции, гудя по собачьи тоскливо, проходил очередной товарный поезд. Всю эту ночь не спал и мальчик, давясь от слез, и еще больше от одиночества в этом спящем спокойно доме, и ему было так же одиноко, как было сейчас, среди собравшихся ужинать людей.

И тогда он сбросил свой ранец и высохшей от слез кожей лица почувствовал облегчение, которое заполнило его, как заполняет воздух воздушный шар, и он молча вышел в ту калитку, что все так же оставалась распахнутой настезь.

Он вышел к железной дороге, вышел туда, где Хуврон-брадобрей закрывал свою будку, перекрикиваясь с Юсуфом-сапожником, где, свисая с вагона, ездил на маневровом составе Таджи-Мурад, ставший таким же дородным, как и покойная тетушка Бойкуш, и мальчик невольно обернулся - он ездил так всегда, а особенно в те ночи, когда мальчик выходил с братьями встречать старика, возвращающегося из Москвы - поезд проезжал, не останавливаясь, но всякий раз - и туда, и оттуда, дед на полном ходу выбрасывал аккуратно перевязанный пакет, половина щедрой бумаги которого рвалась при ударе о галешник, а другая - разрывалась чуть погодя, дома, в торжественной ночной обстановке, и из пакета извлекались дивные дивности, что не получишь ни на одной ёлке - коржики, апельсины, а один раз и то, что разрезал старик сам, приехав на следующий день из города - и назвал это колючее нежным словом "аланас"...

Таджи-Мурад всегда все видел и все знал, и именно к нему бегал мальчик, когда однажды поезд - как и назначено - проехал без семи четыре ночи, а дед так и не появился. Такое случилось впервые, и мальчик, бежавший к Таджи-Мураду, который возился с вагонами на запасных путях, чувствовал такую обиду, что даже обида на Таджи-Мурада - всего-навсего пожавшего плечами в ответ, и та была не больше первоначальной, и эта обида не стихала всю оставшуюся ночь и до следующего воскресного бездельного полудня, когда Кобил-дынеголов сказал, что к ним приехал

<sup>22</sup>"Ну что, пришёл?"

сам Баллонов, чью фамилию часто и уважительно повторял сам дед, и когда мальчик прибежал во двор, он слышал женский вой, от которого ему почудилось, что дед его утонул в Волге, но потом, когда объявили, что дед попал по несчастью в больницу, обида эта возобновилась, и она все больше укреплялась по мере того, как через день Фатхуллу уехал "баллоновским" поездом в Москву и не бросил по дороге им ничего, а затем, через несколько дней совсем неожиданно приехал как ни в чем ни бывало, весь перевязанный бинтами дед и рассказал жуткую историю, над которой ревели все женщины дома, и которую, широко раскрыв свой единственный глаз, слушал вернувшийся к тому времени из порожней Москвы Фатхуллу.

И теперь, стоя на полотне, мальчик чувствовал какой-то отголосок той самой обиды, и даже предчувствовал ее в приближающемся дородном и веселом Таджи-Мураде, и когда тот спрыгивая с подножки, бросил ему: "Что, опять деда нет?", - мальчик обрушил всю копившуюся в нем обиду на этого смеющегося Таджи, вопя что есть сил:

- Умер он, умер, а в прошлый раз его пырнули ножом, да! Такой же проводник, потому что дед увидел, нет, услышал, что та кричит, то есть женщина, а этот пристаёт к ней с ножом, под вагонами, на рельсах. И он пырнул деда - два сантиметра до сердца, вот, а дед его ломом из-под вагона... - и мальчик захлебнулся словами, и в этом захлебе рванулся под вагон, и только в самый последний момент он почувствовал это толстое, жирное, противное тело на себе, эту провонявшую потом и маслом его лживую матроску из-под милицейской голубо-грязной рубашки, и собственное, душащее бессилие перед навалившимся...

И наплакавшись, он не почувствовал того облегчения, оттого ли, что саднила кожа на разбитых коленях и локтях, на исцарапанных галькой щёках, или оттого, что этот жирный боров опять, как ни в чем ни бывало уехал на ступеньке, разве только отряхнул на ходу свои штаны, маша желтым противным флажком, хотя никто не обращал на этот раз внимания на его бессмысленные отмашки.

Тогда мальчик спустился с полотна вниз, к водопроводной колонке перед базаром - безлюдной, как и сама станция, как и базар, умылся и почувствовал еще большее жжение саднящей кожи, и тогда, еще раз посмотрев в сторону уехавшего Таджи, подобрал с земли уголек и выцарапал на синей фанерной будке мороженщика Хуррама огромными буквами "Таджи - чучка!"<sup>23</sup>

Эта будка начинала собой ряд строений, идущих вдоль полотна от базара и до ателье индпошива, которое, по словам бабушки, и было в войну артелью Папанина, и этот ряд кончался с другой стороны точно такой же будкой сапожника Юсуфа, который только что закрывал ее, и как всегда, закрыв, проходил за будку Хуврона-брадобрея, стоявшую особняком, и там от души мочился...

Мальчику почему-то стало грустно за некрасивым делом, он даже хотел стереть то, что написал, но, всадив себе занозу на первой же букве, решил: пусть остается. Тем более что в наступившей темноте буквы стали совсем уж незаметны. Мальчик ждал этой темноты, чтобы с прилавка этой будки залезть на ее крышу, оттуда, через две жестяные крыши магазина от Оппок-ойим и "Фотографии" от Пинхаса, перебрался на крышу чайханы, да так, что никакой Таджи-Мурад не заметил бы как он оказался среди старых и растрепанных "курпача", заброшенных сюда еще дедом. Там, на чердаке чайханы у мальчика было свое потаённое, секретное место. Здесь под односкатной черепичной крышей он ночевал все ночи, когда уходил из дома, здесь, через

---

<sup>23</sup> Таджи-свинья

вытяжную трубу, он слушал допоздна то завораживающие, то нудные истории Гиласа, которые, как и сейчас, бесконечно рассказывали старики...

## Глава 6

Жил-был некогда Мирзараим-бий - правитель всех гор и джайляу<sup>24</sup> вокруг Эски-Мооката - предводитель киргизского племени "бору" - волков - материнского племени всех тюрков, и было у него четыре жены. А любил он больше всех - самую старшую и самую младшую. Старшую - Улкан-биби за то, что была она ему вместо матери. Ведь когда умерла мать Мирзараим-бия - горная красавица Айчирёк - ему было всего 7 лет и спустя год после смерти матери, отец женил Мирзараима на 16-летней полуузбечке Улкан-биби, закатив грандиозный пир в горном урочище Ак-Тенгри. Тогда-то Улкан-биби и унесла со свадьбы на руках своего уснувшего восьмилетнего мужа. Вот и стала она ему женой вместо матери, нося его до возмужания на своей тополиной спине.

Самую младшую жену - маргиланскую принцессу Нозик-пошшо, Мирзараим-бий любил за то, что та родила ему первого сына - настоящего тюрка - Обид-бия.

Первенец рос не по дням, а по часам, и в лихокровные шестнадцать лет уже рубил головы на полном скаку зазевавшимся пришлецам в Кара-кое. Все это забавляло и воодушевляло Мирзараим-бия, пока однажды Обид-тюркот, как прозвали его сверстники, не снес с гиком голову посланнику Кокандского хана Худояра, а это грозило уже многолетней войной. Насилу откупившись за безволосую, безусую и даже безбровую голову посланника шестидесятью головами крупно и круторогатого скота, двумястами головами баранов и коз, Мирзараим-бий решил, что настала пора решать с мальчишескими забавами сына. По этому случаю он, как горный сель, обрушился на равнинный Уш и в одночасье захватил в свою горную ставку всех этих сартовских мулл и мудрецов, дабы у себя в царской юрте устроить большой совет - кенгес: что же делать теперь с юнцом?

Муллы, как водится, говорили столь запутанно и велеречиво, что прямой и простодушный Мирзараим-бий пожалел о своих воинских хлопотах. Более того, ему казалось самым подходящим - запустить сюда на полном скаку своего Обида, который перерубил бы все эти головы как равнинную капусту, да так, что даже баранами не придется платить...

Но в это время один из Ушских богословов, видимо учуяв шелест крыльев Азраила над этой юртой и над своей шестиоборотной чалмой, воскликнул:

- О достопочтенный правитель гор, столь же высоких и вечных, как твое могущество...
- Говори прямо! - перебил его Мирзараим-бий.
- О выпрямитель речей, чья речь пряма и остра как меч...
- Ещё прямей! - закричал в нетерпении Мирзараим-бий.
- Здесь, в подвластных тебе горах, в ущелье Али-Шахид есть святой старец, который провидит поток жизни, и коловращение человеческой участи в нём...

Словом, выдал Мирзараим-бий им всем по барану в дорогу, а сам тут же отправился с сыном и с войском, как горный обвал, в сторону ущелья Али-Шахид.

Старик сидел под водопадом у следа, оставленного конём Пророка в ночь Миража вот уже шестьдесят и шесть лет. Бесконечные молитвы сделали его душу прозрачной, как воды горного водопада, а лицо - гладким, как отшлифованные водой камни. Лишь взглянув на Обида, он сказал:

- Болам, Сизни илм кўтарипти!<sup>25</sup>

Обид, этот буйный и неукротимый тюркок, вдруг присмирел от тихих слов старика, перебивших силу грохочущего водопада.

<sup>24</sup> горное урочище

<sup>25</sup> - Сын мой, Вас понесло знание!

- Что я должен сделать, отец? - спросил, сойдя с коня юноша.

- Спросите у отца своего... У Вас большое и страшное будущее... Пусть он скажет, кем Вам быть...

Мирзараим-бий задумался. Он знал в жизни всего два занятия: быть киргизом или быть сартом. Если сын пойдет в него, то горы голов с эти горы Кючюк Аалая порубит он. И ведь ни скота, ни баранов не хватит у Мирзараим-бия, чтобы оплатить все эти головы.

Пойдет в свою мать - будет как эти сартовские муллы - одна путанная чалма вместо головы. И тогда Мирзараим-бий повелел:

- Пусть мой сын будет как ты!

Тотчас старик воскликнул:

- Аллах акбар - Аллах велик! - и внезапно исчез в грохочущем водопаде...

С той самой поры Обид-тюркот присмирел, как горный ветер на равнине. Тогда-то мать подарила ему книгу старинного поэта Нишоти "Хусну Дил", которую молчаливый и задумчивый Обид-бий читал теперь денно и ночью.

Вскоре Мирзараим-бий купил ему сорок худжр в Кокандском медресе, где Обид-тюркот выучился арабскому, персидскому, началам богословия и заучил наизусть Коран, вместе с хадисами от Имама Бухари. Тогда-то и получил он прозвище Обид-кори. Через семь лет отец отправил учиться Обида-кори в священную Бухару, где тот проучился еще 23 года.

Ему было далеко за сорок, когда он вернулся полным мудрости и печали в свой отцовский Эски-Моокат...

К этому времени все те же необузданные 16 лет исполнились Айимче - дочери сартовского казия всей волости - Саид-Касума-кази. Потомица Пророка, из рода тех, чьи мужчины садились на лошадь и выворачивали ей спину, если не переламывали хребет от тяжести, Айимча-пошшо была стройной, как долинные тополя, легка, как дыхание гор.

И вот однажды, когда она с сестрёнкой стирала белье у источника за их белокаменным домом, построенным кази после его посещения Скобелева, сестрёлка вдруг вспорхнула и запричитала, как птичка, встревоженная приближением зверя:

- Опа, опажон, ёпининг, онови киши ўлгур келяпти... Номахрам-та...<sup>26</sup>

Девчонке было всего десять, а потому она блюла обязанности взрослой с куда большим усердием, нежели лепила подходящие ее возрасту глиняные лепёшки.

Сестра взглянула, увидела приближающегося конного, и, не прекращая стирки, намеренно громко сказала:

- Ха, ўлдими ёпиниб, киргиз экан-ку!<sup>27</sup>

Так, полусарт-полукиргиз Обид-кори, проучившийся тридцать лет в лучших сартовских медресе у лучших сартовских мулл и богословов своего времени, был обезглавлен, подобно срезанному кочану капусты этой 16-летней девчушкой, существованию которой не требовалось никаких доказательств, обоснований или оправданий...

Дорого заплатил постаревший Мирзараим-бий за потерянную голову сына. Два года он отсылал баранов и коз в Скобелев, дабы Саид-Касум-кази окончательно повис на своих векселях, а потом уже, его задолжавшего и растерянного по новому времени, времени векселей и акций, фаэтонов и железных дорог, с помощью финансистов-евреев - Герцфельда и еще какого-то Манна,

---

<sup>26</sup> - Сестра, сестричка, прикройтесь, вон, проклятый мужчина приближается... Нельзя ему показываться!

<sup>27</sup> - Чего же прятаться? Ведь это киргиз!

чьего имени не мог произнести даже изощренный Обид-кори, бий уговорил таки Саид-Касума-кази отдать свою восемнадцатилетнюю Айимчу за пятидесятилетнего своего сына, презрев все сословные и возрастные запреты...

Под напором нахлынувших в его бескрайний двор и сад 80 горных бычков, 200 крутобурдючных баранов, сотни винторогих коз - всего оставшегося богатства могущественного Мирзараим-бия, Саид-Касум-кази сломился и выдал свою несчастную дочь в горы.

Эту задачу решил Мирзараим-бий, но не решил он другой загадки, а, не решив, ее он так и умер, не разгадав своим прямым умом: это ли то великое и страшное будущее, предречённое его сыну тем самым святым стариком под водопадом.

Но Обид-кори, похоронивший своего отца, лишившегося прежде смерти всего своего скота, с болью в сердце, но без боязни вступил в это будущее, в котором одну за другой предал земле всех своих матерей: от старшей - Улкан-Биби и до родной - Нозик-пошшо, и зажил свою голую жизнь со своей единственной и юной женой Айимчой.

## Глава 7

В своё время, когда Умарали-ростовщик вернулся из тюрьмы, поправившись на пуд, он устроил огромный "худойи"<sup>28</sup>, и Толиб-мясник был специально отослан загодя в город, дабы оповестить там об угощении всех мардикёров, бродяг, карманников, попрошаек. Четыре дня, пару единственных каушей и весь оставшийся в хиллом теле голос потратил Толиб на это мероприятие. Потом, когда обессиленный, но возбужденный, он спрашивал жарким шепотом у Умарали:

- Но почему только их?! Может быть, через Октама-уруса позвать лучше Усмана Юсупа и его ЦК? - Умарали, как водится, обматерил его с ног до головы, а потом сказал:

- Пустой ты человек, Толиб. Вся эта шушера разнесет по всему свету весть о "худойи" у Умарали. Народ будет знать! А ты говоришь Усман-Юсуп... Е...л я твоего Усман-Юсупа. Ничего хорошего я от него кроме тюрьмы не видел...

Потом, когда Толиб-мясник стоял в одной шеренге с Умарали, Октамом-урусом, Гумером-слепцом и Агзамом-магзавой, встречая весь этот сброд, нахлынувший ордой на Гилас, он все страшился, как бы Умарали не припомнил их разговор о треклятом Усмани при Кучкаре-чека, а когда, заключая всю процессию, откуда-то из подворотни то ли Кумри, то ли Бойкуш, вынырнул этот одноухий, но вездесущий Кучкар, Толиб весь подтянулся, как солдат перед принимающим парад генералом. Но Умарали, подав лишь кончики пальцев для приветствия Кучкару, вдруг обложил его с головы до ног матом, а потом холодно добавил:

- Прежде чем здороваться с тобой я должен съесть или два кило меду или полпуда казы...<sup>29</sup>

- Ха нега? - расправил свои уши Кучкар.

- Сани кўрсам, онайниский, шу дегин совугим ошиб кетади...<sup>30</sup>

Трудно умирал Умарали-судхор. Кажется, вот-вот уже и выпустит из рук вожжи этой жизни, ан нет, в последний момент встрепенется, очнется, ухватит уходящую из-под его огромной туши жизнь за загривок... еще один шаг... еще один вздох... еще один миг... и опять, кажется уже все - женщины готовят голоса и слёзы, но вдруг привидится ему железная дорога конца войны... и вагоны идущие на Иваново... и он, отправляющий туда ворованный хлопок...

- Ивановка миллён той... Арехи-Зуюхуюпка миллён той... вой-вой-вой...<sup>31</sup> Какая жизнь начинается, а...

<sup>28</sup> религиозное празднество жертвоприношения

<sup>29</sup> конская колбаса

<sup>30</sup> - Да почему же?

- Когда вижу тебя, ё..твою мать, душу леденит...

<sup>31</sup> - В Иваново миллион бунтов, в Орехово-Зуехуево миллион бунтов... вай-вай-вай...

## Глава 8

Пост начальника милиции Гиласа, который занимал старший участковый, старший сержант - он же старший сын старшего Кара-Мусаева, ослепшего к старости из-за того, что в годы войны распинывал лепёшки Рохбар, запрещая ей торговать на станции - Кара-Мусаев младший - передавался по наследству. Повторю еще раз, но более чётко: пост начальника милиции Гиласа, которым считался старший участковый, старший сержант милиции, он же старший сын старшего Кара-Мусаева - Кара-Мусаев младший, передавался по наследству. Словом, пост старшего участкового Гиласа был наследственным. Понятно? А то развели тут козу отпущенную, как говаривал сам Кара-Мусаев младший.

Все бы хорошо, и жизнь начальника милиции текла бы себе и текла до конечного пункта старшины перед пенсией, но вот беда, жена Кара-Мусаева младшего - родная дочь Кучкара-чека оказалась стельной. Куда он только не возил, кому только не показывал. Столько знахарей, табибов, да и просто любопытствующих перевидало родильный аппарат бедной женщины, что если бы мужские взгляды обладали хотя бы муравьиной долей оплодотворяющей способности, несчастная Кумри давно наплодила бы милицейский батальон наследников гиласского поста старшего участкового, впрочем, что она и сделала впоследствии, но с другим мужем. Тогда бы и Кара-Мусаев младший имел бы больше оснований носить в дни государственных праздников голубую медаль "Мать-героиня", которую он изъял на базаре у проштрафившейся казашки, носившей эту медаль с другими монетами стран и народов на кончике своих спутанных сорока косичек. Но ни исправное ношение на парадной форме этой медали, ни бесчисленно-неплодотворные мужские осмотры незачинающего лона жены не помогали, и тогда Кара-Мусаев младший решил начать расследование с другого - со своего конца, он решил поставить следственный эксперимент на свою собственную деторождаемость.

Среди женского населения Гиласа ему подчинялись беспрекословно лишь две шалавы: одна, дававшая спяну дома и другая - от свежего воздуха на кукурузном поле, где теперь вся пацанва стала выпасывать коров, но оперативное чутье подсказало старшему участковому, что вряд ли стоит ставить эксперимент на них - да и потом, что бы они родили ему?! А потому Кара-Мусаев младший дождался ближайшего воскресного коктерекского базара, где за спекуляцией индийским чаем, покупаемым у таджиков Самарканда и продаваемым казахам Сары-агача застучал молодайку-уйгурку, впервые вышедшую на промысел, и под угрозой высылки в Сибирь, приговорил назавтра в послеобеденное время, когда даже машинист Акмолин спал в своём маневровом тепловозе на каком придётся пути, явиться к нему в кабинет.

Назавтра, в назначенный час, когда лишь одно солнце, как административно задержанный, оставалось на улице в одиночестве, галлюцинируя неверными спиралями над испепелённым добела асфальтом, их пришло две. Поначалу Кара-Мусаев решил, что у него двоится в глазах от предвкушения или от проклятой жары, но когда одна из них бросилась к нему в ноги под служебный стол, умоляя простить сестру, Кара-Мусаев понял, что они - близняшки.

Через мгновение, когда Кара-Мусаев младший обнаружил у себя на коленях пачку второсортного индийского чаю, полную трёшек - обычную таксу за спекуляцию чаем - оперативная смекалка бессменного участкового подсказала ему совсем необычный ход - он схватил взяткодательницу за руку и, призывая в свидетели, ее сестрицу, зафиксировал ещё более страшный состав преступления - грозивший никак не меньше как урановыми рудниками - попытку подкупа должностного лица при исполнении последним своих служебных обязанностей.

Девицы-уйгурки плакали и каялись, но Кара-Мусаев действовал решительно и неукротимо. Вчинив сёстрам разные составы, он первоначально развёл их по двум разным комнатам, затем



приступил к раздельному допросу каждой из сестёр по отдельности, кончившемуся одинаковым лишением их женской чести взамен лишения их гражданской свободы. Правда, каждой из близничих он дал свое честное милицейское слово, что сестра, отпускаемая под натуральное поручительство, никогда не узнает о цене самоотверженности другой.

Однако надо же случиться такому: забеременели обе молодайки, и Фатьма, и Зухра, но первой об этом узнала почему-то стельная Кумри, потребовавшая немедленного развода без объяснений, из-за которого старший сержант Кара-Мусаев младший был разжалован в младшие сержанты, а из молодых коммунистов - в партийные кандидаты. Но ведь там наверху ещё не знали причин развода, и в страхе перед предстоящим младший сержант, кандидат в члены КПСС Кара-Мусаев младший пообещал по-отдельности жениться на каждой из двойняшек. Правда, теперь двойняшки действовали решительно и неукротимо, и на очной ставке, устроенной ими в участковом кабинете в тот самый час, когда даже машинист Акмолин спал на третьем пути, они раскрыли потенциальное двоежёнство разведённого Кара-Мусаева, которое в отличие от развода каралось уголовным законом, на страже которого и стоял отупевший участковый, и тогда судорожное оперативное чутьё опять подсказало ему, что лучше быть разжалованным за предстоящий развод с одной из сестёр в беспартийные ефрейторы, чем быть высланным за двоеженство, отягчённое разводом, в Сибирь или же на урановые рудники Казахстана, и тогда он объявил:

- Я женюсь на той из вас, кто родит мне первой!

И с того часа началось негласное социалистическое соревнование двух беременных сестёр-уйгурок, помещённых Кара-Мусаевым младшим в две служебных комнаты на территории лечебно-трудового профилактория для алкоголиков на курортном берегу горной речки Аксай, дабы не было компрометирующих разговоров в Гиласе.

Первой родила Зухра, да вот Кара-Мусаев обвенчался с Фатьмой, дабы быстрее с ней развестись, чтобы согласно уговора, жениться на Зухре, но именно этого не выдержала победившая в честном споре глупышка Зухра, и надо же, на ближайшем воскресном коктерекском базаре с орущим по-мусаевски ребенком на руках, который уже по голосу обещал стать наследственным старшим участковым, раструбила о случившемся всему окружному народу.

Вскоре на станции в чайхане состоялся суд сержантской чести, на котором не найдя иной более низкой степени разжалования, коей был бы достоин этот беспартийный рядовой, было решено изъять из его фамилии приставку Кара - и Кара-Мусаев был отсюда же отправлен на пенсию с кучей фамилией Мусаев, где и сошёл с ума.

Остаток жизни он посвятил почему-то тому, что читал все плакаты и лозунги, где бы их ни встречал: на стенах и на крышах, в автобусах и на базаре, пытаясь раскусить сам и поведать другим их сокровенный смысл. "План - закон, выполнение - долг, перевыполнение честь" - читал он на скрипучей арбе люли Ибодулло-махсума и рассуждал вслух:

- Пилон бу демак закун. Закун дигани бу нима? Пилонми? Хуш, пилон дигани нима дигани? Мана биззи пилон бугичиди - закунни бажариш, йук, биззи закун бугичиди - пилонни бажариш. Отамми вахтида Сами-сассик нима киларди дигин - пилонни бажариш учун отамми хаммани устидан закунчи килиб куярди-де, ха бажармасинчи пилонни - закунний йук кибташарди. Ана немис Рейтирри тирригини чикарворган уша Сами-сассигда!

Хуш, випалнени дигани бу бажариш дигани. Буни итти думиям билади. Хуш, бажариш нимамиш? Бажариш - бу долькмиш. Дольк - буниси карз. Бировдан карз олдийми - кайтар - дипти закун. Бумаса нима? Бумаса незакуннийте! Унда милисани нима кераги бор?! Ана - Улмас-куккуз отамдан йиирма сулкавой карз олип йиирма йилдан бери кочип юрипти... Розиска килишмийдите! Пилтагини чикарворарди бумаса!

Э, бутта нима дипти узи? Перевипалнени - честмиш! Черещур силожний-те буни магзини чакиш! Эхе! Канча устап укип ташадим! Чест дигани мана бу-та! "Издоров жилайм таварш камандр!"

- Э, мамбитта нима дип ёзипти? "Х.Х.Ш. исьезд карорлари амалга!" Х-Х-Ш дигани нимакин? Хамма билурмийдите! Бундаям бир чукур маъни буса керак... Бут бозор... Ха, топтим! Топтим! "Харбир харидор... шутта!" Ха, "харбир харидор шутта исьезд карорлари амалга!"... Э, бу канакаси... Ха-а... Жой етмапти ухшийди:"оширсин!" сузи копкетипти-та! Э, йук, бундаям бир маъни борга ухшийди. "Оширсин!" дип ёзса бу бутта нима дигани булади? Зухур-бокколга ухшап магазинни чойини Нури-букокка оширсинми? Ё Умри-катихчидай хар йил сигирини огзи кукка тейсаек сутини нархини оширсинми?! Ха, этмовмидим, бундаям бир маъни бор дип...

- "Уки, уки, яна уки! Лелин!" Ха, Лелинам бизга ухшап юрганаканда. Одамла нима дип ёзип куйишипти: уки, уки, яна уки, Лелин". Укисанг магзи чикурадите! Лелин бусангам бизчалик укимагандурсан...<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> План - это значит закон. А что такое закон? План? Тогда, что такое план? Вот бывало у нас - план по выполнению закона, тьфу, то есть закон по выполнению плана... Во времена моего отца, Сами-вонючка что делал? Он ставил моего отца надо всеми законщиком - и попробуй не выполни план - законно уничтожал! Вон, немца Рейтера так зафиндилючил - да, да, этот самый Сами-вонюк...

Ладно, выполнение - это и собачьему хвосту понятно. Что же значит выполнение? Выполнение - значит долг. Долг - это когда кто-то у кого-то взял займы. Взял займы - верни подлец, так велит закон! А иначе как же? А иначе - противозаконно! Тогда на что вам милиция? Вон, Ульмас-куккуз взял двадцать целковых займы у отца и двадцать лет хвоста не кажет. И не разыскивают ведь! Дали бы в розыск, такого пистона вставили бы...

- Э, а что говорится здесь? Перевыполнение - честь. Черещур все это сложно для разумения! Архисложно! Эге! Сколько уставов я перечитал! Честь это что? Честь - это "Здравия желаю, товарищ командир!" Вот это что такое!

- А что пишут здесь? "Решения Х.Х.Ш. съезда - в жизнь..." Погоди-ка, и в этом никак какой-то смысл. Х-Х-Ш... Х-Х-Ш... Что же это значит? Постой, постой, понял! "Хочущий хозяин... школы? шерстьфабрики? А-а - съезда! - в жизнь... что в жизнь? "Внедрить?" Как Зухур-бакалейщик внедряет Нури-зобовке? Или... Говорил же я, что здесь что-то есть...

- "Учись, учись, учись, Лелин". Правильно люди пишут. Пусть учится, как и мы. Вон, сколько я всего перечитал, и что? Так что, учись, учись, Лелин...

## Глава 9

Как любили в это время Бахриддина-певца!

Наверняка никогда и никого так не любили, как его! В чайхане у сына Умарали-судхура появилась афиша, на которой эта "море веры" - а именно так переводится его имя - выросал из музыкальной шкатулки, сделанной в виде мусульманской Каабы, а может быть наоборот - из Каабы, замаскированной под черную шкатулку с драгоценностями нации. Словом, весь Гилас, якобы за квелыми лепешками, ходил смотреть на афишу азиатского Рашида Бейбутова.

Оппок-ойим, купившая к тому времени место гиласской паспортистки, и за этим набравшая столько денег, что пожелай - могла бы прикупить и место директора филармонии, к которой якобы относился всеобщий любимец, и та потеряла от любви свою поседевшую, а потому скрасившую ее альбиносность голову. В перерывах между штемпелями, каждый из которых стоил две пенсии Октама-большевика, доживающего свой коммунистический век в доме престарелых, она размышляла о поводе, дабы устроить здесь любое пиршество - да хотя бы славные большевистские похороны брата, чтобы пригласить на это пиршество Бахриддина, и принародно, при всем Гиласе выйти в круг и надеть на него златотканый халат, и подвязать его златотканым шёлковым поясом, и по этому случаю, вернее, за этим случаем хоть однажды в жизни, принародно, прилюдно обнять его, подержать его на мгновение в своих объятиях, а потом уже хоть и сама умирай, не дожидаясь беглого мужа...

Но, увы, Октам не умирал из большевистской принципиальности, дожидаясь победы коммунизма, дочери же Оппок повыходили в городе замуж "по-комсомольски" - без пиршеств и угощений, втихую - в студенческих столовых, сын ее - слесарь автобазы - Кувандык - женился и вовсе на русской, пристрастившись поначалу к их водке. Что возьмешь с племянника своего дяди - тоже не повод для свадьбы, а потом и сам Бахриддин оказался не шибко уловимым.

Только придумала было Оппок-ойим повод - муж ее Мулла Ульмас-куккуз, вернувшийся из лагерей, был назначен на должность "носителя вымирающих языков" в городской институт, как из того же самого Города пришла страшная весть, будто бы Бахриддин, ее любимый Бахриддин - море её веры - с такими же, как и он, знаменитостями, дескать, устроил публичный дом из оркестранток под управлением некоего то ли Согинча, то ли Севинча, пропади они пропадом! Будто бы в этом доме все ходили в чем мать родила, распевая между делом, или как самое дело - своими ангельскими голосами лучшие песни своих репертуаров. И вот, как рассказывали, туда же попал однажды некий министр каких-то дел, и оказался, что называется, не у дел: то ли слишком громко пели эти нагие ангелы, а министр проходил мимоходом в дом по соседству, но как бы то ни было из Города пришла страшная весть, что с Бахриддина сняли там же все, что на нем оставалось: звания, лауреатства, регалии, и отправили его отбывать культссылку на берега начавшего уже подсыхать Аральского моря.

Прошло несколько лет и Оппок-ойим, сохранившая верность своему кумиру среди наплодившихся голосов и голоса, лишь прослышала через племянника Пинхаса Шаломая, замещавшего Бахриддина теперь на свадьбах, что племянничий Устоз возвращается из ссылки, как тут же через специального посланника, снаряженного в город, решила предложить Певцу устраивать те самые "ангельские песнопения и радения" здесь, в Гиласе, благо, через своего ставленника на Кок-терекском базаре - через того самого досрочного пенсионера Али-шапака, она купила и обставила целый весовой зал, куда директор медучилища нагнал якобы для практики по анатомии и физиологии человека целый курс молоденьких медичек, но, увы! К тому времени Бахриддин окончательно, как оказалось, остыл к девочкам и перешел будто бы на собак.

Специальный посланник, пропавший на неделю, потом две недели рассказывал всему Гиласу, что Бахриддин - это море веры, купил у казахов 4 холма и одну лощину за Черняевкой у Шараб-

хоны, что на один холм садится он сам, на другой сажает своего противника под навесом, по двум оставшимся рассаживает судей, секундантов и болельщиков, а посередине - в ложине устраивает этот самый свирепый собачий бой.

Рассказывали, что несколько лет и месяцев понадобилось для того, чтобы пес Бахриддина по кличке Лабон стал неодолимым в округе от Арала и до Урала, от Памира и до Приморья, после чего он заклал своего непобедимого Лабона среди четырех холмов Шараб-хоны, и по указанию первого секретаря этих мест, выправившего свой бюджет, благодаря нахлыву болельщиков, породивших новую инфраструктуру и рабочие места, четыре холма вместе с ложниной посередине были оцеплены навсегда надписью "Стой! Опасная зона!"

И вот теперь, когда Оппок-ойим, слушая по радио обгаренный нечеловеческой тоской голос кумира:

Итингдурман, сочинг занжирины буйнимга махкам кил...<sup>33</sup>

надумала собрать к себе лучших собаководов среди местных корейцев, дабы хоть как-то помянуть изысканной собачьей кухней короля псов, закланного королем песен, и опять отправила гонца в Город - оказалось, что Бахриддин - гордость веры, удалился теперь в гордое отшельничество. Он никого не принимал, читая день и ночь классические тексты, которые он раньше пел на свадьбах за деньги, за деньги - назначенные хозяином свадьбы, за деньги - всовываемые в карманы, за пояс, под тюбетейку и даже в резонаторскую дырку его тара, как в почтовый ящик, за деньги - дождемые над ним его бесчисленными обожателями всех трех полов.

Теперь он читал старинные рукописи и понимал их сокровенный смысл, раскрывающий ему глаза, казалось бы на себя самого... Три года и три месяца читал он эти толстенные книги, собранные им по всем кишлакам и аулам, пока не стал разбираться в них лучше всех филологических институтов и музыкальных училищ во главе с Хамидом Сулейманом и Юнусом Раджаби. Он поседел от своего знания и решил поведать это знание людям...

При его собранных манускриптах будто бы создали институт рукописей, а он обернул их смысл в голую оболочку своего измудревшего голоса. Время его решения пришлось как раз на отъезд Муллы Ульмаса-куккуза в Америку по тому самому настоянию Пинхаса Шаломая и по той самой рекомендации учителя математики Солженицына. Раздираемая каверзной проделкой этого проныры Пинхаса, заплатившего ей в свое время за паспорт на имя Петра Михайловича Шолох-Маева золотыми украшениями с последней жены бухарского Эмира, обнищавшей в Кермине, а теперь вот отплатившего ей выкраденным мужем и через своего племянника последней вестью о том, что будто-бы Устоз покрасил волосы иранской басмой и опять вышел в люди; так вот, раздираемая этими двумя чувствами, постаревшая, но не сдавшаяся гиласская паспортистка Оппок-ойим - родная сестра видного большевика Октама-уруса, заработавшего к тому времени за долголетие Орден Дружбы Народов, решила объединить эти два противоречивых чувства в одном: она вышла на пенсию, и чтобы оплакать все разом, опять послала гонца к Бахриддину, поставив на кон то самое золото с последней жены бухарского эмира, полученное ею за зарубежный предпоследний паспорт Шолох-Маева.

И вы знаете, по всему Гиласу, как молния, как гудок стародавнего кагановичского паровоза, разлетелась, разгромычалась, распростерлась эта новость: Бахриддин - море Оппок-ойимовской веры - едет в Гилас! Срочно разменивались деньги на мелкие, дабы большее количество раз подходить к кумиру с порцией признательности за талант - вот тогда-то побочный сын Умарали-

---

<sup>33</sup> "Я твоя собака, привяжи покрепче к цепи своих волос" (Бабур)

судхура от жены Кучкара-чека - Эргаш-Юлдаш и набрал свои два мешка тысячерублевых купюр, которые потом, через семь с половиной лет горели при пожаре, покрывая Гилас запахом влаги и плесени...

Сама Оппок-ойим пригнала с шерстьфабрики бригаду татарок во главе с Закией-ногайкой на побелку и покраску дома, двора, деревьев. Закия-ногай - дочка видного джадида из Крыма, приехавшая в свое время сюда обучать местных женщин грамоте и новой жизни, но кончившая свою собственную непутевую - мойщицей на шерстьфабрике, почему-то вспомнила, что когда к ним в Крым на заре века приезжал к её отцу выдающийся певец этих мест - Домла Халим, её отец купил по такому случаю рояль, который весьма понравился хофизу: между педалей он ставил свою палку, на пюпитр складывал очки и четки, а на самую огромную поверхность - чалму и чапан; и тогда воодушевленная Оппок-ойим сняла с хлопзавода бригаду грузчиков-осетин и выторговала у директора капланбекской свинофермы корейца Чень-Дука, которого она в свое время сделала казахом Ченьдукбаевым, рояль "Рёниш-1911" доставшийся тому вместе с правлением свинофермы от местного немца, высланного после войны в Германию.

Пока осетины доставляли этот рояль, отвезя взамен в опустевший кабинет Ченьдукбаева биллиардный стол из гиласской библиотеки, рядом с благородной надписью "Рёниш-1911" появилась еще и другая: "Хацунай-196...", выцарапанная кривым осетинским ножом. Впрочем, Закия-ногайка забелила и ту, и другую надписи, покрыв весь рояль вместе с 64 клавишами белоснежной автомобильной краской. Особо тщательно она выбелила коротенькие и выступающие черные клавиши, на которых так легко воспроизводились ее нехитрые татарские песни из образованной и избывшейся юности...

И вот когда деньги были наменяны, а карманы тех, у кого с ними было не особенно густо, углублены в штанах настолько, что в них можно было прокопаться весь вечер, будто бы ища ту самую запропастившуюся пачку, приговаривая при этом вбок: "Да, Бахриддин сегодня не тот! Вот запереть бы его один на один и записать на магнитофон под самое утро!", когда, наконец, краска потолка, штaketника, скамеек на 2375 взрослых жителей Гиласа, кроме того, и белоснежная краска покрашенного рояля "Рёниш-Хацунай" подсохла, утром того дня, впервые в истории Гиласа, разыскивая дом Оппок-ойим, который знала всякая собака, на новенькой ГАЗ-21 у чайханы сына Умарали-судхура появился гонец Бахриддина. И через два часа по Гиласу разнеслась весть об инсульте Оппок-ойим. Но это отдельная история.

Здесь же осталось рассказать, что ей после случившегося полупарализовало ноги, и когда она достигла глубокой старости, так и не дождавшись ни Бахриддина, ни Муллы Ульмаса-куккуза, можно было видеть, как преданная ей Закия, восстановившая благодаря Оппок-ойим фамилию своего знаменитого отца, и теперь получавшая специальную пенсию с месячным продовольственным пайком из макарон, тушёнки и черного перца, возила старушку в детской коляске вдоль по всему Гиласу, и даже на Кок-терекский базар по воскресеньям, и Оппок-ойим, обвязанная по всем своим 360 жилам тряпочками, платочками, бинтиками с деньгами, развязывала их то у киоска газ-воды толстухи Фроськи, по которой сохло все мужское население Гиласа, то у мясника Толиба, подкладывавшего за расспросами о жите-бытье собачью кость в середку демонстрируемой мякоти - и то в отместку за своего пенсионера-брата, то у сапожника Юсуфа, писавшего все время вскрытную за будку Хуврона-брадобрея, так что будка поросла сперва мохом, а теперь плющом, так и развязывала Оппок-ойим то одну, то другую подвязочку, рассчитываясь с этим миром и все более облегчаясь наподобие священного дерева, и возвращаясь все в той же детской коляске, подталкиваемой поперёк рельс, а потом по кривым гиласским переулкам Закией-ногайкой, и вернувшись домой, но, не выгружаясь из коляски, Оппок-ойим брала в руки то фотографию и единственное письмо своего скиталого мужа Муллы Ульмаса-куккуза, обреченного учить могучий русский на Брайтон-бич, а то свой единственный и

неизменный паспорт с фотографией, на которой она была бела от природы, но не от старости, и плакала сухими глазами, пока Закия, негнуцимся и дрожащими от Паркинсона пальцами, тыкала по проступившим от времени черным клавишам, набирая нехитрые татарские мелодии своей далекой юности...

## Глава 10

В зарослях тутовника, простиравшихся между тонкой линией первых домов улицы Папанина с одной стороны, и корейской махаллэй с другой, было несколько инжировых кустов, о которых знала лишь старушка Бойкуш (ее некогда заводил сюда Толиб-мясник) и её соседка Зеби - жена одноглазого Фатхуллы-фронтвика - ума, совести и чести махалли. И вот когда они вскрытную ото всех пробрались будто бы справить свою нужду, а на самом деле стали наслаждаться этими райскими плодами, под которыми Толиб-мясник рассказывал подслеповатой Бойкуш историю Адама и Евы, издалека их окликнули. То была корейнка Вера. А может быть Люба. Или Надя.

- Улгур, бу ердаям топиптия!<sup>34</sup> - выругалась Бойкуш. И мгновение спустя громким голосом позвала:

- Хай, буёкка келинг! Бирга анжир еймиз!<sup>35</sup> - и тихо добавила, обернувшись к Зеби:

- Всё равно сама уже идет...

---

<sup>34</sup> - Треклятая, и здесь разыскала!

<sup>35</sup> - Хей, идите сюда. Будем вместе есть инжир!

## Глава 11

... Этот бесконечный разговор стариков убаюкивал мальчика своей потусторонностью, подобной тому сонному свету, который зависал зимними ночами над керосиновой лампой, когда они всей семьей садились выщипывать семена из хлопка, и бабушка, примеряя обрезок сатина к медленно растущей кучке ваты, тихо напевала:

Гунохим бора-бора тогдин ошди,  
Киёмат кун мани шарманда килма...

Грехи мои тихо-тихо выросли выше гор,  
В судный день меня не опозорь...

и эта полущёпотная песня влекла ко сну, ещё более мягкому, чем вата в медленных пальцах, и еще более тихому, чем свет от начищенной мальчиком лампы №10. Но теперь мальчик боялся уснуть, и сон ему казался тем же, чем и еда для домашних, а может быть еще более недопустимым и грешным, потому что пенять было не на кого, и тогда он стал очищать от налипшей соломы свою байковую школьную униформу, - китель, как называет ее дед, то есть теперь уже называл, и называл её так потому, что чего бы он сам не носил - он всё называл кителем, так что однажды, когда он еще только начал ездить в Москву по железной дороге, он привез как-то то, что он назвал летним кителем, и на другой же день надел его - этот тонкий, полосатый как матрац "китель", а еще точно такие же полосатые штаны, которые заправил в свои бессменные брезентовые красные сапоги, и сколько его не уговаривали и не пристыживали почувявшие неладное женщины дома, поехал таки в этой пижаме, как назвал ее дядя Изя-индпошив, вправленной к тому же в сапоги - в город...

И этот "китель", такой же позорный, как и пижама на деде, этот ненавистный китель с единственным достоинством: прольешь на него чернила и ничего не заметишь - был еще более ненавистен мальчику оттого, что им наградила его школа, и этот позор, когда на "линейке", посвященной дню рождения Ленина, косая Аннушка объявила, что ему вручается форма за отличную учебу и примерное поведение, а потом еще, несмотря на его побег с этой проклятой и позорной "линейки", передала эту гнусную форму через набитую Мошку, а бабушка даже стала при той припоминать, что ее детям такого не давали, так вот, этот самый позор заставил его впервые убежать из дому.

Впереди были майские праздники, и эти праздники одним своим существованием заставляли радоваться тому, что в эти дни не надо ходить в школу, но это же самое вдруг отдавалось в сердце мальчика щемящей тоской: кого из ребят отыщешь теперь на школьном стадионе...

Но и все равно, - думал мальчик, - домой он не вернется, отыщет ушедшего чуть раньше деда, будет жить как придется, но домой не вернется ни за что. Как быть со школой, он еще не решил, но после позора на линейке... И теперь, очищая свой китель от налипшей соломы, он ненавидел эту униформу вдвойне: и за позор перед всей школой, и еще больше за то, что теперь, вспоминая день ее получения как позор, он, тем не менее, видел его с ненавистью на себе - этот весь облипший соломой, висячий, интернатовско-детдомовский халат.

Бабушка сказала: "Вот видишь, и школа тебя пожалела, форму тебе дала, а вот мать твоя ходила в школу в платье из мешковины. Я ей сшила сама в артели... Вату для фуфаяк присылали в мешках, и вот один из них разорвался... Бедная моя дочка..." - и она заплакала, или даже нет, заплакал ее голос, а она сама продолжала складывать эту форму, разглаживая болтающиеся рукава и застегивая две крайние, металлические со звездочками, пуговицы.



Он наотрез отказался носить эту подачку, тогда бабушка вместо того, чтобы оставить его в покое, стала приплетать к маме еще и деда, сказав, что нельзя быть таким чистоплюем, и если дед чистоплюй, то ведь и он ему неродной...

И этого уже мальчик снести не мог, поскольку какое-то кружение внутри, наподобие воды, заполняющей бутылек под быстрой струей, то кружение, выплеснувшее из глаз совсем неожиданные слезы, оглушило уши звоном, и не задержалось на этом, а закружило его самого и вынесло за ворота и по переулку, мимо высоких дувалов крепости Хуврона-брадобрея, к железнодорожной насыпи, и опять свернуло его в сторону пристанционного базарчика, и понесло по шпалам железной дороги, куда-то вверх, к пакгаузам. Он шел тупо и долго, пока дошел дотуда, где ничего кругом не было знакомо, где кончились все его слюни, сплевываемые под каждые десять ненавистных "чис-то-плю-ев", и даже это обидное слово теперь не казалось ему обидным как прежде, но сухая горечь на языке осталась, и она становилась еще горше от ветра, которым несло издалека, из-за вывороченной у насыпи земли, из-за придорожных зарослей джиды, откуда-то из горьких полынных степей.

И странную свободу почувствовал мальчик, как если бы на этой вечерющей и пустой земле он остался совсем один, один без обидных слов, без позора и страха, без нужды в друзьях, которые уедут с родителями на праздники в город, без этого города, куда и он должен был ехать с бабушкой, но совсем за другим - за леденцовыми петушками, чтобы торговать ими потом в Гиласе, - и он теперь мог делать все, что ему вздумается, кричать во весь голос: «Ма-ма, ма-мочка, а тебя люблю!» - и пугаться своего голоса только в первый раз, когда из-за развороченных куч земли вылетела испуганная ворона, и, перепугав его, улетела, недовольно каркая вдоль столбов, можно было взять камень и швырнуть вслед этой вороне, просто так, из-за того, что и это можно было сделать, можно было делать что угодно, но делать было совсем нечего. Мальчика поразила эта скудость, очень похожая на небо, которое на глазах опускалось, сворачивая, казалось бы, беспредельную землю с одной стороны на другую, совсем как бабушка сворачивает супру<sup>36</sup> после того, как мальчик поотбивает тесто кулаками, и тогда она ставит таз с тестом в сторону, чтобы мальчик укрыл его скатертью и одеялами, а сама начинает сворачивать супру, оббивая ее с обратной стороны, так что мука сыплется с клеенки на другую ее сторону, как и сейчас с одной стороны, кажется, посыплются мучнистые звезды.

Мальчик так загляделся в небо, что внезапно раздавшийся гудок поезда напугал его не меньше вороны, и он метнулся с насыпи раньше, чем понял, что это поезд, и что машинисты решили, быть может, просто подшутить над ним, стоящим там, где никогда никто не стоял. Он был в этом почти убежден, особенно когда над его головой метнулся яркий луч, и только глянув вслед ему, мальчик понял, что это закат, отраженный стеклами тепловоза, но и все равно вылезать из-под бугра земли ему не хотелось, пока совсем рядом с ним не раздался еще раз гудок, от которого задрожала земля, и тепловоз загремел тяжелыми колесами где-то впереди. Тогда он вылез из вороньего укрытия, чтобы, может быть, как этой улетевшей вороне, помахать кулаком вслед этому тепловозу, но, увидев, что поезд пассажирский, он опешил. Прячется было поздно, да и не хотелось, тем более что изо всех окон смотрели на полевой закат люди, но и стоять перед ними, едущими откуда-то и куда-то, он не мог, и не мог потому, что они помешали ему, а не он - им, они ворвались в его жизнь, а не он, но, думая о том, что бы им сделать такого, он увидел, что никто, оказывается, и не смотрит на закат, каждый занят у окон своим делом: кто стелет постель, разворачивая ее, как бабушка супру, кто чего-то ест, кто - пьет. А особенно в вагоне-ресторане...

И вот когда мальчик уже раздосадовал, что некому отомстить за все, в одном из последних вагонов за открытой дверью тамбура стояла девочка и вправду смотрела на поле и на закат. Она была единственной с этой стороны, кто не за окном, и тогда мальчик решил, что отыграется за

<sup>36</sup> клеенчатая скатерть для теста

всех на ней, он судорожно думал, что бы сделать - запустить ли глиной, расстегнуть ширинку или совсем стянуть с себя штаны..., и когда вагон сравнялся с ним, он вконец растерялся, и неловко поцеловав кончики своих пальцев, бросил этот поцелуй в сторону девочки; та, опешившая, стояла и улыбалась, и даже не стала вертеть пальцем у виска, а высовывалась из тамбура, держась за поручень и глядела в его сторону. И это совсем сбило его с толку и даже бросило в краску, а потом, когда поезд увез свой хвостовой красный свет за далекий поворот, стыд мальчика все еще гудел в рельсах, теплых от красного солнца, гревшего их целый день, и этот гуд передавался через пылающие щеки и в сердце, отстукивавшее как поезд по рельсам свой быстрый бег.

И мальчик крикнул: "Девочка, я тебя люблю", и на этот раз не испугался уже ничего, потому что знал, что его голос в спустившейся темноте не долетит дальше этой вывороченной земли, дальше зарослей джиды, дальше этой пустоты, которая теперь была его личной, собственной, помеченной и наполненной им, наполненной настолько, что ее хотелось побыстрее оставить, как взбитое до конца тесто, когда оно уже не вмещается в таз; и он быстрым шагом пошел по шпалам обратно.

Когда он дошел до первых корейских домиков с соломенными крышами, было уже темно. Где-то вдаль, наверное, в совхозном винограднике, лаяли собаки. Если бы не собаки, которых пораспустил совхозный сторож Наби-однорук, тем временем как сам воровал хлопковые семена из-под вагонов, можно было бы пойти туда, в этот виноградник; там, у старого, разваленного дувала под орешинной сброшено все сено, которым укрывали виноград на зиму. Из этого виноградника они всю прошлую осень возили на тачке домой сухолом, вернее сухорез - обрезанные по весне лозы, - ими бабушка топила тандыр<sup>37</sup>, и тогда это сено лежало, высушенное за лето на солнце, а виноградник, обобраный и засохший, таил под сухими листьями малюсенькие хрустящие гроздья, которыми оно обедались под орешинной на этом самом сене, а однажды они взяли с собой и жадину Минталипа с его братишкой - Минтахиром, и этот Минталип, вместо того чтобы собирать сухорез, полез на эту орешину и набрал на ней полную майку орехов, и все ему казалось мало, даже когда они кончили есть виноград и стали собираться катить свою полную тачку к дому. И тогда Минталип потянулся за последним на дереве орехом, и вдруг треснула ветка и он, вопя, грохнулся с этой высоты на землю рядом с кучей сена, а они даже не заметили как его тут же следом накрыла обломанная ветвь, так был сладок хрустящий виноград, а когда обернулись, то услышали из-под этой ветви его голос: "Мин - та - хир... Мин-та-хи-ир..." и какое-то бормотание, похожее на хрипы. Они бросились к нему, перепугавшись до смерти возможного, и когда стащили эту лапистую ветвь, Минталип лежал плашмя и зовя из последних сил своего брата: "Минта-а-хи-ир..." - пересчитывал за пазухой свои нерастерянные орехи: "Биряв, икяв, ущяв..."

А дальше, за совхозным виноградником, начинались поля, разрезанные двумя или тремя многокилометровыми арыками, по неровным берегам которых они собирали по весне мяту, и каждую весну бабушка отделяла от теста, предназначенного для базарных лепешек, один катыш и последний тандыр оставляла на самсу<sup>38</sup> из этой мяты, съев которую, можно было весь год ходить здоровым. Зелень эта помогала во многом, и она, как говорила бабушка, была лучшим "погонщиком хлеба", уступая лишь к маю это право сначала зеленому урюку, а потом и зеленым яблокам.

Можно было бы и сейчас, вернувшись на станцию, пробраться незаметно в переулочек, откуда всегда выбегал старый Фатхулла, и через дувал забраться на яблоню, полную этих яблок, но их

<sup>37</sup> глиняная печь для выпечки лепешек

<sup>38</sup> печенье пирожки

кислота, только представленная кончиком языка, уже заставила урчать горящий живот.

Он на секунду остановился на рельсе, по которой шёл, и даже не потому, что на подступах к станции она раздваивалась у самой первой стрелки, а потому что ему показалось, что он забыл нечто мелькнувшее секундой раньше в памяти, то, что секундой позже, перейди он на другую, уходящую к краю полотна рельсу, безвозвратно забудется, и он обернулся назад, где в темноте, сверкая от лунного света, убегали вдаль коротенькие рельсы, а потом посмотрел по сторонам, и в этом лунном свете с высоты железнодорожной насыпи увидел за низенькими корейскими домишками бескрайние поля, окаймлённые лишь во-он там Зах-арыком.

Там, на Зах-арыке Сабир и Сабит утопили Хосейна - внука Джебраля в день обрезания мальчика. Мальчик шёл по рельсе мимо пустой и окраинной пристанционной башни, в которой прятался брат Хосейна - убийца Эзраэль с брадобрейским лезвием отца в руках в тот самый день, когда вся станция знала, что Сабира и Сабита привезёт не Мусаев, а городская милиция, и из их дому - такой же, как и корейские камышокровые халупы - развалины за этой башней, поведут к Зах-арыку, но даже когда кто-то, кажется, однорукий дядя Наби принёс попутную весть о том, что видел их у Зах-арыка, Эзраэль всё равно не уходил из этой башни, так и простояв в белом парикмахерском халате дотемна. И теперь, озираясь на башню, и заметив промельк в её чёрном проёме, мальчик содрогнулся от ощущения, что Эзраэль всё ещё стоит там и ждёт своего часа, от этого ощущения мальчику стало так жутко, что он побежал на другую сторону железной дороги, к пакхаузам, где как всегда стояли отцепленные вагоны.

...Вспоминая это теперь, когда замолкли старики, мальчику нестерпимо захотелось крикнуть им или позвать кого-нибудь хоть откуда, и он даже вскочил со своего места, но, ударившись головой о балку стропил, завыл и уселся обратно на сено. Странно, что и тогда, пустившись в безотчётном испуге под вагон, он разогнулся чуть раньше времени и так хрястнулся спиной о какую-то железку, что так и лёг животом на рельсу посередине колёс вагона и лежал, не двигаясь, как теперь сидел, и ему вдруг всё стало настолько безразличным и однообразным, что он стал лизать языком острые насыпные камни полотна. Поедь сейчас маневровый поезд и зацепи этот вагон, он так бы и остался лежать наперевес через рельсу, а утром его бы нашли перерезанного надвое и занесли бы обе эти половинки домой, бабушке, а ещё лучше, если одну половину отдали бы косою Аннушке, которая всю жизнь его преследует и жаждет, чтобы он жил у неё...

И лёжа на этой рельсе, где его пустой живот наконец нашёл успокоение, мальчик думал разом обо всём, что окружало эту железную дорогу с этой стороны станции: о пункте Белялова, куда каждое лето они устраивались всей улицей колотить речные ящики по тринадцать копеек за штуку, и об этом гнусном Белялове, не выдавшем мальчику ни копейки за последнюю неделю работы, за которую он сколотил двести семь ящиков, и о пакхаузе, где во всякое другое время можно было найти работу: весной - грузить в вагоны капусту, осенью - арбузы - по рублю за тонну, где они с Сашкой Ахтёмовым брали вагон, а потом собирали под своё начало ещё пацанву и начиналась работа: тонна - рубль, машина без побитых арбузов - рубль с водителя, проданный на поезд арбуз - рубль с пассажира, но и здесь их дурили, как могли, а попробуй - заикнись - сразу грозились сообщить в школу, домой...

Угроз о доме мальчик не боялся, бабушка знала и поощряла эту работу, а вот если расскажут в школе... Словом, мерзко дурачили! Они-то с Сашкой - ладно, получали по своей десятке за день, а вот эта мелочь пузатая - Кутр, Витёк и другие, кроме съеденных в вагоне арбузов ничего и не получали, так что приходилось делиться ещё и с ними.

А потом, бабушка, которой мальчик отдавал все заработанные деньги, взяла и купила мешок семечек на городском базаре, и когда кончились арбузы, стала их жарить и заставлять мальчика торговать ими на базаре своей станции, оставшемся там, в стороне ног мальчика.

Он со жгучим стыдом и отвращением вспоминал тот первый день, когда базаркомша Озода - племянница Оппок-ойим подошла обилечивать его, и впервые увидев его не с выпеченными лепёшками, которые она покупала вперёд всех, а с тазиком семечек, сначала удивилась, а потом при всех завсегдатаях базара: при старушке Тыртык, торгующей кислым молоком, при Олмахон, привозящей из города помидоры и огурцы, при Кули-бобо, торгующем куртом и свистульками, при Банат, выносящей горячие татарские беляши, словом при всех усмехнулась и произнесла: "Это что, у вас тандыр никак обгорел?" И все рассмеялись, но не как старики смеются в чайхане, как они смеются и сейчас, когда под животом дрожит балка, едва замазанная глиной и посыпанная соломой, а каждая в свою варежку, ехидно и зло, а ещё угодливо для этой Озоды, как будто за этот смех она сегодня освободит их от оборов... От отвращения, которое он безуспешно пытался протолкнуть комом слюны в горло, задрожала рельса, как сейчас задрожала от смеха балка, и он даже обрадовался тому, что может быть уже поужинавший Акмолин двинул свой маневровый тепловоз, и теперь взял путь сюда, но ничего кругом не слышалось, и тогда он понял, что воздух со слюною гуляет по его животу, и от неудержимого пучения его шатает на этой врезывающейся в живот рельсе.

Он не умел перечить бабушке, совсем, совсем не зная почему, и всякий раз, когда он ещё дома, у тандыра отказывался выносить на базар лепёшки, бабушка не ругала, не проклинала его, но молча, со слезами на глазах брала сават с горячими лепёшками и, не сбрасывая своего засаленного брезентового халата, в котором пекла лепёшки в огнедышащем тандыре, шла, ковыляя на своих больных ногах, и мальчик, всякий раз чуть не плача от бессилья, догонял её у калитки и выхватывал из её рук сават - плоскую плетёную корзинку, чтобы здесь же в переулке постараться распродать лепёшки прохожим, а потом, если получится, то зайти в чайхану, там, по крайней мере, нет никого из школы, если не считать учителя узбекского языка - Киргизбая-казаха - который, оказывается, учился ещё с мамой, и как говорила бабушка: "Сам только ещё вчера выносил к поезду пучками зелень"; но когда лепёшки не раскупались и там, то приходилось идти на базар и платить Озоде за сбор первыми двумя лепёшками и смотреть во все глаза - не появится ли кто из школы. А появившись какое угодно знакомое лицо - он тут же бросал свой сават и уходил к газ-будке или к водопроводу, а когда появлялись учителя, то просто за угол, и дожидался пока они неспешно пройдутся по всему базарчику и почти всегда, уже привычно, отберут из савата лепёшек и бросят на тряпочку мелочь, да медленно пройдут...

Вот так случилось и с семечками. Легендарному Зуеву вздумалось их пощёлкать, а в это время вышла зачем-то на базар бабушка. Попробуй ей объяснить, что... а что ей объяснять, когда она, схватив этот тазик с семечками, несёт его домой, как уносила сават с лепёшками к калитке, и сколько за ней ни беги, она не вернёт этих семечек, и тогда мальчик выхватил тазик из её рук, как выхватывал сават с горячими лепёшками и со слезами отчаянья пошёл от неё на базар, а она так и осталась стоять, смотря вслед ему такими же глазами, с какими она забирала от самого тандыра сават с лепёшками.

А через час всё повторилось, но на этот раз она тазика не вернула, и тогда у самой калитки, мальчик, чувствуя непоправимость происходящего, бросил полную горсть медяков в этот тазик, а сам повернулся и пошёл, не смотря на то, что бабушка сама нарушила молчание и что-то вслед бормотала, обернувшись в его сторону так, как обернулся днём Зуев, прежде чем согнул свою легендарную осанку и нырнул под вагон, не утруждая себя долгим обходом со стороны головы стоящего состава.

И теперь, лёжа наперевес через рельсу, мальчик думал о том, как бы выглядел Зуев, знай, что его заметили в этом постыдном пролазании под вагоном, ведь вынырнув на другой стороне, он тут же принял свою непреклонную осанку и опять огляделся по сторонам, заложив руки за спину.

Мальчику порядком надоело всё это и он сплюнул, как шелуху от семечек, липкую слюну, которая частью так и осталась на губах, и тогда он стёр её грязной рукой, что, казалось, и заставило его, наконец, встать, и повело вниз к водопроводной колонке у будки мороженщика.

И когда он умылся и до тошнотворности напился воды, Акмолин загудел своим тепловозом, а Таджи-Мурад замахал в темноте своим фонарём, как наверняка он махал им и сейчас, когда ничего кроме редкого хохота стариков и гудков маневрового тепловоза не услышишь. Прислушиваясь к редким надсадным гудкам тепловоза, мальчик вспоминал своё предыдущее состояние, заставившее его подняться вверх на железнодорожное полотно, как будто бы в силу того, что там осталось незаконченным какое-то действие, которое непременно надо завершить, как в другой бы день непременно поужинать перед сном, вымыть посуду в пустом котле, вычистить под ним очаг, постелить постель и выйти во двор...

Небо над ним было таким же, как и всегда, звёзды светили всё также, как будто ничего и не происходило в этот день, как будто простояв ещё минуту под этим небом, он войдёт в дом и нырнёт в постель, как ныряют в воду, чтобы непременно выплыть на том берегу. Но странно было ощущать какую-то безбрежность в этом небе, как будто бы прикреплённые, как блёстки звёзды, вдруг сорвались и потонули в темноте, и ему казалось, что у этой чёрной реки, поглотившей звёзды, нет ни одного, ни другого берега, и, пугаясь непривычного ощущения, он просто пошёл по путям, как пошёл бы в другой вечер домой, под крышу.

Это чувство, которое приписывали лунатикам, казалось, охватило теперь его, и он вспомнил как прошлым летом, когда в бассейне смолы утонул Шоолим, бабушка сказала, что чёрными глазами нельзя смотреть на чёрное, оно зовёт...

Но ведь Шоолима звали "Куккузом", как и дядю Муллу Ульмаса, поскольку у него были зелёные глаза, а, впрочем, он полез в смолу за бутылкой...

Так и мальчик оказался у самого вагона, под которым он пролежал, испачкав себе и рубашку, а теперь и живот, липкой смолой с этой запасной, густо смазанной рельсы. Он бы опять забрался под вагон и нисколько бы не струсил, если бы не это отвратительное ощущение липнущего живота, которое пропадает лишь тогда, когда выпрямляешься как Зуев. Лёг бы, даже если и знал точно, что Акмолин поведёт свой тепловоз на этот путь, что зацепит именно этот вагон, загруженный кем-то капустой или шерстью, а может быть и хлопковыми семенами, лёг бы, если знал, что...

Его отвлёк неожиданный голос Таджи-Мурада, раздавшийся где-то здесь, поблизости, и он машинально согнулся и нырнул под вагон, но клейкая смола так схватила живот, что заставила его прилечь под вагоном, и он увидел Таджи на соседнем пути под соседним вагоном целого эшелона, который он, матерясь, пытался отцепить. Мальчику стало стыдно своего испуга, а особенно перед этим жирным Таджи, который засмеял бы его, увидь, как мальчик бросился под вагон.

Он лежал как мышонок, прижавшись ко шпалам, и ощущение, что он нашёл себе крышу, соседствовало в нём с гулким грудным стуком стыда. Таджи не прекращал материть вагон, и только когда разделался с ним окончательно, пошёл к голове эшелона. И тогда мальчик понял, что Таджи разбил свой фонарь, которым он махал, свисая с подножки, и, может быть только поэтому, не заметил мальчика в метре от себя. Тогда ему стало ещё стыднее от своего испуга, и этот удвоившийся стыд поднял его вслед семенящему Таджи-Мураду и заставил пойти между двух составов как в чёрной реке, текущей от земли до неба...

И там, у пятого или шестого вагона, пот, потёкший по нему, добрался до смолы на животе и остановился, чтобы растечься вдоль какой-то животной складки и мальчик, преодолевая невыносимое отвращение, от которого хотелось кричать до неба, полез под вагон и лёг между колёс на шпалы. Пот со смолой влип в живот, и рубашка прилипла к животу, как бинт к ране. Было тихо, тихо, как будто бы гора хлопковых семян осталась позади, а над ним лежало одеяло из

очищенного только что хлопка, да бабушка...

В это время лязгнули колёса и поезд, медленно скрежеща, дёрнулся, ударилось колесо о стык рельсы, ещё одно, и сердце его застучало вслед за колёсами всё быстрее и настойчивей, или колёса стучали в такт оглушительному сердцу, и он влип в эти живые шпалы и, кажется, сросся с ними в единственной, отчаянной мысли, мысли тонкой и цепкой, как проволока, могущая свисать из-под вагона и волочиться по этим шпалам, по...

И вдруг это кончилось... Земля этих шпал дышала как берег, отдавая всё дальше и дальше последний вагон, который казалось не раздел его с головы до ног, но наоборот, оставил всю одежду с головы до ног как пустую, но цельную оболочку здесь, утащив за собой на крючке этой проволоки всё остальное, как выданный зуб, и мальчик лежал в оболочке одежды лёгкий, подобно семечной шелухе или даже ещё легче, как часть этого невесомого неба, лежащего на земле, не чувствуя ни единого живого куска своего тела...

... И опять раздался смех стариков.

Потом раздалось несколько фраз, которые тоже прерывались смехом, но не таким густым, как с самого начала, и мальчик, не сумевший понять ни этих фраз, ни причины смеха, раздражённо стал отыскивать конец потерянной нити, которую он накручивал и раскручивал вокруг пуговицы этой дрянной формы, опять, как и прежде облепленной с головы до ног соломой. И тогда он вспомнил, как лежал недвижимый на шпалах, казалось весь затёкший, как затекает отлёжанная рука, которую надо оттаскивать из-под себя другой рукой, а потом массажировать, пока не побегут первые мурашки, несущие жизнь руке, но его некому было оттаскивать, если бы вдруг не пошёл обратным ходом Таджи-Мурад, но гудки тепловоза раздавались далеко-далеко, возле переезда, и его редкие гудки, а потом стук колёс, как первые мурашки, стали возвращать его сознанию восприятие самого себя, лежащего здесь на шпалах, совсем как если бы он только что выходил из себя в это небо, а теперь, возвращаясь обратно, смотрел оттуда сверху из-за спины, вперяя свой взгляд всё пристальней и пронзительней. Тогда мальчик испугался этого взгляда и, вообще, этого состояния, и только этот испуг, прижавший его с новой силой к этим шпалам, заставил его заново ощутить своё маленькое тело, с головы до ног, и только теперь мальчик догадался, что этим взглядом ему казался свет тепловозной фары, наплывающий по соседнему пути до станционного здания, где тепловоз остановился и свет погас.

Но тогда между двух рельс ему казалось, что этот взгляд нависает над ним как коршун, и вот-вот вцепится в него когтями, как он сам вцепился в эту каменистую землю, и вонзится в него, чтобы соединиться с его собственным, и вдруг всё в глазах резко потемнело, так что он невольно вытаращил глаза и ничего кроме чёрных камней, лежащих под щеками, не увидел. И опять всё лицо его горело от острых вмятин, может быть и порезов, и он еле-еле, как подымаются старики, встал на четвереньки, сел и медленно разогнулся.

Голос Таджи раздавался у станционного здания, и он как всегда сам говорил и сам смеялся. Мальчик выругался вслух, и не почувствовав никакого стыда, тяжело побрёл вниз к водопроводному крану, чтобы умыться и опять напиться до тошнотворности этой воды, булькающей в животе, так что и ходить стало трудно. Он прошёл на базарчик под навес и сел за свою торговую скамейку перед прилавком, где он ставил сават с лепёшками. От одного воспоминания о лепёшках потекли обильные слюни, и вода в животе закипела, так что мальчик почти бессознательно пошёл вдоль пустых торговых рядов, сам не зная зачем, ведь никто на ночь ничего не оставлял, если не считать кирпичей на месте пирожочницы Банат, которая ставила свой тазик у самого начала навеса на кирпичи, чтобы пирожки подольше не остывали, и на этих кирпичях с самого верха лежал пирожок, наполовину откушенный. Мальчик схватил этот кусочек

и, оторвав надкусанную сторону, стал жевать хрустящее сверху, толстое тесто, но малюсенькая мякоть изнутри оказалась тестом настоящим, не пропечённым, и ему стало от этого стыдно за своё скотство, и этот стыд от своей беспомощности и нестерпимости был так велик, что лез изо всех пор, всё больше и больше раздражая его, и тогда он схватил самый верхний кирпич и со всего размаху врезал им по остальным, а потом ещё раз, ещё раз, пока не раскрошил эти кирпичи, но и это только раздражило его, ему хотелось разнести весь базар, или сделать что-нибудь такое... такое... От полноты в животе ему вдруг захотелось залезть на этот прилавок, где он ставил сават с лепёшками, и наложить там огромную кучу, такую, как этот сават, и утром, когда придёт Озода за своими двумя лепёшками, то пусть заполучит две огромные кучи, и он пошёл к прилавку, но невероятно-тошнотворное чувство от представленного не дало ему забраться на прилавок, и его стало рвать. Из него полилась толчками вода, выплеснувшая непрожёванный пирожок, и эта вода потекла по прилавку, становясь у своего истока всё горше и горше, и мальчик припал к прилавку, обессиленный и заплакавший от своего бессилия, то и дело вздрагивая и зовя умершую маму...

А потом какая-то сила повела его нехоженым путём туда, где никто не сумеет его найти, и он шёл по крышам будок, магазинов, фотоателье, мастерских, пока не дошёл до чайханы, и не найдя пути дальше, обессиленный, забрался под её односкатный навес и свалился на это сено, где он теперь и лежал, вспоминая ту ночь...

## Глава 12

Мать рассказывала Махмуду-ходже, что он родился в год Собаки, когда во всём Андижане поспел урюк. В тот же самый день в соседнем дворе у Сулеймана-баззоза родился сын Абдулхамид, который впоследствии стал поэтом, за что и был расстрелян. Так вот, Махмуд-ходжа и Абдулхамид росли вместе, мальчишками пережили андижанское восстание и землетрясение, когда их обоих заперли на время смуты в каменный склад Сулеймана-баззоза, из щелей которого свиста и хлопая крыльями, вылетали испуганные летучие мыши. Потом их отдали учиться в первую андижанскую русско-туземную школу, где преподавали сплошь татары, мелкие люди с мелким говорком. А отдали их в эту школу по настоянию дяди Махмуд-ходжи - Ходжи Махмуд-ходжи старшего, который пропутешествовал множество стран и земель - в сторону Мекки и в обратную - в сторону Гога и Магога, и будучи купцом недюжинным, замечая даже во время хаджа, что молельные коврики здесь дороже, а финики - дешевле ровно настолько, насколько мех в России дешевле бухарских сюзане в Бугарии, именно он настоял в Андижане на своем слове "джадидия", завезенном им бог весть, с какой ярмарки.

Поскольку торговые, да и религиозные дела (шутка сказать - ежегодные хаджи в Мекку с молельными ковриками да за финиками) у Махмуд-ходжи старшего шли куда успешнее чем у Сулеймана-баззоза, который из непригодности к большой коммерции и вовсе записал стихи, то судьбу Абдулхамида с Махмуд-ходжей младшим решал преуспевающий дядя, а решил он разом: дети должны учиться языкам и учиться по-новому!

Махмуд-ходжа старший жил между Андижаном и Ошем, дабы принадлежать только самому себе. Его чудачества по поводу открытия им новометодных школ и в том, и в этом городе под началом татар, скупаемых партиями в Казани, Оренбурге и Бахчисарае, не замечались отъявленными староверами лишь по той простой причине, что во всём Туркестане не было мусульманина, который столькожды совершил полный хадж и в Мекку и в Медину.

И вот каждый "кичкина хайит"<sup>39</sup>, когда правоверные Андижана совершали "четвертной хадж", поклоняясь священной Сулейман-горе Оша, когда Сулейман-баззоз в полной мере осознавал значительность своего имени, а потому с ночи перед праздником приказывал запрягать лошадей в фаэтон, да, да в настоящий фаэтон, купленный им по списанию за двадцать бутылок кишмишёвки у местного верховоды-полковника в селе Солдатском, где квартировался русский оккупационный полк, когда с утра мальчишки двух семей садились позади своих важных и раздавленных отцов, и фаэтон задавал безумно быстрый ход - на середине дороги между Андижаном и Ошем, обогнав попутно все ползуче-скрипучие арбы, их фаэтон резко замедлял ход, хрипящие кони осаживались за полсотни шагов до огромного каменного дома, стоящего в одиночку у обочины, все спешили, пережидали не отстающую пыль, и медленным шагом шли к этому дому. В редкие разы, когда Ходжи Махмуд-ходжа оказывался у себя, он заходили поклониться и выпить пиалку чая, и тогда он проверял детей на языки, но чаще хозяина не было дома и тогда мужская процессия отвешивала поклоны самому дому, кони под узду неспешно проводились следом, и лишь удалившись на те же полсотни шагов, мужчины с детьми опять взбирались на фаэтон и опять задавали скачку до самой Сулейман-горы. Остальным арбам Махмуд-ходжа старший провёл дорогу в версте от своего дома, там они пылили и скрипели.

В 1905 году у Белого царя случилась революция, и Махмуд-ходжа старший застрял с товаром где-то в дороге между Петербургом и Москвой, а потом и вовсе некий бухарский еврей, приехавший оттуда же пустил по Бухаре слух, что какие-то железнодорожные революционные солдаты конфисковали все товары и расстреляли купца, считая, что беспредел уже начался. Как бы то ни было, смута поползла дальше, не оплачиваемые татары стали разбегаться кто куда: кто в

<sup>39</sup> "малый мусульманский праздник"



революционеры, кто в газетчики, а кто в шейхи, и тогда недолго мудрствуя, подросших детей отправили учиться туда, где учились отцы и деды - в кокандское медресе. Но и медресе уже были не теми, что во времена отцов и дедов, занятые наполовину муллами-татарами, отринутыми из новометодных школ, наполовину пришлыми турками, они сами сеяли смуту в юные души. Словом, вскоре Абдулхамид сбежал в Ташкент, чтобы стать национальным поэтом и делать революцию дальше. Правда, разгневанный отец вскоре простил сыну в первой части, поскольку свой гнев изливал не иначе как в тех же самых стихах, а чуть погодя и во второй, резонно решив, что ничему лучшему или большему у этих мулл сын всё равно не научится.

У Махмуд-ходжи же младшего отец вскоре умер, не пережив потери пропавшего брата, и юноша, оставленный из-за этой проклятой революции дядей, другом и отцом, бросил учиться и начал купечествовать. После его первого купеческого похода в Ходжент, умерла и мать, и тогда Махмуд-ходжа младший, выждав год поминок, следом повыдавал всех своих сестёр замуж, и как единственный наследник по мужской линии продал опустелый дом, купил у киргизов Эски-Мооката отару овец и с одним из своих зятьёв по имени Алихон-тура, погнал эту отару горами в сторону Мерке и Пишпека.

Было лето, но высоко в горах их застал снегопад, побивший половину отары, то что вместилось в их мужские животы, они, поджарив на огне, съели там же в горах, остальное мясо оставили местному киргизу по имени Майкэ, который расправился в три дня с несметным мясом, но не найдя горного луку, дабы заесть его сверху, на четвёртый день припустился за ними вслед, раздувшийся, но розовощёкий. Майкэ догнал сартов в верховьях реки Нарын, чью ледяную воду он пил после съеденного сразу же по прибытии мешка асакинского лука. А пил он воду почти до усыхания горного потока, такие тогда были люди.

Потом он повёл их сокровенными ущельями и лощинами по южной стороне хребтов, где буйствовала трава и жирнели на ходу овцы. Вскоре овцы и вовсе разрожалась, почуяв таласское плодородие, и когда к концу лета они вышли Иссык-кулем к благословенному Баласагуну, отара за вычетом того, что съедал ненасытно-плодородный Майкэ, была почти той же, что и к выходу из Андижана.

Продав её половину местным дунганам, они купили здесь два подворья в их же махалле, где вскоре Махмуд-ходжа младший женился на загостившей у родственников Алихон-туры красавице Замире-бону из богосвященного Сайрама.

Всё бы шло хорошо, да вскоре из-за каких-то новых революционных событий у Ярим-пошшо - "Полуцаря" или Туркестанского генерал-губернатора, где-то в пути между Ташкентом и Джизаком застрял с товаром Алихон-тура, и Махмуд-ходжа младший, учуявший начало нового круга несчастий, поспешил совершить искупительный обряд - паломничество в Мекку и Медину. Распродав четверть расплодившейся отары дунганам за китайское золото, оставив другую четверть семье на прокормление, он взял с собой в путь неверующего Майкэ и погнал половину отары отрогами Тянь-Шаня и Памира в сторону Хорасана. За горный переход Майкэ съел половину оставшейся половины отары, но по выходу на священную реку Фират, отара чудесным образом удвоилась. В ее верховьях Майкэ пил воду как из Нарына, тем временем как отара переправлялась по мелководью на другой берег.

На Аравийском полуострове их засыпало песком, но Майке теперь мог съесть лишь половину того, что съедал раньше - не было ни капли воды, не говоря уже о луке, и тогда съеденных баранов он запивал кровью свежежертвуемых. В пустыне Хиджаза они оставили целые дюны над падалью, но когда вышли к отрогам близким к священной горе Арафат, Майкэ наотрез отказался идти дальше и остался множить отару, тогда как Махмуд-ходжа ушёл с попутчиками на поклонения.

Пока он поклонялся, в далёком Баласагуне у него родилась дочь, зачатая в день выхода в хадж,

а потому её без разрешения отца называли Хаджиёй. Об этом ему сообщил Майкэ, которому в дни молений Махмуда-ходжи, когда тот бросал камни в шайтана, наводнившего мир смутой и революцией, было видение. Это же видение повелело простодушному Майкэ распродать баранов на жертвоприношения, а поскольку за набранное золото никакой пищи кроме проданных баранов, да их освежёванного мяса купить было нельзя, то Майкэ в замешательстве сидел на мешке золота, голодая вот уже восьмой день.

Просидел он в задумчивости и ту ночь, когда вернулся к человеческой жизни Махмуд-ходжа с попутчиками, но задумчивость его была светла. К утру, когда проснулся первый из путников, Майкэ вдруг запел. Он пел обо всём, что видел вокруг, и всё, что он видел вокруг становилось песней: маки на склонах горы, кудрявые облака в сине-пепельном небе, курчавые, распроданные овцы на выжженно-пепельных косогорах, закат в пустыне и звёзды на небосклоне. Он пел о человеческой судьбе в руках Провидения и долгой дороге в песках. Странно-чудесными были эти песни, устрашающе-грозные картины огня и включенных гор вдруг разрешались в них сочащимися пальмами и реками, стекающими к их подножию.

Ему ничего не стоило сложить многие сотни строк о всаднике, проскакавшем мимо или о свистящем в иракской степи хомячке, но больше всего он вдохновился от гор Анатолии и от коней Ахал-Теке, о которых сложил целые поэмы, и они впоследствии вошли целиком и без изменений, разве что под чужим именем в киргизский "Манас".

Самое странное, что теперь их не засыпал ни песок в пустыне, ни снег в горах, ни пыль в степи. Поскольку Майкэ всё время дороги и привалов играл на кобузе, исполненном туркменами Хорасана из мазендаранской шелковицы, то он перестал почти пить и есть. Иссохшие реки после их переходов вброд, расходились в половодье от напеваемых им дождей, горы вставали им вслед каменной стеной без единой щербинки, скрывая свои пройденные ущелья.

В Хироте перед усыпальницей великого визиря и поэта Мир-Алишира необразованный Майкэ вдруг заговорил персидскими газелями, и прислужник этой усыпальницы персиянин Джебраль, поражённый диким великолепием этой поэзии, пригласил их погостить к себе, несмотря на то, что сам был шиитом.

За богословскими прениями выяснилось, что оказывается Джебраль бежал прошлым годом от иранской революции сюда в Хорасан, впрочем, как и Махмуд-ходжа от русской. И тогда Майкэ пропел им песню о соколе-праведнике и змее-смутьянке. Прослезившийся Джебраль оставил их еще на семь дней и подарил ашугу маленькую отару кандахарских тонкошёрстных коз. Все эти семь дней они ели, молились и рассуждали о некоей заветной земле, где нет смут, и где все люди - как Майкэ. На восьмой день, в минуту прощания, неуч Майкэ пропел прощальную элегию потухшему пепелищу на арабском, которую тут же записал памятливым персиянин, но почему-то впоследствии эту элегию прозвали "Муаллакой" и приписали по ошибке Имру-уль-Кайсу.

Но да бог с ними. Ведь в дороге Майкэ опять запел по-киргизски - отара коз так лучше паслась и плодилась, и когда, минуя Мазари-Шариф, они приближались уже к верховьям Вахша, у самой горы Марги Мор их догнал Джебраль Симави, распродавший, как оказалось, за эти дни всю свою недвижимость, дабы как счастливый Махмуд-ходжа, увидеть ту заветную землю, где рождаются люди, подобные несравненному Майкэ.

Вместе они миновали Гиссар и Зерафшан, Джиззак и Ходжент, и когда уже подходили кругом к Ташкенту, в казахской степи близ реки Гилас вдруг вышли на бесконечную лестницу с железными поручнями, положенную на землю от края и до края. Пока ошарашенный Майкэ осёкся на пении и удручённо взирал себе под ноги, вдалеке раздался тонкий свист, - так хомячок свистел в песках Хиджаза, этот свист всё больше и больше утолщался, и вдруг обрёл

огнедышащие черты, нагнетая неописуемый ужас на Майкэ. Козы блеяли как недорезанные и метались по круглой степи, кони спотыкались среди овец, хрипящие Махмуд-ходжа и Джебраль судорожно молились на Каабу хором. И тогда мимо них пронеслось с диким свистом и грохотом змееподобное чудище, набитое изнутри и доверху кафирами, что-то кричавшими и махавшими руками... "Светопреставление!" - думали и суннит Махмуд и шиит Джебраль.

И лишь этот задрожавший как шаман Майкэ вдруг запел на каком-то каркающем и оборванном языке. Два часа не смолкая, он пел эту хриплую песню, которой не было названия. Страшные картины то и дело перемежающиеся как рефреном словом Гилас, где река вдруг застыла от ужаса последнего дня, где вода превратилась прямо на глазах в железо, а ил, поросший камышом - в деревянные поперечины, меняли одна другую. В судорожных видениях Майкэ вставали то слепые старики, то зарезанные мальчики, они толпились на берегу это железной реки, через которую уже нельзя было переправиться. Сама огненная река превратилась в этих огнедышащих словах в мост Сират и по ней шли не люди, но пожирающее людей чудовище. Но потом голос Майкэ вдруг взмыл в некие надпыльные высоты, где зависло заслушавшееся степное солнце и вдруг растаял синим дымом. Козы успокоились, присмирели кони, Махмуд-ходжа и Джебраль встали из-за молитвы. И тогда Майкэ пропел свою последнюю песнь о Гиласе, как о счастливой и едва ли достижимой мечте, и кровавые слюни брызгали из его опаленно-почерневшего рта. На исходе второго часа этого страшного хрипа Майкэ бездыханно упал вместе с закатом солнца.

Утром следующего дня Махмуд и Джебраль похоронили его как правоверного, омыв его в мутных водах Гиласа и зашив в дорожную чалму хаджи. А похоронили они его оплаканного у одинокого кургана неподалёку от казахского Каплан-бека. Тогда-то и поселился Джебраль Симави в ближайшей осёдлой местности - там, где они вышли на железную лестницу, распростёртую по земле, и эта местность называлась, оказывается как и река - Гиласом, и поселился Джебраль в этом предречённом Гиласе, чтобы присматривать по привычке за безвестной могилой безвестного Майкэ. Туда же вскоре перебрался и Махмуд-ходжа со всей своей семьёй, чтобы благодать, принесённая в мир Майкэ, росла и множилась. Но по железной дороге, положенной по земле уже шла новая революция.

## Глава 13

Зажил Обид-кори свою жизнь с драгоценной и единственной Ойимчой, но покоя не знал изнутри. Грызла его мысль, что купил он-таки Ойимчу - эту родовитую потомницу Пророка, мучило его сознание того, что для всей её многочисленной родни он так и остался пусть образованным, пусть набожным, пусть... хоть каким, но киргизом! Вон и в последний раз, когда пошёл в горах первый снег, когда упали первые хлопья и на Моокат, один из двоюродных братьев Ойимчи вложил ему за пояс - по сартовскому обычаю "кор хат" - весть о снеге - согласно которому Обид-кори теперь должен был готовить громадное угощение и принимать всю родню. И Слава Аллаху! - принял бы гостей не хуже других. Но глянь, что написал этот ловкий турчонок:

Корхат тушса киссасига хар инсоннинг,  
хар инсоннинг бизда бурчи - зиёфатдур.  
Инонурмиз, сиз хам, Кори, рози буллуб,  
зиёфатни демагайсиз - бу офатдур.<sup>40</sup>

Ишь ты! Дескать, обычай их таков! И ты, дескать, пусть и киргиз, но должен согласиться с ним!

Всеведущ лишь Аллах! Знай Обид-кори, что точно такие же письма этот ловкий Балихон-тура позасовывал за пояса - во время полудневной молитвы - всей родне, тогда возможно не мучился бы так, но ведь говорят, что ножу - всякий камень точило. Вот и мучил себя Обид-кори, ища везде доказательства тому, что он не узбек.

Он и детей стал учить поначалу только из узбекских семей, из тех, что присылали своих дочерей на обучение Ойимче. Прямые и бесхитростные киргизы, спускаясь с гор на каждый воскресный базар и кланяясь Обиду из прежнего почитания к Мирзараимбаю, не замечали, что он их сторонится, самодовольные же сарты, полные самими собой и своими осёдлыми заботами, не удосуживались видеть, как он к ним стремится...

Так то большей частью сидел Обид-кори дома, погруженный в свои размышления или же в обучение узбекских детишек Корану, арабскому и персидскому языкам, стихам и уму-разуму. Помимо тех, кого сватала ему родовитая Ойимча, училась у него в основном беднота да сироты, что множились из года в год. Шла война и отцов забирали на тыловые работы.

А там, на исходе одной из зим началась смута по названию "революция" у Белого Царя. Правда, весть о ней пришла в Моокат к лету, когда из Скобелева приехал мулла в окружении трёх урусов-солдат, чтобы агитировать тёмное население к свету и созданию партий. Сарты Мооката отнеслись к этим призывам, по меньшей мере, безразлично, поскольку это не сулило им никакой прибыли в торговле лепёшками, картошкой да урюком, зато воинственные киргизы, которым урусы пообещали огнестрельное оружие, были вдохновлены так, что два воскресения не спускались с гор на базар, передавая эту весть с джайляу на джайляу, и оставляя сохнуть узбекские лепёшки да гнить сартовский урюк.

Сам Обид-кори сунул в какой-то рукав обе агитки - и от муллы и от урусов, и поначалу за занятиями с детишками забыл о них, но когда принялся совершать очередное омовение перед вечерней молитвой, обе бумажки выпали из засученного рукава халата, он отложил их в сторону, дабы не замочить, свершил всё предписанное Аллахом, и только готовясь ко сну, когда Ойимча

<sup>40</sup> Когда "снежная весть" попадает в карман человека, то обязанность всякого - готовить угощение. Мы верим, что и вы, Кори, согласитесь и не станете называть угощение - бедой.

запелёвывала в бешик их первенца Абдулхамидхана, вспомнил о забытом. При свете хилой, приглушённой лампы, уже в белом исподнем, похожий на неловкого аиста, он развернул эти бумажки, прочёл одну за другой и ту, что была написана по-персидски Хокандским обществом "Уламои Шариф" завернул в платок, а другую, отпечатанную по-урусски бросил на полку в глиняной нише, откуда она на следующее же утро пропала, изгнанная богобоязненной Ойимчой.

А прочёл Обид-кори в одной из бумажек, что улемы Туркестана решили создавать исламское государство без родоплеменных различий, в другой же - о некоем "бесклассовом обществе", где все будут равны и надолго задумался. Говорят как будто бы об одном и том же, так в чём же их различие? Ведь сколько не прочёл мудрых книг Обид-кори, речь шла в них всегда о том, как сделать людей всех разом и равно счастливыми. Но если сам Всевышний решил их создать разными, то в людских ли силах что-либо изменить? И разве не об этом ли мучительно думал всю свою сознательную жизнь сам Обид-кори, вышедший из киргизов и не пришедший к узбекам? Не об этом ли он страдал между конём и книгой на полпути от гор к долине?

Словом, как бы то ни было, поехал Обид-кори на исходе лета в Скобелев и Хоканд, увидел воочию и мулл-реформаторов, и солдат-ликвидаторов, и депутатов от списка прогрессистов и прогрессистов из списка депутатов, и даже на каком-то краевом съезде поучаствовал. Сидел на этом съезде с ним рядом некий председатель крестьянско-дехканской прогрессивно-национальной партии труда и мира, божий раб, по всему виду коровы от быка не могущий отличить (он так и объяснял урусам-солдатам: "бик с пи..дом"), но всё интересовавшийся, как он говорил, "положением в низах и глубинке". Астагфурулла, астагфурулла, что же можно называть низом и глубинкой? Женское несказуемое разве?! Бога бы побоялся, говорить такое на людях!

А потом этот божий раб и вовсе достал из штанов какую-то богопротивную бумажонку - такими кафиры подтираются после нужды, - и протянул её Обиду-кори: "Вот, мол, ночь не спал, документ подготовил, хочу, дескать, с вами посоветоваться. Вы - человек, видится, образованный и знающий жизнь, должны, мол, по достоинству оценить и по необходимости одобрить. Это, говорит, список правительства, который я подготовил этой ночью".

Ё Олло! Ярим-пошшо ещё, говорят, вещи в Ташкенте не успел упаковать, а этот уже... "Вот, говорит, муфтий Аль-Мисакиддин Сарымсак-оглу - он будет главой правительства.

- Простите, а сколько ему лет?

- 87. А что?

- Да-а, зрелый человек...

- Что вы, что вы, и не думайте! С ног до головы - полон ума! А потом, говорит, на что же мы? Поможем, говорит. Вот, министр по делам коренного населения, он как раз выступает на трибуне...

- Этот урус что ли, прости меня бог?!

- Какой же это урус, бог с вами, - говорит, - он просто учился в Петербурге...

- К нему надо прикрепить хорошего переводчика, дабы его понимали местные!

- Да? Вы думаете? Вы находите? - опешил этот горемыка-партиец и, забирая свой список, поставил огромный вопросительный знак напротив имени министра коренных дел.

- Ну вот, министр по делам дехкан и вакфов - ваш покорный слуга.

- Простите, мне кажется в вашем списке нет министра по делам табибов и докторов, не так ли? - вмешался в разговор сосед из заднего ряда.

- Нет, был, я помню... - пытался найти в документе пропущенное председатель дехкан и крестьян. - А что? - отчаялся он отыскать.

- Да нет, просто у меня дядя - табиб. Лечит всех взглядом... Хотел предложить...

- Он член партии?

Пока задний сосед думал, как бы объяснить этот существенный недостаток, председатель

партии наклонился к Обид-кори:

- Слушайте, а вы не хотели бы быть назначенным нашим уполномоченным по Ушскому уезду? Или нет, лучше министром просвещения и медресе? У меня как раз это место вакантно...

О Аллах! О Аллах! Каких шайтанов Ты ставишь на нашем пути! - думал Обид-кори, сбегая в перерыве с этого краевого съезда. Дай же Сам силу избежать этих шёпотов Шайтана и бесовских подвохов! Не оставь же нас перед ними одних!

По приезде в Моокат Обид-кори впервые в жизни заболел. Но Ойимча выходила его мёдом и травами, и вскоре он опять зажил размеренной привычной жизнью, готовясь ко входу в очередную зиму своего немалого возраста.

Но к осени повсюду по Моокату объявились листовки на всех языках края с призывом избрать на чрезвычайный краевой мусульманский съезд своих лучших людей, в том числе и персонально Обида-кори Мирзараим-бий оглы, как просвещённую интернациональную спайку двух братских народов, населяющих волость, дабы строить новое государство Ислама!

Обид-кори не знал - радоваться или же горевать, но как бы то ни было, листовкопослушные сарты избрали своих делегатов, киргизы - своих, и Кори остался помимо тех и тех, и когда через неделю обе делегации поехали мимо его ворот - половина на арбах, половина на конях, Обид-кори возблагодарил Аллаха за неискущённую гордыню и засел за богословские письма Имама Раббани.

Однако на позаследующий вечер, когда, отпустив детей по домам и свершив свою закатную молитву, Кори засел за очередной том писем богослова, по железному кольцу внешних ворот кто-то застучал кованой рукояткой камчи.

- Хой Обид-кори, Обид-кори! Есть кто дома живой?

Так могли ломиться лишь невоспитанные и безродные служивые Скобелева или Горчакова, а потому на сердце Кори тревожно защемило. Он вышел и приотворил ворота. Не спешиваясь, с коня на него глядел человек без племени и рода, в солдатской ушанке. "Вот тебе и "без родовых и племенных различий" - подумал почему-то Обид-кори, но всё же первым делом поздоровался.

Не отвечая на его приветствие, конный спросил:

- Абид-карыман дынг?<sup>41</sup>

- Да, милостью божей, - ответил он покорно. - Чем могу служить? Впрочем, пожалуйста к нам во двор...

- Вахтым жок! Ушка барай. Сиза повуска дынг. Манг! Унав минан ойнашманг!<sup>42</sup>

Лишь только взял в руки Обид-кори этот сложенный вчетверо листок, опечатанный сургучом, как гонец взнуздal своего коня и, не прощаясь, запыхавшись, выехал вечерней дорогой по своим служилым делам.

Дрожащими руками, с непонятным чувством, испытываемым впервые, Обид-кори развернул при свете лампы этот листок, отослав к заплакавшему ребёнку встревоженную Ойимчу, и, просыпая сургуч на белоснежные колени, прочёл, что ему, как делегату от персонального списка, надлежит немедленно явиться в Хокандскую Соборную мечеть! Бумага была подписана непонятным словом: "Член Оргкома", и что представлял из себя этот член Оргкома, Обид-кори так и не понял, но от сердца всё же немного отлегло.

Правда, всю ночь после этого Обиду-кори не спалось - то ли оттого, что всю ночь малыш почти беспрестанно хныкал и ныл, то ли малыш эту ночь хныкал и ныл оттого, что Обид-кори проворочался всю ночь с боку на бок и тяжело в промежутках вздыхал. А под утро, в каком-то тяжелом полубреду он увидел сон, испугавшись которого проснулся окончательно. А сон был о том, что на землю вдруг стала падать полная и круглая луна и вот она уже стукнулась где-то о

---

<sup>41</sup> - Так говорите, вы Обид-кори?!

<sup>42</sup> - Нет времени. Надо в Уш. Вот вам повестка. Держите! С этим не шутите!

землю как шар, и земля задрожала, а перепуганный Обид-кори пал ничком, творя молитву, и следом вдруг увидел впереди эту ослепительную луну, лежащую где-то за горизонтом на земле, и вперемешку с испугом он стал соображать - куда же могла упасть луна - куда её решили опустить - в казахские ли степи или туркменские пески? Огромный накатывающийся шар света и разбудил его - и впрямь - надкусанная луна смотрела сквозь решётку окна, и Обид-кори, каясь в непознанных грехах, поторопился омыться и свершить свою предрасветную молитву, прося Аллаха истолковать этот сон во благо...

Вместе с солнцем он оседлал коня, и, оставив Ойимче денег на несколько дней, завёз к ним одного из своих учеников - подростка по имени Шобута, дабы тот помогал по хозяйству и присматривал за домом. И только затем, вслед вставшему солнцу он двинулся в дальний далёкий Хоканд.

С закатом солнца он въехал в Хоканд и тут же направил замыленного коня в ту самую мечеть, при которой в свое время отец купил ему сорок худжр. Суфий той мечети, узнав своего бывшего хозяина, припал к его стремени, но Обид-кори попросил его заняться конём, а сам, спешившись, направился широкими шагами к пристройке имама - теперешнего настоятеля, обученного некогда грамоте им самим.

За пиалкой чая взволнованный ученик рассказал ему о последних событиях в городе, о том, что все взбудоражены предстоящим - шутка сказать - кончается власть урусов - пора брать её в свои руки, восстановить государство Ислама... На этом Обид-кори благословил дастархан и, попрощавшись до вечера с имамом, направился пешком в городскую соборную мечеть.

Народу там было видимо-невидимо. Все сновали с непокрытыми головами, как муравьи в муравейнике, неся какие-то листочки, спотыкаясь друг о друга. Наконец, потолкавшись в этой куче, Обид-кори нашёл одного образованного, которому и показал свою повестку. Прочтя её, тот неожиданно затрясся мелким бесом, припал к рукам Обида-кори, и, как драгоценную ношу, повёл его среди толпы, расшугивая её по сторонам, галереями и к какой-то пристройке, всё приговаривая всуе: "Оллога шукур! Оллога шукур!"<sup>43</sup>

Пройдя несколько слоёв охраны, они после некоторого ожидания вошли в зал - проводник не отпускал его локтя, всё крепче и крепче прижимаясь к нему по мере приближения, и, наконец, они увидели наряду с несколькими выдающимися улемами, у которых Обид-кори учился в Хоканде и Бухаре, того самого председателя крестьянско-дехканской национально-прогрессивной партии труда и мира, облачённого в чапан и чалму как видно с чужого плеча.

Обид-кори несколько растерялся от этого чудовищного соседства, но его проводник отслужил на славу: он не только пересказал наизусть всё содержание повестки, но и доложил, что вот имел честь сопроводить Хазрата Мулло Обид-кори Мирзараим-бий оглу самолично, в чём нижайше уведомляет высокопочтенное собрание и прочее и прочее.

Его поблагодарили, и он, пятясь и откланиваясь, вышел в дверь, тем временем как этот самый... председатель дехкан оказался уже на его месте, схватив и тряся руку растерянному Обиду как своему ближайшему сотоварищу. Затем тут же обернувшись к нему спиной, он стал представлять Обида-кори улемам и гражданским, но в это время из своего кресла встал почтенный и достойнейший муфтий Махмуд-ходжа из Самарканда и, подойдя к Обиду-кори, трижды обнял его, и тихо произнёс:

- Мы все его знаем...

После приветствий и искренних объятий с учителями, после того, как он встретился глазами со всеми остальными поодиночке, расспрашивая односложно о жите-бытье, один из гражданских в

---

<sup>43</sup> "Слава Аллаху! Слава Аллаху!"

кителе - но в маленькой чалме, в пенсне - но с чётками в руках, молодой - но дородный, похожий на казаха - но заговоривший без акцента по-узбекски, тот, к которому обращались как к "доктору Мустафе" - но к кому Обид-кори вдруг испытал приязнь как к младшему - но более умному брату, так вот этот молодой доктор Мустафа вкратце рассказал, видимо только для него, то в трудной истории Туркестана сейчас очень важное время, что урусы, которые правили краем до сих пор, настолько погрязли в своих склоках, что этой зимой может грянуть голод, что правители уже ничего не решают и народ должен брать власть в свои руки, дабы самому управлять своей собственной жизнью. Завтра на мусульманском съезде решено провозгласить Туркестанскую республику, что вот они документы съезда для ознакомления, и если уважаемый кори найдет что-либо неуместным, пусть скажет, как сделать лучше.

Обид-кори обвёл глазами сидящих, как бы немо прося прощения за уже допущенную нескромность, он не тот, за кого его по ошибке принимает этот молодой доктор, но к его удивлению, все напутственно кивали головами, а этот председатель дехкан-прогрессистов, этот ученик Иблиса и вовсе потряс кулаком у плеча. Что это означает - шайтан его знает?! И лишь после того, как Махмуд-ходжа сказал, улыбаясь:

- Мулла Обид, вы ведь помните, как в молодости в Бухаре мы собирались на халфану<sup>44</sup> - каждый приносит то, что может: кто - мякоть мяса, кто - кость, а кто - пучок лука. Вот и вы посмотрите, не пропустили ли что...

Обид-кори со странным чувством раскрыл бумаги, и жизнь вокруг него завертелась как и до него: кто-то входил, кто-то уносил кипы бумаги, кто-то распоряжался, кто-то брал штуку, похожую на маленькое коромысло с ведрами, когда звенел под ним звонок, и прикладывал эту штуку к уху и ко рту, разговаривая сам с собой. Но никто ничему не удивлялся.

Читал Кори все эти правильные слова, от которых то перехватывало горло, то учащённо билось сердце и смутно понимал, что с ним происходит - где он, где Ойимча, где его книги и двор, дурной или же на славу этот сон - в кругу улемов, о коих он часто вспоминал - и рядом с этим шайтаном, которого он правомерно остерегался...

Сон, конечно же сон, ведь всем телом чувствовал Обид-кори время вечерней молитвы - это натяжение, выпрямляющее и без того прямую спину, но никто в этой мечети и не думал прерывать своих занятий. Сон, конечно же дурной сон! И тогда, пересиливая самого себя, он подошёл к Хазрату Офоку-ходже из Гиждувана и, наклонившись к полудремлемлющему белоснежному старцу, прошептал:

- Учитель, где здесь молятся?

Старец встрепенулся посреди своих мыслей, упрятанных в слепоту и воскликнул:

- А что, уже время хуфтона?<sup>45</sup> Но почему муэдзин не поёт азана? Я совсем запутался во времени...

Вскоре нашли и привели имама, который тоже бегал весь в бумагах и заботах, и отчитали его за беспечность, на что он попытался было оправдаться хадисом о праведности служебных забот во имя мусульман, на что ему в противовес привели столько стихов из Корана, что через мгновение он сам уже кричал на минарете призыв к молитве...

Ночь почти не спали, с утра и до полудня прибывали запоздавшие делегаты с дальних гор и джяйляу, и после полудневной общей молитвы съезд начался. Обид-кори, тщательно избегавший соседства с прогрессивным предводителем дехкан труда и мира, оказался на этот раз по соседству с австрийским евреем Герцфельдом - другом покойного Мирзараим-бия (Аллах да простит его душу!), тем самым Герцфельдом, что стоял у начала его женитьбы на Ойимче, а потому первым

<sup>44</sup> ритуальное коллективное приготовление пищи

<sup>45</sup> вечерняя молитва мусульман



делом спросившего о ней - этой родовитой потомнице Пророка! Собственно не Обид-кори подсел к нему, а сам Герцфельд заметил чем-то обеспокоенного Обида и усадил его рядом с собой, приговаривая при этом словами великого Саади:

Тарсам нораси ба Каъба, эй араби,  
Каён рохки ту мирави - ба Туркистон аст...<sup>46</sup>

- Сегодня, впрочем, все дороги ведут к Туркестану,- добавил он, широко улыбаясь, на что Обид-кори молча кивнул головой. Начался съезд. Образованный, но простодушный Обид-кори так бы и ничего не понял ни в "классовой борьбе", ни в "борьбе фракций и течений", понимая всё так, как говорили с трибуны сначала этот милый его сердцу полукипчак, а потом улемы и муллы, солдаты и армяне, банкиры и юристы, если бы не сидевший рядом Герцфельд. Велик Аллах - каждую речь этот австриец видел и "зохиран" и "гайбан"<sup>47</sup>, разъясняя Обиду скрытые намерения и стремления выступающих и тех, кого они представляют, от чего бритая Обидова голова под чалмой начинала морщиться, а однажды, после того как выступил, маша культёй, солдат, Герцфельд не вытерпел и взял слово сам, и на сартовском наречии, лучше чем сами сарты, говорил так горячо, что после его слов растерянные мусульмане, должны в ином случае воскликнуть в одобрение "Оллоху акбар!" - "Велик Аллах!", захлопали как женщины в ладоши и прогнали со съезда этого культяпого человека с ружьём...

Всю прежнюю жизнь Обид-кори верил, что слова даны Всевышним, дабы славить Его и что-то открывать людям, но после разъяснений и истолкований Герцфельда получалось обратное: слова существуют дабы что-то скрывать...

---

<sup>46</sup> Боюсь, не достигнешь Каабы, эй араб,  
Дорога, которой ты идёшь ведёт на Туркестан.

<sup>47</sup> и явный, и скрытый смысл

## Глава 14

Помните, я рассказывал вам о рояле "Рлниш-1911", превращенном бригадой осетин в "Рлниш-1911 - Хацунай-196..." Так вот, этот рояль принадлежал в своё время гиласскому немцу по фамилии Рэйтэр, завезенному сюда из Поволжья и выселенному отсюда по пьянке Самий-раисом, когда по разнарядке вышкама партии понадобились интернационалисты в Испанию. А выслал его Самий, поскольку не знал национальности Рэйтэра, не Митька же винодела или Изю-портного выдавать за интернационалистов, когда известно, что один из них - русский, а другой - еврей!

После войны образованные гиласцы, читая газеты, в которых иногда говорилось о буржуазном агентстве Рейтер, понимали, что немец их крупно предал, но мало кто помнил, что здесь, на улице Папанина осталась его жена, старушка-немка, о жизни которой никто ничего не знал; старушка, в годы той самой войны отправившая куда-то свою годовалую дочь Эльзу. Ту самую Эльзу, что так любила колотить кулачками по клавишам инструмента, на котором много лет спустя Закия-ногайка отстукивала негнуцимся пальцами нехитрые татарские мелодии своей образованной юности...

... И вот когда та самая Эльза пела в Руане "Цыганского барона", ей позвонили из Штрасбурга и сказали, что отец её умер...

Тем временем, как они с режиссёром решали - останавливать ли спектакль, или продолжать, раздался второй звонок и всё тот же голос её сводной сестры сказал, что мать получила инфаркт, и её увезли в реанимацию. Естественно, никакой речи теперь о спектакле быть не могло, и сам режиссёр, стыдясь своих прошлых заигрываний, привез её на вокзал, и первым же поездом Эльза выехала в Штрасбург.

Отец был смертельно болен давно: три последних месяца его кормили с ложки, и когда Эльза видела его в начале последнего паралича, она ужаснулась ребрам, которые казалось вот-вот прободают тоненькую ссохшуюся кожу его груди, тогда-то отец признался ей во всем. В тот день Эльза узнала, что мать её - это не мать, а мачеха, и что настоящая мать живет где-то в Центральной Азии, на забытой богом станции по названию Гилас, на улице со странным названием "Papaninn", тогда-то отец и попросил её во что бы то ни стало вызвать мать, прежде чем он умрет непрощённым...

Именно тогда, думая, что отец едва ли протянет неделю, Эльза написала во все посольства тревожно, как только могла, но мать всё не ехала и не ехала - дескать, в стране Советов ей оформляют документы, как объяснили ей на Quay d'Orsay. И впрямь в это время паспортистка Гиласа Оппок-ойим, пережившая столько расставаний со своим мужем Муллоу Ульмасом-куккузом, изо всех сил старалась помочь своей погодке Зигрид, покупая на свои деньги все вышестоящие овировские службы. Но даже денежный напор сердобольной Оппок-ойим, порастратившей на этом благородном деле половину того, что она заработала за последний обмен паспортов, не мог ускорить накатанный процесс оформления в капстраны менее чем за три месяца.

Обреченный на жизнь советской паспортной системой, Виктор Рэйтэр, мучительно держался все эти три месяца, но когда пришла телеграмма, что жена его выехала железной дорогой из Гиласа - резко сдал.

И вот теперь, сидя в пустом вагоне первого класса, Эльза не знала, успела ли приехать ее родная мать до того как умер отец? Странно, что она не спросила этого у своей сводной сестры, которую всю жизнь считала родной, еще страннее то, что та сама ничего не сказала, кроме того, что мать с инфарктом увезли в госпиталь. Какую мать? Чью мать?

Стук колёс поезда выискивал какие-то навязчивые ритмы, которые искали в её сердце

мелодии, но не находя их, казались теми голыми ребрами, пробадывающими тонкую кожу её сознания. Она закрывала глаза и уши, но теперь само сердце стучало еще обнаженной и монотонней.

Почти к утру она приехала в Штрасбург и позвонила в отцовский дом на другой окраине города. Трубку сняла сонная сестра, её сонный голос неприятно поразил Эльзу, и она даже немо расплакалась от обиды, что жизнь так низко продолжается. За плачем она не успела спросить, приедет ли Гердта за ней, как та, как бы внезапно проснувшись, выпалила:

- Эльза, держись, знаешь, твоя мать попала в госпиталь с инфарктом.
- Но ты мне уже говорила!
- Нет, я говорила тебе о своей матери, а это - твоя...
- Она приехала?
- Она в госпитале... С инфарктом...
- А твоя... Наша?..
- Я ведь тебе звонила, что она в реанимации.
- Нет, Гердта, погоди... Я ничего не понимаю... Ты что-то путаешь...
- Эльза, дорогая, приедешь, все поймешь... Ты приедешь или спектакли...
- Гердта, я уже здесь!

Слезы текли по щекам Эльзы и затекали в трубку. Почему все так?!

Шел дождь, такси ехало по мокрым и пустынным улицам каменного города, и серое, измятое лицо в зеркале такси уподоблялось дню, который начинался бессмысленно и безвозвратно...

В тот же день Рэйтэра отпевали в православной церквушке по обрядам той страны, откуда он был родом, и Эльза сама пела "Лакримозо" над своим отцом, которому местный патологоанатом аккуратно сломал два последних выпирающих до прободения кожи ребра и вшил их в отработавшую диафрагму.

Отец лежал среди цветов, чуткий и сломленный, и Эльза оттого переполняла свой голос немым рыданием, "плавая в звуке", как она осознавала, но тем искреннее драматизируя свое чистое сопрано. Похоронили отца, она вернулась со всеми домой и пока один из её сводных теперь братьев не напомнил ей, что едет в госпиталь, Эльза ходила из угла в угол, выискивая всякую мелочь, чтобы предаться ей хоть на какую-то секунду...

Ей начинало казаться, что братья и сёстры - будучи младше неё, начинают смотреть на неё как на чужую, как на ту, которой по старшинству перепадёт наследство, но она отгоняла от себя эти мысли, цепляясь за всякую мелочь, и когда Герхардт предложил ей поехать в госпиталь, она вдруг с ужасом обнаружила, что ехать туда ещё страшнее, чем невыносимо оставаться здесь.

Они приехали в госпиталь, и оказалось, что две матери лежат в одном отделении, разделённые тремя палатами и ничего не подозревая друг о дружке. Эльза как-то машинально увязалась за братом и оказалась в палате у их матери. Увидев резко сдавшую женщину, в которой всё всегда дышало здоровьем и охотой жить, она невольно расплакалась. Мать видимо сочла, что Эльза плачет по отцу и стала успокаивать свою старшую дочь: дескать, ты старшая, кому как не тебе быть стойче всех, коль скоро, как видишь, мне не удалось...

Герхардт привёз матери куриного бульона в термосе, и та с удовольствием воспользовалась их компанией, дабы выпить его до дна. Эльза кормила её с ложки, как та сама кормила последние три месяца её отца, не подозревая, что жизнь в старике задерживает не бульон, но письмо, посланное Эльзой, последствий которого столь мучительно и безысходно дожидался отец, и Эльза опять чуть не расплакалась оттого, что не пошла к своей матери...

Через полчаса, пообещав ей вернуться завтра, они вышли из палаты, и Герхардт откровенно

пошёл к выходу, к машине, а Эльза замешкалась на секунду и следом повернула в палату своей матери, которой она не знала.

На больничной кровати, одетая в чёрное и белое, сидела высокая и стройная женщина с невероятно прямой осанкой и смотрела куда-то в окно, на вечернее небо. Эльза неловко откашлялась, и женщина медленно обернулась на кашель. Нельзя сказать, что ничего не изменилось в их лицах, ничего не произошло в их душах, но как бы то ни было, женщина вежливо и холодно, на немецком языке 17 века, вывезенном и сохранённом в древней чистоте, спросила:

- Простите, чем обязана?

подавшись на этот тон, Эльза больше из любопытства, чем с чувством, справилась:

- Простите, вы фрау Рэйтер-Райник?

Та с достоинством кивнула, дескать, что же дальше?

И вправду, что же дальше? Броситься к ней на шею? Заплакать? Обнять? Кричать: Мама! Мама родная! Но странное чувство отчуждения стояло стеной больничного воздуха на этом расстоянии в 5-6 шагов, и тогда Эльза просто сказала:

- Вы моя мать...

Мать казалось знала и это. Ни один мускул не дрогнул на её бледном лице и она сказала:

- Да...

Было ли это короткое, как вздох, "Да" вопросом или же ответом на этот вопрос, но пауза после этого оказалась столь мучительной, столь катастрофической, что Эльза не нашла ничего лучшего, как подойти к ней неверными шагами и припасть к её коленям. Зачем она поступила так? Зачем она сделала это? Нет, она не чувствовала неловкости, но только лишь огромное непонимание происходящего и его непредсказуемость. И тогда мать столь же вежливо, как и отстранённо сказала:

- Моя девочка, вам нужно успокоиться...

Эльза ехала в машине по вечернему и дождливому Штрасбургу и думала: "Чем, ну чем я провинилась перед ней? Почему я должна отвечать за отца и за их отношения?! И почему я?!"

Семь последующих дней она ездила в больницу к двум своим матерям. Семь дней изо дня в день она провела в двух палатах, чтобы нелепо убеждать мачеху в том, что она ей дочь неродная и чтобы пытаться при собственной матери доказать себе, а не ей, что она ей дочь родная...

- Может быть, вы останетесь у меня в Руане навсегда?

- Нет, моя девочка, я вернусь в Гилас.

- Но ведь эта чужбина и жить там, наверное, трудно...

- Жить с богом везде одинаково.

Но главное, что Эльза уговорила свою мать пожить некоторое время в доме отца, дабы укрепить перед дальней железной дорогой. На день восьмой выписали обеих матерей: сначала Эльза забрала свою мать и привезла пустой отцовский дом, тем временем как Гердта выписывала свою мать, которая откровенно боялась лишь того, как бы первая и неразведённая жена её мужа не потребовала части наследства, а стало быть, и части дома. Нет, волнения её были напрасны, когда она вернулась в собственный дом, Эльза сообщила ей, что гостыня заняла лишь крохотную комнатку на мансарде, которую дети называли "голубятней".

Так и жили две матери, не видя друг дружку, и только Эльза, забросившая все свои дела, с какой-то заотцовской задолженностью сновала между ними, чтобы как-то примирить их хотя бы в своём сердце.

И вот на первое поминание, когда в отцовском доме собрались все сводные дети покойного Рэйтера, их мать, любившая большое общество при обильной еде, попросила Гердту пригласить к

столу и далёкую гостью - свою соперницу. Через некоторое время Эльза, занятая на кухне, краем глаз увидела, как в комнату входит её мать, статная и гордая, одетая по-привычному в чёрное и белое, как растворяются перед ней двери и расступаются братья, как даже матушка - мачеха - мать встаёт со своего насиженного места на подушечках и немо, зачарованно смотрит на происходящее... Слёзы капали в сковородку, и она шипела, не замечаемая Эльзой.

В тот вечер мать попросила Эльзу к себе и, сидя всё так же как и в первую их встречу, сказала: - Моя девочка, вызови прелата... - и совершенно неожиданно добавила по-французски: - Je vais mourir - Я умираю.

Но Эльза почему-то поняла эти слова дословно, что-то расщепилось в её сознании, где как в пустом концертном зале звучали эти зловещие слова: я иду умирать! - и вновь перед её слёзно-слепыми глазами предстала эта статно-гордая женщина вся в чёрно-белом, идущая через годы и расстояния, которые расступались перед ней как помёт, как приплод, как...

Этой ночью мать ушла за отцом.

## Глава 15

Дорожных дел мастер Белков к старости стал сторожем местного парткома партии и на все события в Гиласе имел собственную, строго партийную точку зрения. Казалось, он охранял не просто строение, в котором располагался партком - эти восемь окон, четыре стены и черепичную крышу, доставшиеся партии при экспроприации Мирзокула-бофанда - дореволюционного владельца хлопзавода, нет, дорожных дел мастер Белков охранял на старости лет само здание коммунизма.

И когда то там, то сям он видел лозунги, написанные за бутылку русской водки кривой рукой Ортика-киношника, типа: "Коммунизму быть построенным к 1980!" или "Да здравствует славный народ, славный строитель славного коммунизма!", сторож Белков смеялся беззубым ртом, зная, что это самое здание уже построено, и что он - бывший дорожных дел мастер Белков каждую третью ночь его охраняет.

- Что самое главное в коммунизме? - огорошивал он вопросом свою жену - стационарную продавщицу газ-воды - толстушку Фроську, по которой сохло все мужское население Гиласа. И сам же отвечал: "Коммунизм это течение жизни и человеческое участие!"

Иной раз Фроська пыталась спорить и однажды после городского семинара продавщиц газ-воды даже стала настаивать на том, что, дескать, коммунизм - это "Советская власть и газификация всей страны!" Но Белков оставил ее течение мысли совсем безучастным почесыванием в неприличном месте, и этого ему Фроська не простила.

Некоторое время спустя она ушла к другому газводчику станции - к дядь-Яше - еврею, приезжавшему торговать газ-водой из города. Так, в течение жизни дорожных дел мастера Белкова, вместо послушной жены, на самый худой конец отворачивавшей свой толстый зад к стенке, ворвалось полное безучастие, равное разве что пустому месту после пышных телес ушедшей Фроськи.

Тогда Белков попросил еще одну ставку охранной работы, дабы разделить свою горькую участь с родной партией. Но второй секретарь парткома Гоголушко не только обматерил его за использование партии в семейных целях, но и всадил в него втихую изрядную долю антисемитизма, набиравшего в партии силу директивы. Более того, Гоголушко раскрыл глаза на экономическую подоплеку картелизации и монополизации газводопромышленности Гиласа.

Все сложности жизни умещал дорожных дел мастер Белков в свою нехитрую фразу о течении жизни и человеческом участии, однако, потеряв свою жену, он потерял не только резоны верить себе и своей лапидарной формуле, но и стал после беседы с Гоголушкой, ярим антисемитом. Честно говоря, его ярый антисемитизм был персонально против Яшки, Юсуфу-сапожнику он приторговывал кожей с ободранных парткомовских кресел, так вот, потому это скорее был не антисемитизм, а антияшкизм. А потом, трудно подозревать ветерана кагановичских железных дорог в том, что он пойдет поперёк всей своей дорожных дел мастерской жизни.

Что же до забывчивости и занудства, как следствия этой забывчивости, то оно приобрело невероятные размеры. Во время монологов Белкова, пока он пытался уместить свои растрепанные жизнью мысли в свою забытую формулу об участии, безучастные собеседники, пришедшие вступать в партию, успевали повторить про себя не только Программу и Устав партии, но и собственную биографию, написанную, как правило, Мефодием-юрпаком - единственным интеллигентом Гиласа. Кандидаты из числа коренных за время ответа на вопрос: "Где здесь Бюро

Парткома?" или чаще. "Где здесь туалет?" успевали совершить мысленно свою самую долгую - полдневную мусульманскую молитву и, уже поддержанные Аллахом, шли спокойно на это самое Бюро - жить коммунистами.

Дело в том, что дорожных дел мастер Белков был одинаково зануден на всех языках, хотя во время последней переписи населения написал в анкете, что владеет только языком советского народа. Так, однажды во время его дежурства по зданию коммунизма, ища, где продаются металлические чайники, к нему случайно забрел отставший от своего поезда "Дружбы" вьетнамец Нгуен Дынь Хок, который к следующему утру не только довольно сносно понимал великий и могучий язык, но и полузасыпая в обнимку с подаренным служилым, но металлическим чайником на сторожевом диване, кожа которого была уже сдана Белковым Юсуфу-сапожнику, удивлялся тому сколь выразителен и нескончаем его собственный язык в бесконечных вариациях дорожных дел мастера: "Хо-Ши-Мин - Меконг - Сайгон - янки но! - Фам Вам Донг - Дьен-Бьен-Фу - Ханой - Джон-сон но! Хо-Ши-Мин - Фам-Вам-Донг - Ле Зуан - во! Сайгон - Сеул - Пак-Чжон-хи - Чан-Кай-ши - фу! Меконг - ого! Дьен Бьен Фу - а?"

Ранним утром Нгуен Дынь Хок был посажен дорожных дел мастером Белковым на поезд 7.12 и на последние коммунистические приветствия: "Хо-Ши-Мин - Фам-Вам-Донг - Ле Зуан - ура!" столь же горячо отвечал: "Ко-му-нись-ма - ти-те-ни - зис-ни - и - ти-ли-веть-ски - утя-сти!"

Увы, Белков не понял выуженную из его же собственных слов квинтэссенцию, заученную вострым вьетнамцем, увезшим к себе на родину служилый чайник Парткома. Иначе быть может его воинствующему занудству был бы положен конец, и он упокоился бы внутри своей столь ёмкой формулы. А то ведь ранним утром, когда уборщица парткома партии - гречанка тетя Лина из беглых греческих коммунистов, убирала кабинет Гоголушки, и вдруг раздавался звонок из стацкома или вышкама партии - по случайности, допущенной вышестоящей уборщицей при протирке вышестоящего телефона, и тетя Лина в испуге хватала трубку, чтобы выпалить:

- У аппарата! - согласно виденного ею фильма, дорожных дел мастер Белков налетал на бедную уборщицу из греческого коммунистического меньшинства, выхватывал трубку, и независимо от чина абонента на проводе, объяснял тому не менее получаса правила пользования правительственным телефоном и неизбежную опасность вместе с непростительной недопустимостью его отрыва от непосредственных занятий по охране особо важного объекта. Тётя Лина за это время успевала кончить уборку всех помещений и незаметно выскальзывала в дверь, чтобы, впрочем, в следующий раз - через трое суток выслушать причитающееся и ей.

Так и текла безучастная человеческая жизнь дорожных дел мастера, подобная разве что его бессрочному занудству. Но, впрочем, не только жизнь Белкова могла быть приравнена к его занудству, с его занудством не в меньшей степени могла сравниться и его забывчивость. Собственно, обе они были одной и той же природы: пытаюсь забыть измену Фроси за словами, бывший дорожных дел мастер Белков забывал все, кроме этой самой измены, и в то же время, забывая все, он пытался восстановить утраченное посредством бесконечных слов, но, увы - одно не замещало другого. Бедный Белков, приходя на дежурство, забывал - в какой карман он сунул портсигар с ветеранской надписью "Почетному дорожных дел мастеру станции Белкову от вечно помнящих содорожников!". Ища портсигар, он забывал, куда повесил свою сторожевую фуфайку. В поисках фуфайки, Белков терял табельную двустволку, разыскивая двустволку, он ронял свои очки-велосипеды, без очков он уже не помнил, чего же в конце концов он ищет. Он терял столь многое, что уже терял счет своим потерям. К концу дежурства бдительный Гоголушко вручал ему традиционный портсигар, шофер стацкомовского "УАЗика" выволакивал из-под машины

использованную фуфайку, бедная гречанка-коммунистка тётя Лина несла в ведре вместе со шваброй - табельное оружие, а из подтягиваемых перед уходом штанов выпадали его очки-велосипеды.

Но одного никогда не терял Белков. Веры в то, что в Гиласе он охраняет здание коммунизма. Правда, об этом речь еще впереди...



## Глава 16

Шла дочка Кувандыка-пьяницы из лавчонки шерсть-фабрики, купив после Кун-ахуна кулек ДУСТа против блох. А навстречу ей Робия-хлебопечница.

- Девочка, а девочка, ты откуда идешь?
- Из магазина.
- А что там дают?
- А вот, мама написала...
- Дай-ка, гляну!
- Вот!
- Ба, так это никак крахмал завезли.
- Гм...
- А это кукурузный или картофельный?
- Не знаю.
- Дай-ка попробую!
- Пробуйте...

Старушка, подмешивавшая в лепешки крахмалу для блеска, попробовала ДУСТу и чуть не задрала лапки, как блоха или таракан. Благо, рядом был арык, в котором девочка давным-давно тонула. В нем-то старушка Робия и выполаскивала свой отравленный рот, проклиная следами этой отравы добрую девочку, которая шла по солнцу, ничего не понимая...

## Глава 17

Тогда, в тот раз на следующее утро, мальчик пошёл в сторону пакхаузов. Туда были отогнаны за ночь вагоны и уже съезжались машины с беляловской базы. Мальчика немного подташнивало от вчерашнего, и хотя он умылся под краном, но воды пить побоялся, да и потом стоять здесь долго никак было нельзя, базарчик за будкой мороженщика всюду уже шумел, и уже кто-то нёс к крану два пучка краснеющей редиски. Мальчик, правда, постоял, пока этот приезжий человек помыл оба пучка и даже дождался пока он уйдёт, оставив под струёй воды бултыхающуюся, как красный поплавок, редисинку. Эта редиска оказалась единственной, хотя ему почему-то казалось, что там их несколько, однако когда он стал шарить пальцами в ямочке под бьющим краном, сверкающее из-под воды красное - оказалось скорлупой крашенных луком яиц, и мальчик вспомнил, как пацаны говорили, что в это воскресенье начинается пасха.

Съеденная тут же редиска нестерпимо жгла голодный и воспалённый желудок, и он шёл по рельсам, надеясь, что там начнётся погрузка чего-нибудь съестного, но когда на припекающем солнце он добрался до первого вагона, то увидел мешки, складываемые в беляловские машины, и понял, что торопился сюда зря: выгружали, видимо, лук.

Но и всё равно, если удастся наняться, то можно хоть несколько рублей заработать и прожить эти голодные дни сыто. Он подошёл к первому вагону и, обойдя подогнанную машину кругом, увидел, что четверо приезжих алкашей уже забили этот вагон и здесь ждать уже нечего. Мальчик спросил у шофёра, будут ли ещё грузить, тот кивнул на человека в костюме и сказал: "Вон экспедитор, он знает". Был бы сейчас Ахтёмчик - он всех этих экспедиторов в лицо знает, взяли бы один вагон, а так... он был слишком маленьким, чтобы этот человек в костюме стал бы с ним разговаривать. Тот уговаривал ещё троих приезжих у второго вагона, те же сидели на рельсе под этим вагоном и кочевряжились.

- Довай, начнай ивтрайум, ишу кавунибуд найдом!

- Э-э, нет, начальник, мы один вагон забили, и харэ! На полбанки хватит!

- Палатара рубл за тонн, довай!

И тогда среди пришлых узнав Колька-гундоса, мальчик подошёл к ним и предложил в четвёртые, в помощники. Кто-то хмыкнул, кто-то и вовсе погнал его в мат, но Колёк, как хозяин станции, прогундосил:

- Парнишу я лично докажу, носит как кара!

Словом, взяли они вагон за три с полтиной с двух тонн, мальчик подтаскивал сверху мешки и подавал их на плечи троим, те же шатаясь и матерясь от пыли и пота, носили уже пятую или шестую машину. Иногда в вагон поднимался какой-нибудь шоферюга и, пройдя в противоположный угол, начинал развязывать один из мешков и проверять этот лук, а потом ещё и бакланить, какой был крупный лук в прошлом году. Но даже Колёк-гундос не посылал его на х..., поскольку торопился к харчу, и вот, разгрузив полвагона, они выпрыгнули на полотно подъезда. Колёк взял у экспедитора трёху в залог, и сказал мальчику: "Дуй на хлопзавод, возмёшь бормоты и на закусь какой-нибудь х..ни!"

Мальчик вернулся быстро, страшно хотелось жрать, но на закусь ничего кроме чёрствой железнодорожной буханки, банки консервов камбалы и липких карамелек "Вишня" не осталось, и только поняв, что те станут закусывать наготовленным луком, мальчик немного успокоился.

Пацан так запыхался, что его уже пошатывало и в сидячем положении, казалось, что рельса отдаёт ударами маневрового тепловоза, идущего сюда, за этими вагонами, но солнце, зависшее на самой верхотуре неба, не давало отодвинуться из-под вагона ни на сантиметр.

- Мачи скарей! - сказал Гундос. - Хмырь канает.

Хотелось пить, а особенно тогда, когда Колёк, откинув голову, заклокотал своим кадыком, и

красная струйка потекла с края его губ по запылённому подбородку. "Хряпнешь?" - предложили ему по кругу. Пацан отказался и пожалел. Хлеб, который он жадно жевал, не шёл дальше горла, тем более что и кусок жирной рыбы из консервов стоял чуть глубже, карамелек же не хотелось и вовсе, не говоря о вонючем луке, а потому, когда ему предложили досандолить всё, что оставалось на доньшке, то он почти выхватил бутылку и взахлёб выхлебал её до конца.

Вино было сладкое и противное, оно щекотало горло, и именно там, откуда, слава богу, уходил вниз непрожёванный хлеб, и голова пацана пошла кругом, как будто тепловоз этот уже совсем под боком, а щёки раздулись и напряглись и от их жара высох жгучий пот и превратился в натянутую, горячую плёнку, и мальчику захотелось выmaterиться с луком во рту, обmaterить этого шоферюгу, и он не удержался, как бы срываясь уже помимо своей воли с обрыва над рекой: "Сука, п...т ещё, что лук мелкий!"

Но никто не обратил внимания на эти тихие слова - расстилая газетёнку хлопзавода, кто ложился на шпалы между рельсами, где покачивалась пастушья сумка, кто выбрасывал банки и бутылку, а кто закурил самосад. Пацан не знал, что делать дальше, ведь непременно дальше что-то надо было делать, и он вылез было из-под вагона, но страшное солнце вогнало его обратно под вагон, и он уже не удерживая своего веса, плюхнулся на рельсу наперевес, как лежал давным-давно... вчера... и мысли потекли в нём как вагоны над головой...

А потом они выгружали вторую половину вагона, и это время пролетело совсем незаметно, они решили, что сразу после забивки надо успеть на хлопзавод, на кироту, и этого мальчик ждал с возбуждением, как своей отстёгнутой доли. Но когда осталось загрузить последнюю машину, приехала легковушка, и даже Колёк-гундос зашевелился: "Мужики, Белял прип..дил, х..ячь!"

Белялов подошёл сначала к тому, соседнему вагону, а потом с экспедитором к ихнему, и экспедитор кивнул в сторону мальчика: "Уот этит пасан..." Тогда Белялов вскарабкался в вагон, прошёл сначала в тот угол, осмотрел его, как будто хотел там поссать или же увидеть чью-то кучу, потом пошёл в их сторону и вдруг понёс, понёс:

- Кто поставил несовершеннолетнего в вагон?! Да вы думаете, да вы знаете, что будет, ведь это как называется? - Эксплуатация детей. Он ведь мешка сдвинуть не может... - и ещё какую-то херню про технику безопасности и ещё, и ещё...

Короче, кричал он минут десять и непонятно на кого, то ли на экспедитора, то ли на кодык Колька, но выгонял-то из вагона Белялов его, и сколько ни упрашивал его мальчишка, напоминая и про ящики, которые он сколачивал на его базе, и про то, что не впервые забивает вагон, вернее разгружает его, тот как баклан, орал, что не хочет сидеть за решёткой, а если несовершеннолетний будет беспризорничать, то, дескать, он напишет ему в школу, он так и предложил экспедитору - записать фамилию пацана и подготовить письмо, а сам пошёл к своей машине. И когда экспедитор совсем по-предательски достал свой химический карандаш и клочок бумажки, мальчик почувствовал, что ещё минута, и он разревётся прямо здесь, и нет ничего хуже, чем разревётся перед этими подонками, которые и слёзы его используют, чтобы назвать сосунком и прогнать подальше, и тогда он спрыгнул с вагона и пошёл, не отвечая кричащему вслед экспедитору: "Гиде ти учшса?"...

Он шёл по пыльной дороге вдоль рельс и слёзы из его глаз, казалось, скатываясь по всему телу, мешались в ногах, превращая пыль за ним в глину; ему хотелось бежать от этого унижения и он не мог, ноги как будто вращались в эту распутицу, и, добредя до первого же дощатого забора, ограждавшего пакхауз с стороны дороги, он упал к его подножию и выплакался до опустошённого и злого состояния, когда всё нутро сжалось как в кулак, и тогда он стал ждать выезда машины Беляла из-за поворота. Он бы разбил ей лобовое стекло булыжником, горевшим в его руке, он бы показал, как он не может сдвинуть мешка... Он выдумывал сотни способов расправы с этой сытой

мордой, и ещё с экспедитором-пид...зом, надувшим его, но ни один из них не утешал жжения в груди, которое было сильнее голода, жжения, от которого забылось всё и ничто не вспоминалось совсем, когда бы из-за поворота вместо беляловской уже давно отъехавшей "Волжанки" не вышел с той самой обеденной авоськой один из Кольковской шоблы. Он не знал, где хлопзаводской магазин: "Пошли, кореш, покажешь..." - сказал он, и мальчик с запёкшимся лицом, пошёл туда, не зная почему.

И вот когда они свернули в переулок, за ними, гружённая доверху, показалась последняя забитая машина. Мужик, не оборачиваясь в его сторону, цыкнул: "Секи, киданём? Чего е..ло раскрыл? Давай, на ту сторону, там гляделки нету..." Пока машина, пыхтя, догоняла их, они перешли на другую сторону дороги. Грузная машина наполняла пустой переулок между заборами хлопзавода и шерстьфабрики пылью, как комета своим хвостом, и мальчик почему-то припомнил свой не брошенный булжжик, и как заклинание в голове пронеслось: "Я покажу те б..дь, мешки с места..."

"Ты на кид, а я накрою" - скомандовал мужик, и когда машина, обогнав их, объехала метров на пять, пацан рванулся за ней, уцепился за задний борт и, установив ногу на прицепном крюке, дёрнул верхний мешок на себя. Мешок плюхнулся в пыль, следом плюхнулся он, упав на четвереньки и исцарапав в кровь ладони и колени, но это он заметил потом, когда, вскинув мешок на плечо, оттащил его к высокой и глухой тыльной стене шерстьфабрики, где сбрасывал с себя брезентовую спецовку мужик, чтобы тут же накрыть ею мешок. Пацан почувствовал боль на ладонях и коленях, но эта боль возбуждала его даже больше, нежели восторг от легко поднятого им мешка, и когда грузовик скрылся за поворотом, он сплюнул сквозь зубы и сказал мужику: "Давайте теперь... ты х..ячь!"

Мужик молча вскинул мешок на плечо и за поворотом нырнул в одну из калиток, а мальчик уселся на берегу арыка и стал отмывать грязь своих рук, грязь, перемешанную с кровью. Вышел мужик и выматерившись, сказал: "Эта сука пи..ит, что заложит. Падла, дала на пару бутылок. Х..й с ней! Пашли!"

Из магазина мужик вынес три бутылки бормоты и хихикнул: "Паря, здесь и твоя доля!" Эти слова вдруг напомнили слюнявые, толстые губы Колька-гундоса, из которых текло это вонючее пойло, и тошнота, ходившая с ним уже второй день, опять чуть не выплеснулась из него, повторяя это отвратительное воспоминание. "Отдай мои деньги!" - сказал он сквозь зубы, чуть не плача от бешенства. Рядом не было ни камней, ни железяк, но мужик здорово труханул, и скорее всего за эти самые бутылки, потому что тут же залебезил перед ним, говоря, что паря может взять всё, что у него в карманах, чего ж только раньше не говорил, что квасить с ними не будет, ведь пахали-то общаком, а в кармане, дескать, какая-то мелочишка, мол, поди, покопайся, наскреби...

Как знать, пацан, может быть, и взял бы всю эту мелочь, пусть на буханку хлеба, если бы в это время из магазина не вышел учитель труда по прозвищу "Малка", заметив которого, мальчик повернулся и пошёл прочь, полный бессильной ярости и отчаяния, ещё более позорного оттого, что этот алкаш стал кричать ему вслед: "Паря, ты куда съё...ваешь..."

Он почти уже бежал в сторону первого переуллка, чтобы скрыться в нём и ничего этого не помнить, и никого, никого не видеть... Он шёл кривыми и пустыми в этот уже предвечерний час переулками, и не знал, куда себя девать. Голод его так переплёлся с его же позором, что даже утолять одно, и вспоминать другое было не в состоянии. Он брёл, как побитая, бездомная собака, шарахаясь от каждой прохожей старухи, пока не оказался на улице в конце которой, у калитки старушки Рейтерши не услышал голоса пацанов: "Христос воскрес! Христос воскрес!" И тогда он вспомнил, что сегодня началась пасха, паска, как называли они её, и понял, что Борот и Кутр, Кобил и Витёк, Шапик и Абос ходят сегодня по русским старушкам, как они ходят по узбекским домам на рамазан и сейчас вымаливают крашеные яйца и куличи, а потом сядут на какой-нибудь

скамейке и начнут биться: яйцо на яйцо, пока не перебьют и не съедят всё до икоты.

И ему захотелось присоединиться к ним, и даже не из-за голода, просто, допоздна он бы ходил с ними по дворам, только когда они пойдут по домам - что делать ему? - так, не решаясь приблизиться к ним, он некоторое время ходил следом, повторяя про себя вслед за ними "Христос воскрес!" и, выслушивая в ответ "Воистину воскрес", а потом, когда они сели на скамейку и стали биться, ему стало нестерпимо одиноко, так одиноко, что он пошел, куда глаза глядят, и, прошатавшись по окраинам, по полям, к полуночи вышел к русскому кладбищу, где на столиках перед крестами, отдавая лунным светом, мерцали выглаженные стаканы, полные водки и тускло притягивали свет разноцветные пасхальные яйца.

Мальчик стоял над арыком, не решаясь перепрыгнуть через него на ту сторону, и арык, серебристо змеясь, размазывал по себе лунный свет, и эти блёстки, как монетки, блистали и напоминали почему-то серебристых рыбок, которых не выудить из памяти...

И вдруг он вспомнил. Это было прошлой осенью на хлопке, в день, когда пацаны их класса, сдав до обеда норму, решили пойти сразу же после обеда на недалёкое кладбище, ловить змей. Они нарезали себе рогатин и двинулись мимо курганов, вдоль заросшей камышом реки к придорожному кладбищу. Змей на кладбище - сколько они ни искали - не нашли, но наткнулись на святое дерево, всё увешанное вместо листьев разноцветными тряпочками, и кто-то из пацанов предложил посмотреть, что там в этих тряпочках. Тогда, помнится, мальчик предостерёг их, вспомнив, что бабушка как-то вешала на такое же дерево тряпочку с заклинанием против злых духов, вселившихся в её больные ноги, и мальчику тогда померещилось, что не заклинание, написанное непонятной вязью на листочке, а сами злые духи обвязаны красной тряпочкой, и теперь выгорают на солнце и болтаются на ветру, чтобы к зиме сорваться из сгнивших под дождями тряпочек и опять вселиться в те же самые разбухшие ноги...

И всё же пацаны развязали одну из тряпочек и из неё посыпались на землю позеленевшие от времени, солнца и сырости монетки. Тогда они набрали около рубля денег и тут же забыли об всяких змеях, решив успеть в колхозный магазинчик. Только они вышли с кладбища, как сзади раздался крик. Все обернулись и с единым ужасом увидели чёрного всадника, несущегося в их сторону, подымая пыль. Пацанва рванула разом на хлопковое поле. Но топот коня нёсся уже по полю, и казалось, наступал их. Высокий, по грудь хлопок, сёк по лицу и ногам, сапоги проваливались в каждую новую грядку, кто-то, кажется Мофа, споткнулся и упал, но, не выпуская из рук своей рогатины, нёсся на корачках, ничуть не отставая от остальных, как эстафетчик с низкого старта, и, наконец, домчавшись на едином духу до края поля и сиганув сходу через пятиметровый коллектор, они чуть успокоились и оглянулись назад. Никого сзади не было...

Бледные и запыхавшиеся, они откинулись на берегу этого прохладного и мутного коллектора, оставив на стрёме неразгибаемого Мофу, и стали уже прикалываться над каждым. Тогда мальчик бросил в коллектор монетку, доставшуюся ему, и эта монетка, звонко плюхнувшись, заставила всех вскочить и опять они все нервно ухохотались, пока не увидели впереди, на клеверном лугу, на самой его середине жеребца, ходившего по кругу...

Кто-то в отместку предложил покататься, Мальчику, признаться, было тревожно из-за этой тишины, постиравшейся по эту сторону мутного коллектора и на всё клеверное поле, и выходить из этого укрытия хотя бы из трёх тутовин на середину открытого поля ему не очень-то хотелось, но все пошли к жеребцу, и он двинулся следом, забывая свой побег. Первым вскарабкался на жеребца Мофа, потом Артёша, потом Пчела. Они катались на нём по кругу долго, то, срываясь с его шеи, то, по очереди запрыгивая чуть ли не на костистый зад, пока внезапный окрик, раздавшийся где-то за спиной без подготовки, не бросил их в бег.

И вправду, с края клеверного поля нёсся вслед за ними чёрный и тучный всадник, и не

догнавший их с первого разу, казалось, нарочно дождался их выхода на это чистое клеверное поле, теперь-то уж рассчитается за всё. Они неслись, не видя перед собой ничего и ориентируясь по всё более жгучему голосу: "Ушла! Ушла!" - и что это было, то ли то, что жеребёнок ушёл или же просто всадник кричал по-узбекски - "Лови!" - но как бы-то ни было, когда от жуткого гипнотического страха мальчик обернулся на этот голос и настигающий топот за спиной, то увидел, что жеребёнок в отместку несётся за ним, ещё не покатавшемся, и страшная догадка, что всадник кричит жеребцу, чтобы тот поймал мальчишку, заставила издать его ужасающий вопль и со всего отчаявшегося обороту замахнуться своей рогатиной на это страшилище, должное его растоптать, чудище, что несется, выбросив свою фырчащую морду вперёд...

Жеребец шархнулся в сторону, но этот крик: "Ушла! Ушла!" - бросил мальчишку снова в бег и, донесясь до камышей, росших в топи предречных тугаев, он, погрязая в жижу, оглянулся на поле в последний раз. Жеребец малюсеньким пятнышком нёсся по противоположному краю поля, там, где шла пыльная дорога, а всадника не было и вовсе, как не было видно и пацанов. Что это было тогда?... Злые духи сорвались что ли из тряпочек?...

...И вот теперь, стоя над арыком, мальчик не решался перепрыгнуть на тот берег и причаститься к тому, что уже обволакивающе мягко лежало на языке и уже лишало нутро жжения и боли. Он не помнил, сколько времени он там простоял, и озноб, начавший пробираться в него, стал превращать постепенно нерешительность в страхи, и уже каким-то холодом и мраком повеяло с той стороны арыка, откуда нёсся далёкий лай собак, и вдруг рядом с ним выпрыгнула травяная лягушка, закурлыкала и поползла под его ногами в траве, и совсем немного погодя, внезапно на один из столиков перед крестом опустилась ночная птица и, не оглядываясь на него, стала клевать кулички и пышки; и тогда ощущая вокруг себя какое-то живое и в чём-то родное шевеление, он перепрыгнул с разбегу на тот берег и на всякий случай шепча вслух "Христос воскрес", стал пробираться между крестов и могил к тому столику, где только что сидела вспугнутая его прыжком птица, чтобы приглашая её с металлических прутьев к застолью, увидеть за этим столом и хлеб, и стакан, и головку репчатого лука...

## Глава 18

Когда умерла Ходжия, внук её плакал не по ней, а по пьянице - Рафим-Джону, который теперь оставался и вовсе никому не нужным, пока через десять лет не захлебнулся в своей собственной блевотине, в день, когда пошёл первый снег...

Ходжия родила от трёх мужей двенадцать детей, из которых её пережили только трое, а история смертей остальных такова.

Шарофат - самая старшая дочь от Гази-ходжи - её первого мужа, умерла в тридцатипятилетнем возрасте, надорвав своё сердце в поисках семейного приюта, оставив на попечение матери двух сирот.

Вторая дочь - Башорат умирала мучительно - упав в трёхлетнем возрасте в сандал - печку, выкопанную в земле под зимним столом.

Третий сын от Гази-ходжи - Шахид-ходжа дорос до семи лет, но после смерти своего отца зачах на глазах и умер от внезапного туберкулёза, заразившись им от мрущих на улицах казахов.

Последняя дочь от первого мужа оказалась, прости Бог, мертворождённой, её похоронили, так и не дав имени.

Потом умер, а, вернее, погиб и сам её муж - Гази-ходжа Камол-ходжа-оглу. Но об этом следует рассказать чуть подробнее.

Вы помните, что Ходжия родилась в то время, когда её отец - Махмуд-ходжа младший, замаливая грехи одной революции, свершал паломничество в священную Мекку. Но после того как они вернулись с персиянином Джебралем, который тоже искал отдохновения от своей иранской революции, обоих их вскорости встретила ещё более невероятная революция Октябрьская. Невероятная потому, что начиналась она как лёгкая простуда, которую казалось можно перенести на ногах, а оказалось...

Джебраль вскоре женился на первой встреченной беженке из разгромленного большевиками и разграбленного дашнаками Хоканда, как бы окончательно рассчитываясь с очередной революцией и её последствиями, чтобы тут же построить свой знаменитый курган, за которым не бывал ни один из смертных Гиласа за вычетом его домочадцев, как бы навсегда отгороженных от этого неверного мира за трёхростовым дувалом, как за Джебральской клятвой, что уж здесь никогда и никаких революций не будет...

Махмуд-ходжа, после смерти плодоносящего Майке, перешёл от скотоводства к земледелию и, продав свою нескончаемую отару киргизам, у которых её тут же конфисковали революционные матросы Заилийского Алатау, перебрался с семьёй в Гилас, где скупил по соседству все виноградники Хасанбая - мол, уж если и конфискуют в Россию виноград, то хоть лозу оставят на месте!

Большевики и впрямь конфисковали все, что можно было съесть, выпить, надеть или же на худой случай продать, чтобы опять съесть, выпить или надеть, но поскольку эти безродные, проштрафившиеся, проворовавшиеся, а потому сосланные сюда в Туркестанскую глушь солдаты не умели ничего делать руками, кроме как размахивать револьверами и знамёнами в этих руках, а ещё мочиться, где придётся, то первые годы виноградника Махмуд-ходжи не выкорчёвывали, и Махмуд-ходже удавалось подворовывать, то есть припрятывать то небольшое из урожая, что оставалось после ночных обысков и облав винолюбивых революционеров.

Тогда же, в глубине своих бесконечных, как лабиринт, виноградников, он устроил "ичкари" для женской половины своей семьи - жены и двух дочерей: Асолат и Ходжии, которые, не зная теперь никакого выхода в свет - зимой перебирали сушеный кишмиш, а летом купались в запруде арыка, затыкая десятью пальцами обеих рук все отверстия своих длинноносых голов.

Однажды за таким купанием, когда глаза не видели, уши не слышали, нос не чуял, а рот не мог сказать, их застал дальний родственник - уже не юноша, но муж - Гази-ходжа, прирабатывавший в винограднике, как ходжа у ходжи, дабы не идти на службу к безродным большевикам. Бёдра младшей толстушки, то и дело, выкидывавшиеся белыми куполами над мутной водой, свели с ума молодого человека, забывшего начисто шариат и сословный кодекс приличия. С тех пор он зачастил к родственнику, окоротив, обезлиствив и окопав тому все его лозы, а особенно же в тех непролазных чащах, куда вела лишь мутная вода Хасанбай-арыка с его запрудами и затонами.

Той же осенью, в пору свадеб, независимых от войн и революций, к Махмуд-ходже пришли сваты по его младшую дочь. Махмуд-ходжа, как истинный ходжа - после полудня стоящий насмерть на своём - ни в какую не соглашался выдавать младшую прежде старшей.

- Вот можете взять старшую, - простодушно предложил он своим дальним родственникам, на что и они, как истые ходжи, встали и пошли, отказываясь быть родственниками, и глухо бормоча в лабиринтах виноградника:

- Кизинг бошингда косин!<sup>48</sup>

Простое послеполуденное недовольство ходжей оказалось хуже проклятия, и впрямь по сухой как жердь Асолат, спрятанной в чащах зимнего виноградника, никто не приходил несколько лет. Ходжия тем временем превратилась из подростка в пышную девушку, которой стеснялся уже сам отец, а Гази-ходжа, Гази-ходжа каждое лето плакал у истоков мутного Хасанбай-арыка, видя в отражении солнца крутые бёдра своей избранницы и ожидая, когда же выдадут замуж эту ненавистную подпорку для виноградной лозы. Но теперь, когда его работа у ходжи в винограднике кончилась за взаимной обидой, однажды после полудня он вознёс молитву Аллаху, и дабы иметь возможность славить Его и далее, в ожидании того, что предписано Им Самим, пошёл работать в милицию к большевикам.

Впрочем, в этом был не только Промысел, но и земной умысел: небольшевевших ходжей начинали уже запугивать высылками, так вот, Гази-ходжа хотел спасти семью Махмуд-ходжи, и тем самым добиться для себя исключения, не дожидаясь появления свояка.

Но всё случилось значительно раньше эпохи высылков.

В священный день смерти вождя мирового пролетариата и босячества, когда всю милицию послали по базарам и чайханам - гнать всех на стихийные траурные митинги, а Гази-ходже и вовсе дали специальное задание - найти нескольких маддохов<sup>49</sup>, которые бы пошли по городу, утешая народ в безутешном горе, в том, что Аллах забрал душу Владимира Ильича не подумав, на кого же Он оставляет мировую революцию и трудящуюся бедноту в то время, как свадьбы запрещены а другие трауры за незначительностью - приостановлены. Именно тогда, в минуту положения тела того, чьим именем казахи округи были вынуждены называть некстати рождающихся детей Елешами - не умея исковеркать свой степной язык на "Ильича", ни затолкать детей обратно - до лучших времён, всё население Ташкента и его округи, включая Гилас, было поставлено на колени - дескать, по отцовскому обычаю траура. Так вот именно тогда в милицейскую каталажку попал некий Почамир-ходжа из Бухары, который из своей приезжести решил, что Аллах, не дожидаясь конца света, начал свой Страшный Суд, а потому прямо на базаре, посреди банок бакалейщиков, где он выбирал немного опия и синего камня против зубной боли, Почамир поспешил высказать всё, что он думает о большевиках, дабы быть чистым перед Аллахом, а поскольку поносил Почамир большевиков во главе с покойным на своём бухарском выговоре, мало понятном в Ташкенте, то поначалу решили, что это бухарский еврей вопит о погроме, и дабы англичане не

---

<sup>48</sup> - Провались со своей дочерью!

<sup>49</sup> маддох - восхвалитель



развезли это по свету против большевизма, постановили, что лучшее дело - изолировать паникёра в кутузку. Там-то и застал его Гази-ходжа в поисках утешителей всемирного горя.

- В свидетели беру дух товарища Ленина - я в первый раз в вашем столь величественном городе и не понимаю, что здесь случается, - божился он на своём бухарском диалекте. - Умоляю вас коммунистическим интернационалом и международной солидарностью, оставьте меня бедного и дурного в покое...

- Вот станешь товарищем Зиновьевым и Троцким, тогда и оставим в покое, - отвечал ему сторож из оболышевевших новобранцев.

Почамир-ходжа, как истый бухарец, некогда причастный к младобухарству, почитывал местные газеты, и знал, что если попал в каталажку, то уж сидеть тебе, пока не придет всесоюзный староста Калинин, или же на худой конец - его местный заменитель - свой Ахун-бабай, который опишет впоследствии эти безобразия в своей большевистской столичной газете, и тогда уже начальник милиции тебя освободит. Правда, если читает директивные газеты.

Вот и в прошлый раз, когда Почамир сидел по поводу Бухарской революции, когда точно так же решил о первом окончании света, - а сидел он полгода с лишним, и на первый месяц от безделья стал чинить сапоги всем сокамерникам, расплетая для дратвы свой пояс. Заметив сие, охранник, бухарский еврей Илиас однажды воспользовался заключённым и починил свои прохудившиеся кавуши. Дальше - больше, мало-помалу, он переченил у Почамира обувь всей родни и лишь после этого поделился новостью со своими коллегами вплоть до начальника тюрьмы. Поделиться-то поделился, да вот замучила его поздняя мысль - ведь чинил Почамир обувь, как шил новую - поставляй ему материал, и хоть артель открывай! А тут ещё сын Илиаса - Юсуф, употреблявший до сих пор старую кожу с кавушей на рогатки, вдруг зашил кожей с одной рогатки недонесённый до Почамира худой кавуш...

Словом, пустил старый Илиас накопленную веками и поколениями хитрость в ход и сговорился с Почамиром о надомной, вернее натюремной артели: он поставляет ему чёрную кожу с простреленных большевиков и чекистов - Почамир шьёт кавуши - Юсуфка торгует ими на бухарском базаре Токи Саррофон. Молил Илиас своего иудейского бога лишь об одном - как бы дольше сидел Почамир в тюрьме и никакой начальник не вспомнил бы о нём, да вот приехал-таки необрезанный Калинин в Бухару, пошёл по чайханам да тюрьмам, как будто других мест за свою революционную жизнь не познал, и написал о Почамире, шьющем кавуши, в большевистской "Местной Правде". Шесть месяцев шла партийная разборка, в ходе которой Илиас продолжал скупать кожу чёрных курток со слетающих начальников, а Юсуфка - торговать обувью нашитой Почамиром, ожидающим решения своей судьбы. Но не только этим занимался шесть месяцев старый тюремный сторож Илиас. При свете керосиновой лампы он заставлял заучивать своего Юсуфку ход шва и постановку стельки на обуви, сшитой подведомственным Почамиром, дабы и после освобождения того, большевистско-чекистские куртки не гнили, простреленные в могилах...

Так вот, не Калинин пришёл на этот раз, и даже не его местный заменитель - Ахун-бабай, пришёл в тюрьму этот самый милиционер-служивый, который и сам оказался из ходжей, и долго вертя разговор вокруг того, что птица души Джахангира Илья-задэ направила свой полёт в необходимые сети Аллаха, вдруг ни с того, ни с сего предложил Почамиру, плачущему за Ленина, который принёс своей смертью столько несчастий на его голову, жениться на дочери одного из тутошних ходжей.

Было послеполуденное время и Почамир - будь проклят тот час - согласился приобрести жену

и в Ташкенте в обмен на свободу. Уж лучше бы ждал товарища Калинина, или на худой конец тутошнего Ахун-бабая - отчаивался он не раз впоследствии, будучи уже женатым на тощей Асолат, заставившей его забыть не только священную Бухару с её выговором, газетами и семьёй, но и переименовавшую его на Пошшо-амира. Ладно бы и с новым именем - всё равно началась новая жизнь, и вчерашнюю чайхану уже называли избой-читальней, да было несколько неловко с этим самым именем "Амира у Падишаха" рабочими днями торговать у самого начала их тупиковой улочки семечками, а по воскресеньям в казахском Абай-базаре - сахарными петушками.

Вот так и женился Гази-ходжа-милиционер на Ходжие. Женился и перешёл работать в партию, чтобы жить чуть победнее, но чуть побезопаснее, поскольку к тому времени началась "коренизация" органов, слово, которого Гази-ходжа не понимал, но видел, как через одного уже высылают и расстреливают. Честно говоря, Гази-ходжа ушёл бы, как и прежде, работать в виноградниках тестя, но там под такое же непонятное слово "коллективизация" начались всё те же ссылки и расстрелы каждого, кто "бирини икки кила оларди"<sup>50</sup>, вот и пришлось идти в партию, чтобы ценой порубленных партией виноградников спасти жизнь своему тестю и его семье.

В партию он устроился переводчиком к первому секретарю - переводить с узбекского на узбекский, потому как первый секретарь хоть и был узбеком, но за свою большевистскую карьеру забыл начисто, как материл его до детдома отец. Часами бедный секретарь размышлял над каким-нибудь словом "лойиха"<sup>51</sup>, спущенным из ЦК-ЦКК, примеряя под него всё, что приходило в голову, но ничего осмысленного не получалось, покуда не пришёл к нему на работу Гази-ходжа, который по своему медресинскому образованию не только играючи истолковывал тому казуистику переводчиков товарища Акмаля Икрама из ЦК-ЦКК, но и сам задавал теперь головоломки переводчикам при райкомах, стацкомах и первичках.

Словом, всё шло хорошо, дома у Гази-ходжи и Ходжии рождались дети, Махмуд-ходжа не выходил вот уже седьмой год никуда из своего глухого подворья в чаще недорубленных колхозных, а потому бесхозных виноградников, боясь новых смут, которые по новому времени назывались революциями, партия давала лозунги, вернее давал их честнейший большевик - еврей Уманский, единственный русский, кто работал в партии после "коренизации", и с кем на почве этих самых лозунгов сошёлся вскоре Гази-ходжа, переводивший эти лозунги с узбекского на узбекский, так, как понимал их с уст Уманского первый секретарь. Тихо-потиху Гази-ходжа стал понимать русский, мало-помалу Уманский начал осваивать узбекский, и когда каждый из них прошёл свою половину пути, необходимость первого секретаря в бумажных делах, которые назывались непонятным словом "идеология", и вовсе отпала.

Освобождённый первый секретарь стал заниматься экономическими вопросами, поскольку после лозунга: "Лицом к деревне!" пришёл лозунг: "Взгляд на экономику!" Так, вместе с местным прокурором и муллой старгородской мечети<sup>52</sup> первый секретарь объявил населению государственный закаат - коммунистическо-мусульманский налог, собрав 1931 голову крупного рогатого скота, в пять раз больше овец и коз, ну а куриц и вовсе на целую первую птицеферму имени Розы Люксембург. Треть из туш пошла на помощь всё ещё голодающему поволжскому народу, треть разошлась по вышестоящим органам, а на почве раздела третьей трети началась борьба фракций и уклонов: прокурор открыл уголовное дело против муллы, обвиняя того по 37

<sup>50</sup> кто свою единицу мог превратить в два

<sup>51</sup> проект

<sup>52</sup> Кстати, именно этот мулла и подсказал первому секретарю идею союза КМ: дескать, у Вас "Капитал" Маркса, у нас - Коран Мухаммада и союз у нас "Коммунистическо-Мусульманский"!, которую я видел впоследствии в одной из эмигрантских парижских газет. /Автор/

статьям еще нераспечатанного Уголовного Кодекса - от басмачества до бесакалбазлычества<sup>53</sup>, мулла зачитал на первой же пятничной молитве фетву, в которой насылал проклятия на голову безбожного первого секретаря, как хулителя и гонителя веры, первый же секретарь ударил залпом по обоим фронтам, обвинив одного в право-монархистском, другого - в левотроцкистском уклоне. Непонятное оказалось наиболее действенным, когда же Уманский с Гази-ходжей попытались образумить разбушевавшегося секретаря, тот, подкупив вышестоящего переводчика, и вовсе завёл партийное дело на "национал-космополитическую организацию, проникшую в ряды партии с целью подрыва и контрреволюции", дабы сослать честнейшего коммуниста Уманского в Биробиджан, а доверчивого Гази-ходжу пригласить к себе на плов, как бы затем, чтобы простить и наставить на путь, а на самом деле подсыпать в плов сначала семян анаши, а потом влить ему уснувшему в ухо дореволюционного яду, которым с секретарём поделился ещё мулла в их бытность друзьями по союзу КМ.

Так потеряла Ходжия своего первого мужа - Гази-ходжу. Выразить соболезнование вдове и семье покойного пришла вся группа товарищей, помирившаяся к тому времени, поскольку оставшуюся и поделённую треть поголовья скота вместе с курами, угнали, бог весть, откуда взявшиеся басмачи. Но все они: и первый секретарь, прочёвший над саваном доклад о современном положении, и прокурор, зачитавший заключение о смерти покойного, и мулла, пропевший отходную - ушли с одной и той же мыслью - прибрать к своим рукам Ходжию. К счастью, вскоре начался 37 год и всех их троих, заготовивших для Ходжии кто анкету, кто повестку, а кто амулет, по неким вновь открывшимся обстоятельствам арестовали и выслали в Сибирь, в какой-то "джан" валить лес и строить железную дорогу. Там они и сгинули.

А потом началась война, два брата Ходжии и муж Асолат - Почамир-ходжа ушли на фронт, где один пропал без вести, другой вернулся с победой, а третий сдался в плен. Тогда-то и арестовали Махмуд-ходжу, начавшего работать в бесхозном винограднике - "за посягательство на общенародное достояние", тогда-то Ходжия была вынуждена перебраться в Гилас и устроиться швейей в артель Папанина, куда её взял дальний родственник Уманского - дядя Изя Рабинович. Тогда же она вышла замуж за охранника тюрьмы Израил-караула, чтобы иметь возможность передавать через него что-то своему арестованному отцу. А познакомил её с Израил-караулом другой охранник тюрьмы - бухарский еврей Илиас, перешедший сюда на повышение из бухарской провинциальной тюрьмы, знакомый Асолат по её сдавшемуся в плен мужу Почамиру-ходже, отец начинающего гиласского сапожника - Юсуфа.

От Израила-тюремщика она родила еще троих детей, из которых выжила лишь одна Нафиса. А к Победе оплакала Ходжия и ненужного Израила, поскольку отец уже вышел по амнистии из тюрьмы. Израил был застрелен по неосторожности Илиасом, когда в честь победы над антиеврейским фашизмом тот решил дать салют в небо из своей бухарского порохового мушкета. Вот тогда-то и сказал Юсуф-сапожник про своего несчастного отца: "Жил в войну мой отец напротив тюрьмы, а в мирное время живёт напротив своего дома!"

После войны приехал в Гилас Хашим-чайхана, и поскольку Ходжия по закрытии военной артели Папанина пекла теперь кукурузные лепёшки, дабы продавать их по утрам в чайхане, то бездомный Хашим и безмужняя Ходжия решили вскоре объединить хозяйства и жизни и стали рожать новых детей, из которых выжило лишь трое пацанов.

<sup>53</sup> досл. игра безбородых - гомосексуализм

## Глава 19

Ойимча несла виноград, виноград. Грозди, грозди, грозди...

Почему жизнь сложилась так, а не иначе? Капало с гроздей, и солнце отражалось и в гроздьях, и в каплях, и сами грозди казались зрелыми каплями света, света, света, света, света.

Обид-кори остался единственным муллою на округу. Одни ушли горами в Кашгар, другие перешли в сельские учителя и в райкомовские переводчики, третьи пошли воевать за веру...

Жизнь сложилась так, а не иначе, и на то была, видать, мудрость Аллаха, и тем, видать, Аллах наказывал и испытывал своих слуг, и Обид-кори принял своим сердцем жизнь такой, какая она есть. Он не ушёл в горы с турами - братьями и дядьями Ойимчи, хотя по долгу мусульманина проводил их зимними стойбищами алайских киргизов, ждавших откупа или добычи, до самого последнего перевала Канчын, за которым тропа в одну лошадь уходила в Бадахшан.

Лошади шли понурые, понурые, и глаза их мутные от холода проглядывались со спины, мимо их тощих боков, как будто бы глаза, глаза они хотели оставить на своей собственной земле...

Ойимча плакала беспрестанно, и в плаче родила последнего ребёнка, которого назвали Машрабом, Машрабом...

Жизнь сложилась так, а не иначе, и в силу провидения Аллаха Обид-кори не стал сельским активистом - ни советником райкома, ни редактором киргизско-узбекской газеты "Кошчи ва шарвашы", хотя тянули его, как скотину под нож, на советскую платформу. Не ушёл он и в "басмачи", между тем, как однажды ночью его забрали почти что из постели; слава Аллаху, спал он в ту ночь на супе прямо у наружных ворот, а потому, когда на рассвете он вернулся пешком из Чачма-сая - Ойимча спала окружённая детьми, как гроздь винограда, гроздь винограда...

А случилось тогда вот что. Ёрмухаммад - один из самых молодых и отважных муджахиддинов, занявший наскоком Чачма-сай и закрепившийся с киргизами Алая на этой высоте, откуда открывался вид на всю Моокатскую ложбину, застал в кишлаке старуху, вопившую на всё селение: "Дод, Ёрматни дастидан дод! Худоё худовандо, жувонмарг булиб огзидан лахта-лахта кони кесин!"<sup>54</sup>

Не пристало воину надоумливать старуху, но нашлись люди, которые выяснили, на что жалуется и о чём причитает старуха, будто бы джигиты Ёрмухаммада зарезали двух её сыновей, а мужа угнали со скотом. Времени от закатной молитвы и до вечерней хватило воину затем, чтобы установить того, кто торговал его именем. То оказался Янги-Моокатский сарт-юзбоши Махсум-Куллулук-почча, который не далее как месяц назад отослал к Ёрмухаммаду в очередные жёны свою младшую дочь - Майсару. Ёрмухаммад принимал эти подношения как знак поддержки его борьбы, а потому ни одной своей новой жены не видел, и жили они целым горным селением близ Шохимардона, вызывая зависть местных советских поэтов. Их никто не охранял, разве что молва, что Ёрмухаммад безжалостен на поле битвы. Да, он был безжалостен во всём.

К полуночи к нему доставили его разоблачённого тестя и местного муллу - Обид-кори. Ёрмухаммад не сказал ни слова о родственных связях с Махсумом-Куллулук-поччэй, и даже больше того - не стал его показывать Обиду-кори. Он лишь спросил муллу: как полагается поступить по Шариату, в случае если зарезаны двое невинных, а их отец, угнанный с отнятой скотиной, нашёл свою смерть в ущелье? Обид-кори задумался и на память процитировал Маргинони, правда, добавив, что кровь никогда не смывается кровью, скорее уж слезами...

- Напишите то, что сказано в "Хидае", - сказал сухо Ёрмухаммад, и когда Обид-кори кончил писать цитату, спросил: - Чем я могу вам помочь?

Обид-кори пожал плечами и, подняв руки для молитвы, произнёс:

- Пусть Аллах ведёт вас лишь по верному пути!

<sup>54</sup> Спаси боже от Ёрмата! Пусть кровь пойдёт его горлом и пусть он умрёт молодым!

Ёрмухаммад не стал задерживать муллу, а приказал снарядить ему лошадь и охранника впридачу, но Обид-кори отказался от лишних хлопот. Родная земля, все его тут знают, - и пошёл пешком в свой кишлак, темневший в долине. Кишлак его темнел, темнел, темнел в долине...

А наутро на базаре, на самом людном месте, где восемь безусых мальчишек торговали лепёшками, да четверо стариков каймаком, обнаружили на подносе голову Махсума-Куллук-поччи с цитатой из "Праведного Пути" Бурханутдина Маргинони, намокшей и разбрыкшей от всё еще сочащейся крови...

- О Аллах, почему Ты сделал Свою справедливость столь жестокой, а меня, а меня - невеждой, - шептал Обид-кори во время полуденной молитвы, когда он молился за всех - и правых и неправых, но более всего за запутавшихся, кто путаницей своих душ и стремлений пытается выправить узор, предначертанный Аллахом, предначертанный...

Да, жизнь сложилась так, и не иначе. Через неделю большевики выставили в назидание две отрезанные головы джигитов Ёрмухаммада - с постановлением революционного трибунала, приколотым к горлу жертв. Другие ответили тем, что в одну ночь вырезали по домам всё большевистское руководство Эски-Мооката: од однорукого чекиста Агабекова и до райкомовского мясника Кулдаша, продавшего за крупноголовую скотскую плоть свою веру. В ответ начался "красный террор", когда всё мужское население округа от двадцати и до сорока лет угнали на Крайний Север, как пособников, кто сумел - тот сбежал в горы к Ёрмухаммаду, кто не успел - того расстреляли, а вместо и во исполнение обязанностей мужского населения Мооката расквартировали здесь полк красноармейцев под предводительством татарина Чанышева.

... Урюк поспел во дворе - светлые, прозрачные шарики в листве, листве, листве. Вишня всё больше и больше темнела, невыносимо уже темнела, и дети не успевали её обрывать засветло. Ойимча варила варенья, и вместо сахара заливала фрукты вываркой виноградного сока, а ещё загустевшим сиропом тутовника. Сироп лился вязко и Ойимча, сидя у очага, водила шумовкой по kazanу вязко, вязко, медленно, вязко...

Обид-кори остался единственным грамотным узбеком в кишлаке. Одни ушли в Кашгар, других угнали на Север, третьи нашли кончину в горах и никто, никто не вернулся. Обид-кори остался единственным узбеком, когда Моокат объявили принадлежащим киргизам.

Его племянник Шир-Гази, женатый на киргизке Нороон, дочери шерстебрёя Тоголока, как единственный грамотный киргиз долины, стал первым коренным сельсоветом. Семья Тоголока, сдающая шерсть алайских овец Советам, конечно же, испортила Шир-Гази, но ещё более его испортила сельсоветская власть. Теперь он стал красным и толстым, как брюхо, а голова его сзади напоминала стриженный курдюк овец его тестя. Лишь заделавшись сельсоветом, он переписал всё население Мооката киргизами и обложил его помимо советских налогов вдобавок родовой данью, и даже пытался заручиться при этом фетвой своего дяди, но Обид-кори прогнал его со двора как шайтана, а потому так и не стал последним признанным Советской властью киргизом Мооката. Так и остался Обид-кори последним узбеком кишлака, когда Эски-Моокат стал полностью киргизским.

Между тем этот шайтан Шир-Гази делал с народом что хотел, да так, что его тесть - овцебрёй Тоголок стал страшно завидовать своему зятю, и однажды откровенно попросил того:

- Клянусь тебе Лелин-Исталином, дай мне на 15 дней своё место, дай и я понаслажусь властью!

Поначалу Шир-Гази не соглашался, но Тоголок подговорил свою дочь - красавицу Нороон, и через неделю этот красный шайтан собрал своих баранов на свой сельсовет и вынес революционное решение, что едет с проверкой по социалистическим джыйляу, а на время убытия оставляет вместо себя сельсоветом Тоголока Молдо-улы. Взамен 15 дней неистовства Тоголока, когда тот выбрил всё население Эски-Мооката, как собственных баранов, шайтан Шир-Гази

получил отару небритых и откормленных овец в урочище Кок-бель, где и провёл эти мучительные полмесяца разлуки с Советской властью.

Но дети росли, несмотря ни на что, дети росли, как наливаются гроздья винограда, грозди винограда... Ойимча вышивала им томными летними днями поясные платки, медленно взмахивая своими лебедиными рукавами-рукавами, медленно взмахивая... Шёлковыми нитками она им вписывала в пояс собственные стихи, и дети заучивали их наизусть, как защиту от навета и дурного глаза.

Почему, почему жизнь сложилась так, а не иначе? И что такое это иначе? Есть ли оно на свете, или только придумано людьми? А может быть дано Аллахом это иначе для людского утешения? Покажется Ойимча, несущая полный сават винограда, винограда, покажется и исчезнет. И только пятнышки солнечного света между, на, под, вокруг листьев, листьев, листьев, остаются вместо её гроздей, её светлых воздушных гроздей.

Не на детей нашёл навет и дурной глаз, и слава Аллаху! А на Обида-кори. Дети всё бегали на базар, нося по праздникам куриные яйца для боя, и возвращался младший, названный Машрабом, всё время плача, - сын Соата-ростовщика разбивал все яйца, о которые ломались зубы своим яйцевидным камнем, найденным на Какыр-сае. И никто не мог доказать, что это камень, а не яйцо.

Да, припомнили Обиду-кори всё - и то, что он учился в рассаднике опиума для народа, и что участвовал в буржуазно-националистическом кокандском съезде, и то, что он не прекратил верить в своего Аллаха в эпоху воинствующего материализма. А ещё вменили ему предательство Родины и измену киргизскому народу. И кто бы, спрашивается, вменил ему всё это по 58 статье? Сын Кузи-кумалака Кукаш-пучук, которого Обид-кори выучил грамоте. Теперь этот зеленоглазый сартовский отпрыск, ставший киргизом-НКВДшником, допрашивал через день Обида-кори в областной тюрьме.

Ойимча несла полный сават винограда, светлые кисти, светлые грозди винограда, винограда, винограда, когда четверо милиционеров во главе с сельсоветом - его собственным племянником - Шир-Гази - забрали его из дому, как врага народа.

И дети были на базаре, и двор был пуст, и только пятна света, пятна света повсюду, и там, и тут, лежали на земле его двора, покрытого тенью листвы, листвы, листвы. Так плакала, так рыдала Ойимча из глубины дома, вынужденная скрыться от этих номахрамов<sup>55</sup>, её безъязыкий плач доносился ещё долго после ворот, как гроздь за гроздью, гроздь за гроздью...

Виноград рассыпался по двору, Шир-Гази и четверо милиционеров шли по нему сапогами, втирая, вминая, втапывая его пятнами света, пятнами света по пустынному двору, двору, двору...

Да, жизнь сложилась так, и не могла сложиться иначе. Слова могут сложиться иначе, слова можно переписать, пересказать или перевернуть, как делает этот зеленоглазый даджал<sup>56</sup> Кукаш-пучук, но жизнь - она одна и она от Аллаха. И что мы знаем о ней? Между слов она неощутима, невесома, как лучи солнца между листвы, между листвы. И только тень листвы ловит эти пятнышки света, окружает, окаймляет, определяет, заключает, арестовывает.

В словах совершается жизнь: кто-то говорит или думает: он поступил хорошо или: он поступил плохо. Но что такое хорошо или плохо вне слов? Или же когда слова перевернуты с ног на голову - не листья отбрасывают тень, диктуемую всё тем же светом, а тень рождает листья и листья производят свет.

Тюремная решётка в маленьком окошке, куда смотрел после молитв Обид-кори, точно так же

<sup>55</sup> нечестивцы

<sup>56</sup> чёрт Судного Дня

относилась к небу с его солнцем, с его синью, с его редкими белыми облаками. Две полосы снизу вверх и шесть ржавых перехватов поперёк.

И всякий раз после допроса этого зеленоглазого даджала, когда любой из ответов Обида-кори оборачивался против него же самого, старик, совершенно отказываясь что-либо понимать, сидел на каменном топчане перед этим зарешёченным окошком и попеременно с бесконечными молитвами, возвращавшими словам их смысл, вспоминая семейную легенду Ойимчи, Ойимчи...

Дед Ойимчи по матери Мулла Тусмухаммад-охун учился в молодости в том же самом бухарском медресе Мири-Араб, где полвека спустя учился и сам Обид-кори. Однажды зимой за чтением Корана в худжре он и не заметил, что выпал снег. Да такой, что дверь худжры совсем не отворялась наружу. Тусмухаммад опять засел за Коран. А снег тем временем шёл и шёл. Три дня и три ночи шёл этот снег. Но может быть и дольше, ведь все запасы пищи - всю свою жидкую аталу<sup>57</sup> съел Тусмухаммад, отрываясь изредка от чтения. А снег не прекращался. И пища в келье кончилась, и время не останавливалось. И Тусмухаммад молился и читал Коран, молился и читал. И уже счёт дням и ночам потерял Мулла Тусмухаммад-охун. А снег не прекращался. И вот сидел он в один из бесконечных дней или в одну из бесконечных ночей, вслушивался в шорох снега и думал о могуществе Аллаха, насылающего на эту землю людей как снег - снежинка за снежинкой, снежинка за снежинкой, когда в углу его худжры раздался странный шум. И вдруг он увидел, что светящаяся курица с семью золотыми цыплятами вышла из этого угла и пересеча худжру, вышла в дверь, растворившуюся перед ней вместе с вековым снегом. Солнце светило на улице, и муэдзин призывал правоверных на молитву. А глазам Тусмухаммада-охуна стало так нестерпимо от сини, сини, сини, что ещё Обид-кори видел следы этого небесного цвета сини в глазах ослепшего Муллы Тусмухаммад-охуна.

Тогда ему сказал его учитель Хазрати Сулейман-Эшон, что семь поколений Муллы Тусмухаммада-охуна будут жить под покровительством Аллаха, и Ойимча, бедная Ойимча свято верила в это.

Ойимча. Она приезжала каждую неделю, останавливаясь у своих родственников, живущих напротив тюрьмы, и передавала ему то четки, то лепёшки, то кувшин для омовений, то тайную весточку от детей. Передавала всё это она через своих племянников, живущих напротив тюрьмы, а однажды, набросив чачван, даже дошла до ворот тюрьмы, но урус, стоявший там с ружьём, прогнал её, матеря, как последнюю собаку.

И то ладно, что навет да дурной глаз пал на Обида-кори. Ведь и младший его - Машраб уже подросток, уже стал виден, заметен, но слава Аллаху, сохранил Он его от навета да дурного глаза, как золотого цыплёнка. Видно не врос Обид-кори в род Пророка - мир ему и благословение! - мысли Обида-кори начинали путаться от бесконечных допросов, бесконечных молитв, бесконечных дум ...

Почему жизнь сложилась...

Ночью, когда на решётку - эти две продольные и шесть поперечных перекладин упал внезапный свет, и скрежет камерных дверей поднял Обида-кори, терзаемого мыслями, с железных нар - той же самой решётки - две продольных - шесть поперечных перекладин, покрытых тюфяком набитым Ойимчой - мучениям его пришёл конец. Ночная птица сверкнула крылом за решёткой, и его вывели на тюремный двор. Семь крытых "воронков" стояло во дворе, а конвоиры выводили и выводили людей.

Обид-кори дышал, наслаждаясь ночным горным воздухом, и ему было легко как некогда

---

<sup>57</sup> мучная похлёбка

Мулле Тусмухаммаду-охуну после растаявшего снега.

Ваз Зуха, вал лайли иза саджа,  
ма ваддаъака раббука ва ма кала...

Клянусь блеском дня до полудня,  
и ночью, когда распространена темнота её,  
не покину тебя Владыка твой, и не недоволен Он...

шептал он, и слёзы катились по его редко поросшим щекам.

Ойимча, Ойимча сидела посреди летнего двора и взбивала, ссучивала длинными прутьями вату, вату, вату. Руки её взмахивали в широких белых полотняных рукавах как крылья и вата, цепляясь за медленные, медленные, медленные прутья, взлетала, взлетала, взлетала вслед за ней, как небесные облака, облака...

Их погрузили в воронки и отвезли на станцию. Там их пересадили на товарный вагон, зарешеченный, как и в тюрьме - две продольные и шесть поперечных прутьев и повезли медленно-медленно-бесшумно-медленно по железной дороге. Сквозь дыры и щели в полах она проглядывала - эта железная дорога - две нескончаемо продольных и бесконечно, бесконечно, бесконечно эти шесть поперечных перекладин, и уже казалось, что будто бы и землю заключили, или же их, едущих в этом зарешёченном товарном вагоне отлучили от земли.

Почему жизнь... Душа Обида-кори летела над землей, оставляя на ней Ойимчу, Ойимчу, и дети бежали за ней, простоволосой, как грозди винограда, грозди винограда...



## Глава 20

Во время сталинского набора в партию от станка, в Гиласе, как оказалось, не оказалось станков. Нет, был один - в школе имени Октября, в мастерской труда, но никто им не умел пользоваться, не зная, против чего он. Присматривал за ним школьный сторож Абубакир-настой, получивший этот пост от своего отца - сторожа царских времён, но этот Абубакир был настолько стар, что партия резонно решила не трогать его - не умирать же ему коммунистом!

И всё же партия нашла ответ и на эту директиву: было решено принимать в набор не только от станка, но и от кетменя, от швабры, от сапожной щётки - словом, любого пролетария и пролетарку Гиласа. Киномехаником Ортиком-аршин-малаланом срочно был написан и размещен лозунг: "Пролетарии всех махаллей Гиласа, собирайтесь во дворе школы!" - и тут же старший участковый Кара-Мусаев-младший заставил пьяного монтера Болту взобраться на базарный столб и навесить полотно на единственный Гиласский репродуктор, попутно разъясняя всему запоздалому базару неотложный смысл лозунга и точное время сбора.

На призыв партии откликнулся лишь глухой уйгур Кун-охун, который по глухоте своей имел привычку откликаться на все уличные призывы, однако откликнулся он на этот раз потому, что его жена - Джибладжибон-бону решила, что в школе, как во время выборов в Верховный Совет, наверняка будет распродажа.

Достав из сундука припрятанные деньги, она заставила умыться своего чёрного от копоти мужа - станционного грузчика, надела на него пижаму, купленную как летний костюм у Хошима-проводника, аккуратно заправила брючины в единственные хромовые сапоги, оставшиеся ей от отца-скотопромышленника и отправила мужа вступать в партию, дескать, как знать, может быть, и вас сделают человеком наподобие Октама-уруса...

По дороге в партию Кун-охун наткнулся на косоного татарина Тимурхана, отдохавшего на опушке железной дороге от любви к мордвинке Мурзиной.

- Куда идёшь? - спросил Тимурхан из безделья.

- Нет, не могу, - отвечал ему глухой Кун-охун, думая, что тот по привычке ищет себе напарника выпить.

Тогда Тимурхан направил на него другой глаз из двух косых и спросил в упор:

- Займи десятку!

- В партию! - гордо произнёс Кун-охун.

- Иди на х..й! - сказал Тимурхан, разводя опять по горизонту два своих разнофокусных глаза, но этого ему не мог простить разомнувший свой слух Кун-охун. Ни как грузчик, ни как кандидат. Завязалась потасовка, в которой косоной Тимурхан всё норовил врезать грузчику между глаз, а размашистый и глухой Кун-охун лепил одну за другой оплеухи маленькому, но юркому любовнику мордвинки. На этот шум, паля по воздуху, чтобы списать проданные Кузи-охотнику патроны, устремился старший участковый Кара-Мусаев младший, наклеивавший последнюю афишу о сборе пролетариев на дом Ортика-киношника - уже в стельку пьяного от полученного партийного гонорара. Завидев палящую власть, сплетенные в клинче Кун-охун и Тимурхан ринулись, как два сиамских близнеца, по железнодорожной насыпи в сторону пакхаузов, нырнув по дороге под первый встреченный стоячий вагон. Кара-Мусаев пустил им вслед последний патрон и довольный тем, что теперь баланс сходится, пошёл к себе в участок, составлять акт.

Эти же двое бежали вслепую и вглухую в коридоре между двумя составами, пока не споткнулись о зад однорукого Наби-пропагандиста, который торчал над рельсом, пока сам Наби воровал под вагоном просыпанные с транспортёра хлопковые семена - для соседских коров - по тридцать рублей за мешок. Перепуганный Наби пулей выскочил из-под вагона, подымая свою

единственную руку для сдачи в плен, и плюс как смягчающее обстоятельство, но, увидев двух катающихся на камнях мужиков, решил, что стоило только умереть товарищу Сталину, как эта буржуазная зараза, эта чума прошлого - бесакалбазлык<sup>58</sup> тут как тут вернулся в Гилас!

Почуяв ситуацию, Наби не стал опускать своей единственной руки, а более того, вскинул к небу ещё и указательный палец, и вдруг стал гневно обличать этот позор, призывая в свидетели Аллаха, которого он не вспоминал вот уже 29 лет, с тех пор, как пошёл в школу в год ленинской смерти!

- Мандан уялмасайла Оллодан уялмийсизми! Кадрдон дохиймиз Исталин уртоклари улиб турган бир пайтга кип турган ишийлани карайла!<sup>59</sup>

Эти двое уже сидели на прищпальных камнях, не понимая, в чём их обвиняет винторукий Наби, когда вдруг разверзлись небеса и труба Страшного Суда - ф-фу! - предупредительный гудок маневрового паровоза Акмолина предварил страшный удар, после которого вагоны за спиной непримиримого Наби, брызжущего обвинительной слюной, поехали. И вот когда накатил последний вагон, когда запал Наби стал иссякать на глазах, когда глухой Кун-охун и косой Тимурхан сидели перед ним, как ученики перед звонком, с подножки вагона прыгнул ученик дорожных дел мастера Белкова - Таджи Мурад с двумя флажками и одним свистком, и вдруг так заверещал своим единственным свистком, так размахался своими двумя - красным и желтым флажками, что состав, скрипя неожиданно тормозами, стал ровно настолько, чтобы из-под последнего вагона вылезли следы преступления Наби, который хотя и крутил судорожной головой, но всё же не опускал своей единственной руки, как единственного смягчающего обстоятельства...

Честно говоря, в другой раз Таджи Мурад ничего бы и не заметил, ведь однорукий Наби таскал каждый пятый мешок его матери - подслеповатой Бойкуш, но здесь, когда уже пахло групповым расхищением социалистической собственности и еще в такое трудное для страны время, молчать Таджи Мурад не мог. Теперь в промежутке между свистками, от которых вздрагивал и глухой Кун-охун, и флажковыми отмашками, за которыми не мог уследить и косой Тимурхан, он стал обвинять их ещё в более страшном преступлении.

- Ещё не остыл прах дорогого товарища Сталина, - кричал он на два горизонта, - а вы уже создали бандитско-троцкистскую международную организацию, чтобы хитить, - так и сказал, - хитить! социалистическое имущество и хозяйство!

Таджи Мурад совсем недавно вернулся из армии, а потому в отличие от Наби-однорука, никуда из-за своей нестройной однорукости не выезжавшего, обвинял их по-русски, и от этого уже пахло его служивой Сибирью...

- Блядь, я те говорил - пошли пить! - шептал Тимурхан на ухо глухому Кун-охуну, - теперь Нинке расскажут...

От этой мысли ему стало нестерпимо грустно, так что из двух его автономных глаз вытекло невпопад две слезы. Ведь и впрямь, в прошлый раз, когда на станционном суде железнодорожной чести судили какого-то Шиштаковича, и вся станция подписала ему приговор за антинародную музыку - от Толиба-мясника, ничего кроме топора и своего члена в руках не державшего и до подслеповатой Бойкуш, державшей лишь однажды то же самое, а Тимурхан, как второй станционный интеллигент после Мефодия-юрфака, не стал подписывать ничего, поскольку никаких русских песен кроме "Камыша", наученного ему Мефодием, не знал, Нинка-мордвинка - эта Кармен с вишнёвыми глазами, не давала ему за индивидуализм и психологию мелкобуржуазного собственничества целых три года, аж до самого процесса врачей...

<sup>58</sup> букв. "игра с безбородыми", т.е. педофилия или гомосексуализм

<sup>59</sup> - Коль не стыдитесь меня, так постеснялись бы Бога. Тем временем как умер наш дорогой вождь, товарищ Сталин, тем временем, смотрите, чем вы занимаетесь!

Всё это время Тимурхан люто проклинал пресловутого Шиштаковича по уборным и по ночам, но зато на врачах он отыгрался сполна - за все три года сухостоя!

И вот теперь опять... Хоть под поезд ложись!

Как будто услышав эту горестную мысль, соседний состав тяжело зашипел, закрипели колёса и медленно-медленно сдвинулись вперёд. Чужая неотвратимая походка, Тимурхан вдруг вскочил, пробежал на один вагон по движению и на глазах у всех положил голову на рельсу. Все оцепенели... И даже Наби с испугу опустил свою затёкшую руку. Колёса медленно надвигались на лежащего косыми глазами к ним Тимурхана. Казалось, эти самые глаза смотрят одновременно на всех троих, остающихся виноватыми на этом свете... И тогда глухой Кун-охун не выдержал предстоящего крика и, вскочив - в восемь шагов оказался около татарина, чтобы рывком - как мешок угля или лука - выбросить его из-под наезжающих колёс! Тимурхан хрипел в каком-то предсмертном экстазе, пытаясь уйти под вагон, Кун-охун налёг на него и внезапно почувал, как в пылу борьбы уже сам оказывается под колёсами, и с мыслью, что так и не вступить ему в партию, резко распрямился, как комиссар на фотографии у сельсовета Турды Али-фронтвика. Как это случилось - известно одному Аллаху, но колено Кун-охуна оказалось на горле у хрипящего Тимурхана, и тот, трепыхая в такт стуку колес последних вагонов, вдруг затих, смывая с лица своими мутными слезами свою же пену с губ.

- Тувая исмерт тпер яптуваямат на мине пирдот! - выматерился Кун-охун и отпустил щуплого татарина.

Таджи Мурад и Наби-однорук, наблюдавшие немо за этой сценой, столь же немо пропали будто бы за помощью, прихватив заодно и мешок с хлопковыми семенами, Акмолин дал свой гудок на обед, и тогда заплакавшийся Тимурхан уставился разнокалиберными глазами на потрёпанную одежду грузчика и спросил совершенно трезво:

- Чё ты одел пижаму?

Кун-охун то ли не понял, то ли не расслышал вопроса и как всегда невпопад ответил:

- Миподий-юрпак изнает!

Чтобы не посылать его еще раз на х..й и тем самым не навлекать на свою голову нового круга бед, Тимурхан вяло махнул рукой и согласился.

- Пайдум ки ниму! - предложил Кун-охун, и они, опираясь друг на друга, пошли в сторону хлопзавода к Мефодию-юрфаку - первому интеллигенту Гиласа. А показалось тогда Кун-охуну, что Тимурхан спросил его о возможных последствиях случившегося и его предстоящей партийной судьбе, ну, скажем, сказал:

- Чё теперь будет с нами? - и ответить на этот вопрос мог и впрямь только лишь Мефодий, к которому охотно согласился идти Тимурхан, поскольку знал, что к Мефодию без бутылки не ходят. Об этом знал, впрочем, весь Гилас: вливаешь в него бутылку "бормотухи", и она вытекает из него бесплатной консультацией по любому праву - от римского и до колхозно-семейного.

Так вот, пока еще нервно вздрагивающие Кун-охун и Тимурхан ждут на солнцепёке возвращения с обеда Фёклы-шептуньи - продавщицы хлопзаводской лавки, а Фёкла-шептунья потешается внутри полуденного маневрового паровоза с учеником Акмолина - Харисом-гастролёром, два слова о Мефодии, что лежит у себя в бараке за пакхаузами, не зная чем опохмелиться после вчерашней консультации.

Дело в том, что Мефодий был будто бы последним побочным сыном великого русского путешественника Михаила Пржевальского, отметившего своим пребыванием огромные пространства от Кавказии и до Такла-Макана. Мать его - вдова из первого поколения туркестанских колонизаторов, простиравшая за господином, едущим во внутреннюю

Монголию открывать свою лошадь, во время одного из полосканий белья, когда она привычно подворачивала юбку доверху, была взята великим путешественником и только после Великого Октября призналась в этом сыну и родне. Пржевальский, как известно, умер, не дождавшись Октября, а потому Мефодий, посланный бывшим Туркестанским Географическим обществом учиться в Москву, начал знакомиться с делами и подвигами своего побочного отца лишь в Румянцевской библиотеке. Там же среди поколения новых штурмовиков науки, к которой Мефодий, кстати, не имел никакого положительного интереса, он обнаружил, что одновременно почти десяток людей исследуют исследования Пржевальского, а наиболее ценные письма и дневники и вовсе запрошены Кремлём.

Кто именно знакомится там с наследием усатого путешественника Мефодий так и не узнал, зато он выследил троих в библиотеке. Несмотря на расовые, этнические, возрастные различия, все трое выслеженных были усаты и дышали не бесцветным и хилым потом науки, как все остальные кругом, а как жеребцы - некой жизненной, степной, неукротимой силой! Три месяца и три дня Мефодий исследовал их привычки, места стоянки, пункты питания и жилья, что и пробудило в нём интерес к юридической науке, и он легко и охотно перевёлся с географического факультета на юридически-криминальный. Почему легко? А потому что в то время геофак был престижнее юрфака, поскольку по окончании его всегда была возможность умотать с концами куда-нибудь помимо зоны, которую и лишь которую обещал юрфак. Но Мефодий об этом не догадывался. Он лишь продолжал своё теперь уже не исследование, а расследование согласно юридической науки.

Так, устроив при библиотеке юбилейный коллоквиум на тему: "О путях поимки в степях и методах размножения в неволе лошади Пржевальского", он обнаружил ещё одного усатого, но уже редкоусого монгола, вкупе с тремя прежними наиболее активно и горячо выступавшего в прениях, потом сблизившись с ними, он с ужасом обнаружил, что матери каждого из них, включая безымянную арабку и монголку по имени Гумджадаин Бангамцарай подстирывали за господином рубашки и панталоны, пока он гонялся за лошадьми.

Этот монгол и сообщил Мефодию, который к тому времени отпустил наследственные усы, что в Петрограде, в библиотеке Салтыкова-Щедрина он встречал ещё троих коллег по разысканиям. При выезде на место для разбора, Мефодий обнаружил, что один из них и вовсе безус, к тому же его мать никогда не была прачкой, а интересуется он Пржевальским лишь потому, что занимается изучением распространения стихийного материализма по царским окраинам, но этот безусый юнец и назвал Мефодию точную цифру прачек путешественника - восемь. Мефодий быстро сообразил, что с монголом и арабом их оказывается 7 братьев, но кто же тогда восьмой?

Этому вопросу Мефодий посвятил весь остаток своего обучения и своей жизни до 37 года.

А-ба! А вот и Фёкла-шептунья вернулась с обеда и, озираясь по сторонам, шёпотом спросила время. Узнав, что задержалась на полчаса, она быстренько стала обвинять всё тем же шёпотом и глухого Кун-охуна и косоного Тимурхана в безделии и пустом времяпровождении. И только когда Кун-охун отдал половину сундучных сбережений своей жены Джибладжибон за три бутылки без сдачи, она, зыркнув последний раз по сторонам, исчезла под прилавком.

Они пришли к Мефодию в барак в то время, когда тот в бреду безопахмелки вспоминал статья за статьёй Гражданско-Процессуальный Кодекс, заученный им наизусть вслед Уголовно-Исправительному в Соловках, но почему-то дважды сбивался на Карагандинский УПК и однажды даже на Земельный Кодекс, вызубренный им на вольном поселении в Чите на улице Назара Широких.

После первой бутылки он восстановил ГПК в памяти не только по статьям, но и по частям, включая Комментарии. Правда, во время второй эти двое спрашивали совсем о другом: один - о партийных последствиях, другой - о ночной пижаме. После третьей Мефодий свёл обе эти

посылки воедино, но в это время разгорячённый грузчик был послан во имя Партии чуть ли не погибшим любовником за новой порцией, и по дороге, обстрелянный сторожем шерстьфабрики Мукумом-пистирма всё по той же заботе о патронах для Кузи-итотара<sup>60</sup>, вернулся ползком, проделав за час окружной манёвр мимо шерстьфабрики и хлопзавода.

Две первые из второй серии они пили молча, извне казалось, что люди скорбят вторую неделю по смерти вождя. После третьей (часть два) Мефодия-юрфака развезло окончательно и бесповоротно. Он не только свёл воедино в своём сознании все заученные им по лагерям Основы, кодексы и комментарии, но почему-то полез в свой интеллигентский портфель, служивший ему по ночам подушкой, днём - столом, а в промежутках - сундуком, в коем он хранил нажитое за всю свою жизнь, и достал оттуда какую-то зачитанную книгу, дабы размахивать ею как Кодексом Кодексов, Основами Основ, Комментариями Комментариев, крича оглохшему Тимурхану и окосевшему Кун-охуну, что он докопался до истины, и что он всегда её знал, и что, наконец, обращаться к нему нужно не по имени Мефодий, а звать его Вениамин... Пока он кричал эту чушь, книга выпала из его рук, и Тимурхан, доползший до нее из сострадания, прочитал вслух:

- Т-т-о-мм-масс Ммма-ннн... И-и (здесь он икнул от волнения) - йок...сифф и-и-е го бррр... - ать! Я!

- Да! - завопил Мефодий-Вениамин, - да, именно! Он прокричал это в какой-то горячке, а потом и вовсе стал бессвязно пересказывать столь жуткую историю о ссылках и изменах, о царствовании и голоде, что потом по трезвянке ни вновь окосевший Тимурхан, ни заново оглохший Кун-охун не осмеливались её вспоминать ни при людях, ни в одиночку, ни вдвоём перед новой опохмелкой...

Единственно, что запомнил Тимурхан из этой истории об Иосифе - то, что мать его была прачкой, и почему-то этот скромный факт будоражил Мефодия больше всего.

- Ммма-ть ег-гго была прачкой, братть-я! Вы понимаете... - плакал он, и Тимурхану ничего не оставалось, как прервать его трезвым:

- Ну не пи..ди!

А то, что запомнил простодушный Кун-охун и вовсе никак не умещалось в голове: партия, Сталин, Джибладжибон, и почему то еще этот Юсуф, который не только правил, правит, но почему-то еще и будет править. Неужто этот самый Юсуф-сапожник? Тогда причём здесь товарищ Сталин?! И тогда он тоже повторил за Тимурханом:

- Ну ни пи..ды!

- Не ввве-рришь?! Не вверишшшь?! - Мефодий не знал, чем еще можно убедить этого косоглазого и того глухого. И вдруг он заплакал: - Ссы-ы мне на голову, если не веришь! Ссы при всём народе!..

Пока Кун-охун соединял очередные концы заданных ему этими интеллигентами мыслей на промежутке между Юсуфом и Джибладжибон, его вдруг обожгла догадка о той самой измене, но то была, как оказалось, огнестрельная рана, когда расставшись вместе с последними сундучными сбережениями жены, а вместе с ними и с мечтой о партии, они втроём пробирались под обстрелами сторожей станции и проводников товарных составов мимо пакхаузов и к пустому базару.

И тогда, в присутствии Хуврона-брадобрея и Юсуфа-сапожника и вправду свершилось то, в чём убеждал бедный Мефодий: Тимурхан неотвратимо произвёл гражданскую казнь над пьянчужкой-интеллигентом - братом своих несчастных братьев, заставив обожжённого от догадки и от раны Кун-охуна стянуть с себя летнюю пижаму, запроваленную в сталинские брезентовые сапоги, и забравшись на табурет от Хуврона - вымочиться изо всей своей ненависти к

<sup>60</sup> Кузи-собакострел

будоражающей смуты интеллигенции на редковолосую и широколобую голову сына прачки и путешественника.

- Я Вениамин, я Веничка, - плакал он особенно густо, когда осторожный Юсуф, мочившийся обычно на будку Хуврона, решил воспользоваться оказией и справил свою целодневную нужду по соседству с Кун-охуном. - А он Иосиф... - плакал Мефодий и слёзы его мешались с двумя струями мочи, пока он показывал куда-то наверх, то ли на Юсуфа, то ли еще выше в поднебесье...

Никто тогда ничего не понял. Да и потом никто ничего этого не вспоминал. А что было и вспоминать? Разве что пятно от испарившейся мочи? Это тогда-то, когда умер Иосиф Сталин!

Да, но как бы то ни было, так и остался Гилас без коммунистов иосифо-сталинского призыва...

## Глава 21

Но однажды второму секретарю стацкома партии Гоголушке был голос. Посреди ночи он сказал ему: "Сри, Николай, Мы всё уберём!", и Гоголушко впервые без напряжения и утайки в животе испустил копившуюся в нём природу. Утром его разбудила жена, острая на запахи, и Гоголушко с ужасом обнаружил, что в день предстоящего бюро стацкома весь измазан своими испражнениями, но мёртвое воспоминание сильнее, чем живое ощущение, заставило его сердце учащённо забиться, и он откровенно отбросил перед женой стеганое одеяло пятнами наружу. Жена - дура, потеряла дар речи, а потом и вовсе запричитала, как по покойнику, и как по покойнику, стала вдруг брызгать на постель тройным, четверным, пятерным одеколоном. Гоголушко же, лёжа среди тлеющей постели, видел то, что было невдомёк бедной дуры - ей.

Одно смущало Николая - то, что Они не убрали обещанного, но слаб духом тот, кто мерит всё такими пустяками, которые способна исполнить любая прачка или уборщица - та же тётя Лина из стацкома, впрочем, дочь греческих коммунистов, но как бы то ни было, с того дня, или вернее, ночи, Гоголушко получил призвание.

В чём? А в том, что два года, пользуясь своей партийной властью, он проникал по ночам в местную пекарню, где поначалу просто вымазывал свои канцелярские руки общественным тестом, а потом из безделия, замешанного на позыве, стал лепить всяких чёртиков, которых затем ему в помощь выпекал в печи замсекретаря пекарненской партиячейки, замысливший стать главным технологом производства. Тихо-потиху был и вовсе открыт цех штучной продукции, откуда шли в магазин Зухура кривые, растёкшиеся, но густо пропечённые чёртики да ведьмарки Гоголушки, которые поначалу скупала лишь Джибладжибон, скармливавшая их своим курам, а потом, когда народ догадался, что вся эта нечисть выпечена из муки высшего сорта, то четверть скотоводов Гиласа отказалась от услуг однорукого Наби, таскающего ворованный кунжут, в пользу творчества второго секретаря стацкома. В это же время с огромной помпой были устроены две персональные выставки скульптора-самоучки-примитивиста на станционном партхозактиве и ещё где-то по протекции друга Гиласа - Петра Михайловича Шолох-Маева.

Правда, когда под знаком одобренной партийной инициативы, всё это дело было поставлено на конвейер, сам Гоголушко поскучнел и в тоске запил.

И тут началась его вторая жизнь. Пил он крепко и прежде, но теперь после падения на него ноши избранничества он запил по-горькому. Тринадцать раз подряд он впадал в белую горячку, когда те самые выпеченные чёртики приходили к нему и плясали вокруг, как фигурища Матисса, пытая его - почему, дескать, он совал их в эту пекарненскую печь - геену огненную? Именно тогда, в отчаянии, он стал считать всех тех, кто закусывает - всего-навсего бытовыми пьяницами и среди них первым Мефодия-юрфака - этого недоучку, недопойку... От Гоголушки тогда ушла жена, ушёл дорожных дел мастер Белков, разбивший о раскисшего секретаря свою веру в коммунизм, но с Гоголушко осталась партия.

Дело в том, что Первому Секретарю стацкома - Бури-бузруку Гоголушко своими запоями не мешал, напротив, теперь бесподконтрольный Бузрук протаскивал в обезнадзоренную партию всех своих родственников, родственников родственников, их кумовьёв да сватьёв. Угрюмо-мрачный Гоголушко, привозимый раз в неделю на бюро, молча вскидывал руку и изредко подыкивал в согласие. Первый обильно снабжал своего Второго недельным комиссарским пайком, а тут ещё и тот самый бывший замсекретаря пекарненской партиячейки Марлен, изменивший с помощью Оппок-ойим своё имя на Марлеона, тот самый Марлеон, который благодаря вовремя поддержанной партийной инициативе перескочил через главного технолога в заворги стацкома, тот самый завоорг, что метил уже в третьи секретари, пристроил Гоголушку в сандиспансер к Жанне-медичке, оформив всё это под видом новой инициативы партии по проверке устойчивости

человеческого организма к опыту, который не был доведён до конца великим дореволюционным психологом советской школы Павлова - академиком Бехтеревым.

Узнав про это на бюро после тринадцатой белой горячки, Гоголушко таки закусил в тот вечер от тоски после бутылки неразведённого спирта куском гипса, снятого прежде с чьей-то ноги, и той же ночью, там, на хирургической кушетке ему опять был всё тот же голос: "Николай, чти!" Николай понял это как призыв к чтению и наткнулся лишь на неразборчивый текст, мешавшийся в его полуоткрытых глазах с противопожарной инструкцией, наклеенной на несгораемый металлический шкаф Ишанкула.

Глубоким утром, свесив свои ноги с кушетки, Гоголушко силился претворить тот позыв, но что читать, он убей - не знал! Полый позыв был столь силён, что на всякий случай после этого читать всё, что попадётся под руку: от лозунгов Кара-Мусаева-младшего до воКобил Гумера-слепца, от Осmano-Бесфамильнинского "Советского спорта" и до белиберды Мефодия-юрфака, а ещё, а ещё он стал скупать, а вернее, реквизи́ровать все возможные книги - от "Основ взрывного дела" и до "Розария тайн" Шабистари. И всё-таки мистика в нём победила. Он не только бросил пить, но и стал менять четыре книги Сименона из стацкомовского спецкиоска на "Геммы масонской мудрости", или же три досрочно списанных стацкомовских кожаных кресла на арамейскую книгу о Кабале - родовой гордости Юсуфа-сапожника. Басит-заорг нёс ему Суфи Оллояра взамен на неостребованные партвзносы с Файзуллы-ФЗУ, Хуврон же-брадобрей - "Маснавии Мавлави" - в обмен на высылку его сына-убийцы своей жены - парикмахером в ближайшую к станции колонию.

Увы, увы, увы, ничего этого наменянного Гоголушко читать не умел, книги копились, как чужие мёртвые души, позыв же от неутолённости лишь крепчал, и вот однажды ночью во внепартийной тоске Николай записал!

Первые десять книг своих письмён в неизвестность он прочёл лишь заворгу-Баситу, и тот из партийной преданности не только выслушал всю эту белиберду от начала до конца в течение своего трудового отпуска и части командировки в первички, но и заметил: "М-да, интересно...!" Может быть, может быть, да только теперь уже не Гоголушке! Неизвестное теперь само стучалось в дверь головы Николая. Однажды, пригласив к себе через курируемого Кара-Мусаева-младшего Занги-бобо, он имел неосторожность показать тому несколько своих манускриптов, и вот один из них в несшитых листах о путешествии души по миру в поисках Источника Жизни и прочёл на своём ломанном русском, которым, впрочем, говорило к тому времени больше сотни миллионов людей, собиратель русских и всех прочих говоров - старик Занги. И в ту ночь Гоголушко, наконец, нашёл свой Промысел!

Читай, Читатель! Читай дальше, как Николай вычертил по глобусу стацкома треугольник мира и изъял из секретного сейфа курируемого Османа Бесфамильного - по его пропаже без вести - священный камень Алмагеста, управляющий миром. "Смотри,- говорил он своему верному партийному прозелиту Баситу, - этот камень - центр мировой гравитации. Переверни его и ты ощутишь, что он легче в десять раз, чем сейчас!" Басит послушно переворачивал камень, которым Осман в своё время заколачивал гвоздь в ботинке и прикрывал дверь от сквозняка, но ничего не ощущал, хотя на случай незнакомой директивы согласно подкивывал головой. Возбуждённый Гоголушко предлагал взять ему камень в другую руку. Тот брал неровный бульжник, но опять ничего не чувствовал, хотя опять соглашался, что гравитация здесь совсем другая - нелинейно-многомерная!

Увы, хоть и извёл Гоголушко простодушного Басита, подозревавшего во всём хитросплетения партийной линии, и даже заставил постричься последнего наголо и сопровождать в командировку за счёт стацкома пусть не в Тибет, но к ягнобцам на Крышу Мира, но Источника Жизни так он и



не нашёл, поскольку к тому времени партия отлучила его от себя и прекратила всякие субсидии на его неуёмную душу. Вернее, отлучила его от партии Оппок-ойим, когда, пользуясь не Алмагестом и не знаком, полученным на Памире, а своим секретарским местом, Гоголушко попытался реквизи́ровать разгулявшееся наследие Гумера, как идейно-враждебную литературу, а на самом деле ересь антигоголушскую.

К этому времени относится знаменитая в Гиласе переписка между Гоголушкой и партией, за которую аргументированные ответы писал закупленный к тому времени Оппок-ойим на полный пансион Мефодий-юрфак. Гоголушко отрекался в своих покаянных письмах от всего, что натворил на бюро и секретарских часах стацкома, а ещё вдобавок оттого, что накопил, как секретарь, призывая всех товарищей поступить также. Этого отступничества партия ему никак простить не могла, а потому она не только ответила сокрушающими филиппиками Мефодия, в которых говорилось об измене своим благородным идеалам, но и на ближайшем бюро вышестоящего узелстацкома, которым руководила от общественности сочувствующих партии сама Оппок-ойим, рассмотрела персональное дело отступника от дела коммунизма Гоголушки Николая Васильича. Словом, на реквизи́тора нашлись экспроприаторы, и все рукописи Гумера гамбузом перекочевали в руки Оппок-ойим.

Оппок-ойим не успокоилась на этом. Тем же решением за бесконтроль Бури-бузрук был снят с поста и отправлен ответственным за блох и вшей на санэпидстанцию, поскольку "паразит", как назвала его разбушевавшаяся Оппок-ойим, другого места не заслужил. А вместо него, продолжать его бессмертное дело был посажен тот самый Басит, который - Иуда! - всё это время играл роль верного прозелита и неопфита Гоголушки!

"На всякого Христа есть свой Иуда!" - думал Николай, возвращаясь с вышестоящего узлового стацкома на саму узловую станцию, и жизнь ему казалась испражнениями, размазанными по жизни. С чего всё началось и чем всё кончается... Нет, не давнишнем исполненном во сне позыве вспоминал он, просто весь промежуток между рельс был вымазан этими самыми испражнениями с проезжих поездов, а впрочем, не так ли и его жизнь? И тут что-то неуловимое мелькнуло в сознании Николая, как будто на мгновение заискрился контакт и тут же пропал, и он тут же полез в портфель за ручкой и блокнотом. Но подошедший в это время из-за спины пригородный поезд 16.48 спутал все его мысли, и Гоголушко инстинктивно ринулся на платформу, схватив незастёгнутый портфель двумя руками. Когда, заскочив на платформу, он добежал до хвоста состава, поезд дал гудок, и опешивший Гоголушко успел лишь просунуть этот самый портфель в закрывающиеся автоматические двери проклятого рижского вагона, и поезд тронулся. Гоголушко засеменял за ним, пытаясь протиснуться в дверь или же на худой конец вытащить свой незастёгнутый портфель, но проклятые прибалты делали всё на славу! Дверь не подавалась. Кончилась платформа. Оборвался бег и крик, свист и путь. И портфель Гоголушки уехал...

"Всё! - отозвался всё тот же голос, и необычная полнота этого "Всё", в котором утонуло, исчезло, пропало, изничтожилось куда более меньшее всё Николая, охватила Гоголушку. Долго он стоял у обрыва этой платформы, глядя вслед уходящему пригородному поезду и оставшимся вслед ему рельсам. Вот так...

Нет, не сошёл он с ума, куда дальше? - и не бросился под следующий поезд - куда всё более прозаичнее, он дождался следующего пригородного и доехал на нём до следующей станции. Позаследующим - на позаследующую. И так до самого Гиласа - далеко за полночь. Портфеля не сдавали никому.

Проспав на скамейках станции под гудки Акмолина да сверешание Таджи-Мурада до предрасветного скорого из Москвы, откуда был сброшен детишкам свёрток, он пошёл, как

озарённый, обратной дорогой пешком. И вот идёт человек по шпалам железной дороги, вглядываясь в каждый отброс или намокшую-высохшую-описанную-обветренную бумагу, и изредка, а может быть ещё реже - в три четверти, а то и вовсе километр подбирает что-то и стоя там, на полотне, читает. Куда он идёт, этот дервиш Николай Гоголушко? За портфелем, сумой, хурджуном...

## Глава 22

Жена Кун-охуна, мочившегося каждое воскресенье на лысую голову Мефодия, на которой не держалась теперь даже моча, Джибладжибон-бону была калмычкой.

Кун-охун сам родился в Китае, в Синцзян-Уйгурском районе, который всегда назывался Кашгаром, и происходил он - этот самый Кун-охун из какой-то династии последних уйгурских царей, а потому с четырнадцати и до семнадцати лет провоевал с винтовкой против китайских оккупантов, пока его не предали свои хотанские купцы, а продали они его маоистам за три места в военном парткоме и за базаркомство на хотанском воскресном базаре, так что юношей отсидел Кун-охун пяток лет в пекинской тюрьме, а потом, поскольку его надо было высылать куда подальше, а дальше Синцзян-уйгурского Кашгара был только братский Советский Союз, то выслали его среди перебежчиков в Казахстан, а уже оттуда Мулла Ульмас-куккуз, который в перерывах занятий с рязанским учителем математики, коротал вечера за героическими тюркскими рассказами со своим воинственным единокровцем, после объявления его первым фронтовиком Гиласа, привёз с собой двух своих сосыльников - Кун-охуна и его будущую жену - Джибладжибон-бону в свой родной Гилас.

Так вот, жена Кун-охуна, с которым за воинственными рассказами о тюркской старине, коротал свои ссыльные и ветеранские вечера Мулла Ульмас-куккуз в перерывах занятий с рязанским учителем математики, а потом между любовью с заждавшейся Оппок-ойим - Джибладжибон-бону была ссыльной калмычкой. Её сослали вслед за мужем, первым секретарём, прохуdivшимся перед партией, и этот первый секретарь, потерявший за обильным секретарством все навыки простой степной жизни, быстро скончался, так и не доехав до исторической родины - Надмонголья, зато Джибладжибон, потерявшая всё наетое за время правления мужа, осталась при чёрном живучем теле, которое оказалось на редкость упорным и в той же мере религиозным. Казалось, сошло с неё всё советское, а остаток оказался древнее древнего - целыми днями она лепила будд из черного хлеба, из-за которого дрались остальные. Именно таких ели у неё с неким привкусом недоумения Мулла Ульмас-куккуз с Кун-охуном, а дважды в год - на масленицу и Рождество и этот странный да болезненный сельский учитель из Рязани по нерусскому имени Исаич...

## Глава 23

Мальчик засыпал уже не помня где: на кладбище или на чердаке - повсюду была одна ночь, полная безмолвия и сна, и снилась ему иная жизнь, давно забытая им - кишлак, лежащий в котловине гор и видный отсюда, с перевала, как на ладони - каждой линией своих улиц и дворов, обсаженных высокими пирамидальными тополями, мимо которых мальчик шёл ко двору, где он родился.

Как будто кто-то невидимый сопровождал его в этой дороге и расспрашивал его: "А рассказика, что у вас здесь? А здесь?" И он легко, как можно говорить о том месте, где родился и рос свои первые годы, рассказывал как самому себе, идущему за собой - этому невидимому. Вот, - говорил он, - парк, в котором он бегал с другими детишками детского сада, играя в гуси-лебеди, а воспитательница играла тем временем на баяне и пела о мерцающих звёздах и о слове, что связывало мальчонку и Наденьку - о любви. Тополя здесь были просторны и полны воздуха, который летом был синего цвета, а к осени превращался в прозрачно-жёлтый, кружащийся вместе с плавными и медленными листьями, как вода вокруг рыбок в аквариуме.

А вот навес, что называется в колхозе сараем; в этот сарай их приводили после занятий в школе, и здесь, сидя на мешковинах и фартуках, нагруженных только что сорванными, а потому тёплыми и липкими табачными листьями, они в кругу нанизывали эти листья на бечёвки для просушки. Руки от иглы, похожей на шашлычный шампур, а больше от самих нанизываемых листьев становились липкими и душистыми, и когда их грязь, мажущейся по лицам, не могла сносить учительница, они отправлялись отмываться и забирались под вывешенные длинным-длинным рядом листья, и в этом дурманящем пространстве высыхающего табака, живой земли и тёплого солнца, лежали до тех пор, пока не приползали за ними следующие, а потом и сами девочки.

А вот здесь, на болотах Какыр-саем, где только начни бегать босиком и пойдёт холодная и грязная жижица между пальцев, они пришли играть в футбол с караванцами...

Но не об этом он хочет рассказать. Он хочет рассказать о своей бабушке. Нет, не об этой, от которой он ушёл, о другой, о той, к которой и ведёт своего незримого спутника и кому рассказывает какая удивительная у него бабушка. Вы знаете, высоченная и худая. И если сказать по правде, похожая на грифа. У бабушки Ойимчи не нос, а огромный клюв, и глаза от этого очень острые. Но это ничего, хотя в детстве одно время он сам её боялся как коршуна. Не из-за вида, нет, просто мама...

Так оно и случилось. Этой зимой она приехала за ним, и он стоял на базаре со своими лепёшками, когда Озода - племянница Оппок-ойим, сказала, что к нему приехали опять, и все расхохотались, а расхохотались они потому, что знали уже о письме Рузи-жинни, и мальчик не успел подумать о случившемся, как увидел, что по снегу, засунув ладони в рукава наперекрёст, вся в чёрном, высокая и страшная, шла его бабушка. Казалось, горная птица опустилась на их вонючую станцию, и мальчишка, против своей воли, силой, наверное, незапамятной памяти весь сжался как мышонок, не умея оторваться от этой картины, которая запечатлелась в нём как в давнишней раме давнишнего окна с двойными стёклами и ватой посередине, означавшей снег...

Да, а что касается Рузи-жинни, то эта тётя-дура вдруг ни с того, ни с сего надумала приехать к ним на поезде почти за тысячу километров и припёрлась сюда на базар и при всех, отложив своего грудного младенца, стала липнуть к мальчишке, закатывая плач по его матери и слюняво лобызая сироту. Чего она плакала, если это не были ни сорок дней, ни год поминок? Она и всю махаллю заставила сбегаться в их двор, когда, знакомясь с бабушкой, опять ревела почему-то о нём, называя его своей родной печёнушкой, селезёнушкой, кровинушкой.

А потом она попросту стала жить у них. В те дни на пакхаузах грузили тыкву и почти каждый день дети приносили по две-три заработанные кривые тыквы, а бабушка, особо не изощряясь, готовила попеременно то тыквенные манты, то тыкву в молоке, а то просто тыквенный суп. Днями Рузи сидела во дворе, кормя своего ребёнка и грызя тыквенные семечки. Так прошло много дней. Столько, что бабушка уже стала наводить справки о Рузи у мальчика, не удовлетворяясь долгими вечерними разговорами с ней самой.

Мальчик знал, что зовут её все Рузи-жинни, а за что - определённо ничего сказать не мог. Мальчика устраивало её присутствие ещё и потому, что для прокорма всех нужна была тыква, а поэтому базар, о котором Рузи могла бы разнести сплетни на весь кишлак, как-то сам по себе отошёл на невидимый, задний план. Правда, младенец её плакал по ночам, и она успокаивала его тем, что говорила скорее не для младенца, но для бабушки, что главное на свете - это добро, а поскольку они приехали сюда по доброте, то следует терпеть и расти... Ребёнок засыпал, но подолгу ещё ворочалась бабушка, постанывая при этом как при приступах своего ревматизма.

Они уже почти не разговаривали по вечерам - бабушка не высыпалась ночами, а потому сразу же после тыквенного ужина ложилась спать. Днями же она стала уходить сама на базар с тазиком поджаренных наспех тыквенных семечек. В один из таких дней, как потом рассказывали пацаны, к ним во двор вошёл усатый и хромой мужчина, и следом раздался вопль Рузи, собравший тут же всю махаллю ко двору. Оказалось, что муж протратил всю свою пенсию, чтобы разыскать эту дурную дочь дурных родителей, которая по какому-то поводу решила "обидеться" или как это называется у узбеков "аразлади", а раз при "обиде" принято уходить к родителям или же в худшем случае к родственникам, то поскольку Рузи была круглой сиротой, то ничего лучшего, как сбежать за тысячу вёрст, она не придумала, и вот за это-то колошматил её костылем и молотобойным кулаком этот усатый и хромой муж. Словом, увёл он её в свой горный кишлак, как уводят заблудших коров.

А спустя месяц она прислала письмо, прочитанное мальчиком при всех старушках махалли, в котором Рузи слово в слово писала то, что говорила ночами своему младенцу, как будто бы писала это письмо посреди ночи, пока усатый и хромой муж спит, а младенец скрежещет своим плачем, так они подумали ещё и потому, что эти бессмысленные слова о пустой доброте прерывались неожиданной припиской бабушке: "А вот вы день и ночь пожирая тыкву и сами стали толстой тыквой!" - и эти слова так подействовали на бабушку, что на какое-то мгновение её оплывшее и беспомощное лицо и впрямь напомнило кривую тыкву, так вот об этих словах и раздался смех на базаре, когда узнали, что за мальчиком приехали опять...

Но когда они увидели идущую по снегу чёрную и огромную бабушку, все заткнулись как один, или это мальчик оглох и только видел краешком глаз, как все полезли поправлять свои гиры или прятаться под прилавки; вот так и хотелось идти теперь мальчику впереди того, кто всё это слушал за спиной, но никого в этом горном селении не было видно, как не было видно и этого самого, следующего за спиной. От этого мальчику казалось, что он летит по воздуху, чтобы опуститься за глиняным дувалом во дворе, обсаженном урюком и вишней.

Огромные жёлтые урючины выглядывали из травы, а вишни тяжело мерцали сквозь пыльные листья, листья, листья. И день, и ночь, и день, и ночь в этом дворе, казалось, стояли свои, собственные, принадлежные только этому двору. Он их досыта наелся, этих вишен, вишен, вишен и урюка, он угощал ими и своего друга, а потом они решили, что бабушка ушла в зиму из лета, а на лето это к своей дочери, и через дувал, через заросший пылью стадион, через проулки, полные горной свежести пошли обратно в сторону Какыр-сая. Повсюду было пусто как в воскресенье, когда все уходят на базар, на базар, нет, не только торговаться, - туда приходят то канатоходцы, то бродячие масхарабозы, то приручители медведей, а однажды, однажды явился и дервиш - вот это

было зрелище! Он уселся посреди базара и стал читать свои стихи, мальчик издали не мог ничего расслышать, потому что вокруг слепого старика собралась такая толпа, что даже мясник, оставивший свою лавку на съедение мухам и голодным псам, не мог при всём своём огромном росте и весе пробиться туда поближе, потеснее, плотнее. Но не это было главное, а то, как все, и даже Али-шапак, закусили свои воротники, когда старик заплакал своими слепыми глазами.

Вот и сейчас, наверное, все там, на базаре, стоят по-над его слезами. Мальчик рассказывал это тому и жалел на ходу, потому что в переулке, где жила его тётушка, у самых у её ворот стояла толпа людей, и он пожалел о своих словах, поскольку получалось, что это было неправдой, раз весь народ толпился здесь, наверняка на свадьбе. И свадьбы здесь устраивают по воскресеньям, когда народ сразу же после базара собирается у дома, где назначена свадьба, и каждому хочется быть самым нужным, самым знающим, самым главным, а таким становится тот, кто приходит первым с базара, они же идут, как видно, последними, и не с базара... Но почему же все расступаются перед мальчиком и опускают глаза, как будто среди всех пришедших сюда именно он и есть этот главный, как будто бы он несёт полный сават винограда, винограда с базара, но почему вместо карнаев он слышит долгую и протяжную молитву, как будто бы тот самый дервиш читает свои стихи, и вдруг, как будто на потоке его слёз из-за угла дома выплывает белый саван, белый саван, колыхаясь как верблюд, на людских руках, и его укладывают в носилки, которые несут прямо на него, на него, и он оказывается самым первым, идущим во главе процессии, хотя и убегает и уже не оглядывается за спину, а кричит или шепчет вперёд: "Постойте, постойте, но ведь это было не тогда!", а потом, потом, когда проснётся на кладбище утром, чтобы с испугу уехать на поезде, бегая по тамбурам и туалетах от проводников к своей станционной бабушке, но почему же он видит это сейчас, лёжа на чужой могиле, в тёмном одиночестве, сквозь которое он не может протереть своих глаз и беззвучно, беззвучно плачет? Ведь он ещё идёт мимо болота по другую сторону Какыр-сая, через перевал, где на красных от меди горах, останутся его детские известняковые дворцы, идёт, уходит, уйдёт, последний раз взглянув на это селение со стариками и старухами, а ещё виноградом, виноградом, виноградом, похороненное за холмиками предгорий, уйдёт, но почему это сейчас, а не потом?..

## Глава 24

Гаранг-домулла остался единственным муллою на весь Гилас.

А был он весьма далёким от способностей, но прилежным учеником Зохира Аълама из старогородской махалли Аълам Шахид. Когда его Учителя забирали неучи из органов, то нашего Гаранг-домуллу сочли за несовершеннолетнего прислужника, угнетаемого представителем умирающих классов и духовенства. Гаранг и вправду не умел "ударить букву о букву", то есть читать арабскую грамоту по слогам, хотя многое помнил из уст Учителя наизусть.

Собственно за его бестолковость и закатил однажды отец ему оплеуху, а будущий домулла прятал тем временем в ухе русскую сигарку с Пьян-базара, вот и проткнула эта нечистая ему перепонку, отчего он и оглох, и заработал свое досмертное прозвище - Гаранг-домулла.

Словом, когда забрали Зохира Аълама эти неучи, видя такой оборот дела, Гаранг перестал практиковать религию, а оставил себе для пропитания семьи лишь обряд обрезания в гиласской округе. У него это получалось как нынче у хирургов, недаром сызмальства он обрезал секатором лозы в винограднике у Махмуда-ходжи, что дружил с его отцом. Так вот, в этом деле он был дока, и обрезанные пиписьки пацанов округи, укутанные в обожженную вату, заживали к концу второй недели.

Пацанов перед войной рождалось много, народ как будто знал, что надо напасть потомством, а потому Гаранг имел прибыль стабильный. Целые гирлянды обрезанных кожаных колечек с пиписек сушились с абрикосами и помидорами, дожидаясь бездетной военной эпохи.<sup>61</sup> Но извечный страх перед органами, по слухам уже добирающимися и до обрезания - вон в старогородских махаллях, то в Чакичмоне, то в Аллоне, то в Ахун-гузаре, а то в Тахтапуле уже поарестовывали коллег Гаранга за "членовредительство" - этот самый страх не давал покоя домулле, пока однажды, глядя на своего совершеннолетнего, но так и не обрезанного сына - класть чужому тому же Чилчилю под нож - стыдно, самому - боязно - как-никак родная кровинушка, - он вдруг не вспомнил завет видимо покойного - да благословит его Бог - Аълама: когда Аллах насылает кару, то надо торопиться с жертвой.

И тогда он решил как Ибрафим (да распрострет Аллах мир над ним и над его потомством) пожертвовать своим сыном.

Так Гаранг-домулла через Умарали-судхура, а тот через Кучкара-чека, тот же через Октама-уруса, и, наконец, тот через Акмаля Икрома отдал своего сына на работу в органы.

Полтора года тот ходил понятым на ночные обыски, два года ездил сопровождающим в "черном вороне", к концу третьего года, когда пересажали не только весь мало-мальский народ, но и самих НКВДшников, его за нехваткой надежных кадров внезапно назначили старшим следователем по особо важным делам Гиласа.

Гаранг-домулла втихую продолжал практиковать обрезание. И даже через сына выслал в ссылку в Казахстанскую степь на несколько лет удачливого Чилчиля, у которого пиписьки стали заживать на толченной заплесневелой кукурузе за одну неделю.

Но вот началась война, и по органам прошла особо секретная директива по "членовредительству во время военных действий победоносной Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками". И тогда его сын, активизировавший свою деятельность здесь, дабы

<sup>61</sup> считается, что если не рожаящая женщина съест обрезанный кончик крайней плоти, то она обязательно родит ребёнка

не быть посланным на фронт, учинил Гаранг-домулле домашний допрос в присутствии понятой матери и сестрёнки. Он отыскал все домашние улики - расщепленную камышину, в которую вправлялась крайняя плоть пиписки, опасную бритву, ремень, о который точилась эта бритва, вату, спички, и даже отыскал пять пересушенных колечек среди сушеных помидоров матери, которые идентифицировал как "обрезки пиписек лиц мужского пола 7-10 лет". Словом, в конце концов, сын приговорил отца к домашнему аресту и ушел к себе в комнату писать на всякий случай протокол.

И тогда опозоренный перед своими женщинами этим "сопливым семенем", которое, как сказано в Коране: "смотри-ка, спорит!", домулла собрал со стола сушённые обрезки с пиписек, учинил над ними молитву, прежде чем закопать их во дворе, и бесшумно пробрался в кабинет Особо Уполномоченного по Гиласу и его округе.

Да, как ИБРафим своего Адхама, Гаранг-домулла решил убить своего сына.

Сын спал над третьей строчкой протокола.

Но что случилось дальше - никто не знал, правда, рассказывали, что дочка Гаранг-домуллы, Робия-хлебобёк как-то проговорила Банат-пирожочнице, а та по секрету поведала это бездетной дочери Фатхуллы-фронтвика красавице Зумурад, та в свою очередь, сообщила это на гадалках колдунье Учмах та - Бахри-эна, словом, вот что. Гаранг-домулла неслышно вытащил будто бы из сыновних штанов с окантовкой табельный револьвер марки ТТ и, наклонившись над спящим оперуполномоченным, пропел глухую молитву. Тот ничему не внимал. Тогда домулла поцеловал два раза и приложил поочередно к двум векам это страшное оружие Промысла, и, смахнув на него ненароком скатившуюся слезу, нажал двумя руками на спусковой крючок. Тот не поддавался. Гаранг-домулла напряг все свои силы, отчего даже привстал на цыпочки, и когда пущенная им слеза докатилась до спускового крючка, крючок подался, раздался страшный выстрел и Гаранг-домулла замертво упал.

А случилось тогда будто бы совсем невероятное: переусердствовав в нажимании на собачку, отец, нависший над сыном, скользнул пальцами обеих рук по язычку из-за собственных слёз, и как результат, ни много, ни мало, прострелил себе кончик мужского достоинства вместе с ногтевой фалангой большого пальца правой ноги. Сын, оглушенный вместе с отцом от внезапного выстрела, вскочил, и, увидев отца, залившего себе кровью штаны вместе с ичигами, первым делом решил немедленно изменить меру пресечения, дабы отправить отца в госпиталь, но вовремя спохватился: перед его глазами был совершен акт чистейшего членовредительства. И тогда он прибег к многолетнему сокровенному опыту отца - обжег пук ваты, лежавшей, как улика, на столе вместе со спичками, и обмотал ею кровоточащее своё начало.

Отец встал на ноги к концу четвертой недели: сказался возраст и непредвиденный большой палец правой ноги. Тогда-то он и оглох на второе ухо, дабы не слышать никаких пересуд.

И надо же случиться такому, кто-то пустил услышанное от кого-то из однополовых женщин, как анекдот, и этот анекдот успешно достиг назначенных мест: за "сокрытие членовредительства в особо крупных размерах, имея в виду возраст и социальное положение Гаранг-муллы" его сына уволили из органов прямо на фронт, в штрафной батальон, откуда он вернулся Героем, поступил без экзаменов в педагогический институт истории и вскоре стал учителем истории старших классов Гиласа.



В годы реабилитации постаревший, но так и необрезанный сын дважды пострадавшего за веру Гаранг-домуллы, написал письмо на имя съезда партии с просьбой оправдать его перед судом Истории с учетом его фронтового и героического гражданского состояния. Через полтора года съезд ему ответил, что он восстановлен в правах младшего лейтенанта НКВД в отставке, и на ближайшей школьной линейке историка избрали Почетным Чекистом на освободившееся место спившегося Кучкара-чека.

Вот тогда-то его отец, Гаранг-домулла, переставший к тому времени резать пиписки перед пятидневной методой реабилитированного Чилчиля, но уже практиковавший в Гиласе религию, прослышал, что мусульман уже пускают в Мекку, на ближайшем Коктерекском базаре продал годовалого бычка с его матерью - коровой, и на вырученные деньги решил совершить прощальное паломничество за бесцельно прожитую жизнь.

Через месяц его, как водится, вызвали в поблагочинившие органы и провели с ним профилактическую беседу, в которой про между прочим спросили, вернее, спросил лишь второй секретарь парткома Гоголушко, дочь которого публично проклял за проститутство Гаранг-домулла: "Скажите-ка почтенный, а вот если муллы Мекки, а заодно и Медины попросят Вас, Гаранг-домуллу, остаться у них, помолиться и за них у святынь, то согласитесь ли Вы остаться среди них?" Наш Гаранг-домулла по простодушию чувствуя не подвох, но доверие к его правоте, не мешкая, ответил: "Иншааллох!" - "Дай-то Бог!" Словом, прошел он эту беседу, после которой ему поочередно пожали руки и велели ждать. И стал Гаранг-домулла ждать разрешения.

За это время умерли почти все его погодки. Документы ходили где-то наверху. Люди молили Бога, дабы Гаранг-домулла жил дольше других, иначе некому будет отпевать умирающих. Но о разрешении не было ни слуху, ни духу. Уже и кладбище перенесли за переполненностью на окраину колхоза "Ленин йули самараси". Уже на почве бесконечного ожидания Гаранг-домулла, наконец, помирился со своим постаревшим сыном. И вот когда сына избрали почетным чекистом школы, вместо спившегося и умершего Кучкара-чека, на банкете педколлектива парторг школы про между прочим проболтался о решении бюро парткома партии о "недопущении выезда потенциального невозвращенца Домуллы-Гаранга Мир-Гайдар Афат-Уллаева за рубежи нашей Родины и об усилении политико-воспитательной работы среди коллектива скотореализационного отдела Коктерекского вещевого базара, допустившего.... и т.д."

Вечером того же дня завел беседу с отцом в присутствии матери и сестрѐнки. О чем они говорили - не знает ни Банат-пирожочница, ни Зумурад-бездетница, ни Кулсум-лоточница, ни даже колдунья Учмах. Но в ту же ночь Гаранг-домулла скончался от разрыва сердца. Утром следующего дня сам сын отпел его на Коктерекском кладбище, недалеко от скотного базара.

Так органы отомстили Гаранг-домулле.

Когда началась война, больше всех радовался босоногий и босоголовый Таджи-Мурад - сын подслеповатой Бойкуш. Он бегал и кричал на всю улицу Папанина: "Ур-ра! Уруш! Ур-ра! Энди янги кино булади! "Линий Маннергеймданам зур!"<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> "Ур-ра! Война! Будут показывать новые фильмы. Еще лучше чем "Линия Маннергейма!"

## Глава 25

У Гиласа были свои собственные цыгане. Одни из них - те самые, которые есть повсюду, а стало быть забредающие и в Гилас из Европы в пору пьяного буйства верблюдов в казахских степях, в пору цветения урюка и сирени в узбекских садах. А вот вторые - "люли" - незапамятно свои - уже спутавшиеся с наиболее загорелыми узбеками, которых в Гиласе называли "кора таппи"<sup>63</sup>, те переселились сюда не из какой Европы, а из старогородского района Ачаобод.

Первые научили Гилас использовать железную дорогу на полную катушку: раз в год у гиласского шлагбаума внештатно останавливался пост-кагановичский товарный поезд, и из него всю ночь до зари с вольнолюбивым ржанием и нетерпеливым гарцеванием выгружались то туркменские ахал-текинцы, то орловские рысаки, а то владимирские тяжеловозы, получившие здесь название "жюжюлбосов", и раскупаемые поутру на коктерекском базаре то за казахский каракуль, то за узбекские слитки.

Вторые же жили проще, но гуще.

Каждое воскресенье вместе с гудком паровоза 7.12, Гилас будил крик люли-Ибодулло-махсума: "Шарра-барра! Шарра-барра!" - и со скрипом перемалывая распутицу грязных весенних проулков Гиласа, появлялась следом его ишак-арба, груженная по мере езды все большим и большим количеством утильсырья: старой ветошью, редкими бутылками, выходящими из употребления керосиновыми лампами... Дети, еще сонные, бежали, хватая припасенное за неделю, чтобы получить из заветного сундука на облучке этой арбы, полной грязного белья, то резиновый шарик-попрыгунчик, то леденец-петушок, то глиняную свистульку, таявшую от влаги слюн к следующему скрипучему приезду люли-Ибодулло-махсума.

Когда леденцы съедались вхруст, когда шарики запрыгивали на чердаки, переполненные скорпионами, а свистульки, высвищенные на всю махаллю, утопали в грязных арыках, множа в них плодородный ил, часам к двенадцати появлялся другой люли - Адхам-кукрус, который, перевесив через ослика свой хурджун, кричал на весь Гилас: "Джарний кукрус! Джарний кукрус!"

Опять бежали дети, прихватив с собой недохваченное спросонок с утра, и получали из другого глаза хурджуна шарики жареной кукурузы, так напоминавшие цветущий повсюду кругом урюк...

Часа в три Гилас оглашал металлический крик черного как люли полуузбека-полутаджика Асома-бензовоза: "Кирасин! Кира-а-си-и-ин!", прерывавшего череду цыганских поделок настоящей необходимостью, и всё взрослое население Гиласа сталпливалось в очередь за горючим для керогазов и ламп на целую неделю вперед...

Пропустив телегу с черной цистерной горючего, на закате появлялась старушка-люли Бахри-эна-фолбин и кричала дважды надтреснутым, как и ее гадальное зеркало голосом: "Хей, фол очаман!"<sup>64</sup> и незаметно ныряла в один из дворов, где бедная жена Хайри-пучук ждала своего мужа, томящегося в тюрьме или далеко в лагерях, или же другая жена-ожданка прикидывала: стоит ли ей устраивать угощение, дабы на нем оказался боготворимый артист...

Бахри-эна-фолбин пропадала во дворах надолго, говорили - до последней копейки, но как бы то ни было, часам к 9 вечера вместе с поездом 21.13 Гилас оглашал крик вернувшегося из скитаний ее сына - люли-Ибодулло-махсума: "Ача! Хай, ача-гар!", и некоторое время спустя он сажал на ветошь дня свою довольную мать, у которой в глазах сверкали занозами то ли осколки собранных сыном бутылок, то ли золотая таньга луны, и сын увозил ее в темную, как их лица и жизни, ночь...

<sup>63</sup> "черная коровья лепешка"

<sup>64</sup> "Хей, погадаю!"

Поскольку в Гиласе никогда не было муэдзина, то несколько богомольных стариков и старушек, впрочем, и Гаранг-домулла, использовали эти пять воскресных криков как точный призыв к молитве и всю неделю держали в памяти отмеченное ими время.

С первыми - европейскими цыганами у Гиласа не было никаких разногласий, особенно же после того, когда обнаружилось, что, несмотря на многовековые скитания, этот народ имел те же самые слова для обозначения самого основного в жизни - врага и совести, что и узбеки: "душман" и "номус". Гиласу эти цыгане положительно не приносили никакого вреда, если и дурачили надувными лошадьми, то степняков-казахов, правда, разве что мусор после их внезапных отъездов доставался Гиласу. Но пацанва быстро использовала всю эту ветошь в дело: что в школу - для макулатуры, а остальное - в первое же воскресенье - оседлому цыганину - люли-Ибодулломахсуму, который хоть и морщился от единокровной вони, но не отказывался давать за нее блестящий шарик-попрыгунчик или дефектную свистульку, выдающую вместо свиста звук молодого поноса, что, впрочем, еще больше забавляло гиласскую пацанву.

Мужики этих цыган, оставлявших после себя коней, сор и брань: "Эй чавела, парцумаматку! Кумаматку!" - после коктерекских распродаж исчезали в город, где меняли деньги на анашу и золото, а их жены с вечными детьми на руках и синяками под глазами, там же в Городе гадали и попрошайничали на вокзале и Комсомольском озере, оставляя по некоему родственному этикету Гилас полем гаданий оседлой сокровки - Бахри-эна-фолбин.

Тихо-тихо Бахри-эна превратилась в единственную, чуть ли не штатную прорицательницу Гиласа, включая и его русское атеистическое население, пока впоследствии не появилась Учмах. Так вот, монополизация промысла, умысла или вымысла этой старушки произошла во многом после истории с Жанной-медичкой - дочерью первого русского двоеженца Гиласа от первого брака.

Жанна-медичка работала в военно-врачебной комиссии станционного военкомата, а потому, без обиняков, имела доступ ко всем юношеским членам Гиласа. Все девки Гиласа справлялись у нее по поводу мужского достоинства своих избранников, и она честно-беспристрастно - ни умаляя и ни наговаривая, сообщала своим товаркам, подружкам своих товарок, товаркам подружек своих товарок секретно-антропоморфические данные будущих защитников Родины. Иной раз Жанна-медичка мнила себя Жанной-разведчицей, заброшенной девичьим населением Гиласа в особо опасный район, и часто оттого видела себя во сне то Зоей Космодемьянской, то Матросовым посреди расстреливающих ее вражеских бомбомётов. Иной раз в пылу самоотвержения она бросалась на ДОТы и ДЗОТы, и, просыпаясь, вдруг обнаруживала, как героический сон вытекает из неё тёплой стружкой между двух девичьих бёдер.

А однажды она увидела себя и вовсе Жанной д'Арк, горевшей на костре из... стыдно сказать, но, словом, долгое время Жанна-медичка несла службу в дружбу ровесницам Гиласа, забывая самоё себя.

Но вот однажды, когда в армию призвали внука Толиба-мясника - Насима-красавчика по непонятной кличке "шлагбаум", и он стоял на ВВК, затерявшись в шеренге себе подобных тощих смугляков, когда хирург Ишанкул Ильичевич заставил всех стянуть сине-сатиновые - до колен - трусы и нагнуться, расставив ноги, для проверки геморроя, когда, наконец, Жанна-медичка привычно пошла осматривать волосатые анусы с ошмётками засохших экскрементов, когда она дошла до середины шеренги... - Поначалу она не поняла, что это такое, и решила что ей предлагают взятку. Да, как у Толиба-мясника в мясной лавке на крюке обычно свешивалась

длинная красная полоска вырезки, между растопыренных ног его внука Насима-шлагбаума чуть не касаясь пола, свешивалось нечто неимоверно длинное и мягко-покачивающееся. Нет, конечно же, как ни скрутило дыхание у Жанны-медички, но она поняла своим медицинским чутьем, что то была не вырезка. Скорее, врезка. Два черных, как бычья печень, шара в огромной мошне, обрамляли это небывалое...

Жанна-медичка забыла о геморрое... И в этом она честно призналась Ишанкулу Ильичевичу, когда тот спрашивал уже на индивидуальном осмотре "Шлагбаума":

- Сан даюс Зогориги нариги чекасига чикиб эшаклардан юктиргансан ухшийдия?! Асбобийни кара! Шунчаям устирадими. Расийда пайтава урамасанг музлатиб куясану!<sup>65</sup>

Жанна тем временем приходила в себя. Она отдышалась и выпалила:

- Можно я его проверю на геморрой?

Ильичевич разрешил, а сам пошел мыть руки после такого безобразия, которое делало его дальнейшую мужскую жизнь совершенно бессмысленной...

И тогда Жанна уложила бедного Насима набок, и едва сдерживая свои слёзы восторга, вонзила юноше в зад блестящую подзорную трубу, ухватившись одновременно дрожащей и ледяной рукой за то самое неимоверное...

С тех пор она потеряла покой. Два года, пока Насим-красавчик морозил свои концы в армии, ей снился сквозь блестящую стальную подзорную трубу мягкий, опущенный шлагбаум избранника, который не пускал в ее сны ничто другое, и тогда она поняла смысл его клички сполна. Она раздобыла через его деда - Толиба-мясника, который когда-то был тайно влюблен в ее мачеху, как впрочем, во всех женщин Гиласа попеременно по своему профессиональному пристрастию к плоти, адрес воинской части и стала писать Насимчику поначалу как бы от профкома женщин - солдатских матерей и сестёр, а потом же рекомендательные послания по закаливанию своих членов в условиях повышенной морозности, и, наконец, их переписка приобрела дружеский, даже более того, характер. Словом, к концу службы и Насима-шлагбаума ждала на родной станции родная девушка.

К тому времени Толиб-мясник, честно добирающийся до пенсии, на всякий случай посватался за старшую внучку Оппок-ойим - мало ли кому что придется менять. А потому, когда Насимджан вернулся из армии и после положенного недельного загула приступил к жизни, он вдруг обнаружил себя на пороге двоежёнства. Продолжая мучиться во снах от невысказанной тайны, его страдательно ждала Жанна, и с другой стороны, Толиб-мясник уже не мог дотерпеть последних двух лет допенсионного возраста и выложил внуку все как есть: дескать, не хочу умирать, пока ты не женишься! И если что не так - как говорится у мясников: мол, порублю всё на корню!

Словом, как бы то ни было, днями Насим слонялся по Гиласу, как будущий внучатый жених всемогущей Оппок-ойим - не подымая глаз, а вечерами, когда народ валом валил на индийские фильмы в летний кинотеатр, где местный киношник Ортик-аршин-малалан крутил свой непыльный бизнес, умудряясь даже слово "Вий" выписать на своей афише как уважительно-зазывное "Вый", Насим-красавчик по новой кличке "Шоколад", встречался с Жанной-медичкой где-нибудь в камышах на берегу Солёного Арыка.

В утиной темноте они пересказывали друг подружке свои письма, и луна, светившая одновременно и с неба, и из мутной воды, блестела в опущенных глазах Жанны, как та самая подзорная труба.

К концу летнего сезона кинофильмов, когда все письма были пересказаны, они стали

<sup>65</sup> - Ты негодник, видать плавал на другой берег Захарыка и заразился там от ишаков. Смотри, какой инструмент! Разве можно отращивать такой. В России без портянки отморозишь, как пить дать!

целоваться от зябкости вечеров, тогда же впервые за эти годы мучительных сновидений в одиночку, Жанна-медичка призналась во всем Натке-аптекарьше - дочери монтера - на случай всяческого предохранения. Каждое утро с тех пор, с работы Жанна-медичка отправлялась в аптеку то за рецептами, то за перчатками, то за пургеном для призывников, и они с Наткой обсуждали сначала предыдущий, а потом каждый предстоящий береговой вечер.

Но вот незадача: Ортик-аршин-малалан уже перебрался в свой зимний "Спутник", а у Насима, как однажды призналась Натке Жанна-медичка: "он... ну этот самый... в общем, не вставал..." Натка с детства была дошлой в этих делах, переслушав и переподглядев всех пришлецов своей матери, пока отец лазил по столбам, электрифицируя темный Гилас. Именно поэтому она посоветовала нечаянно коснуться, неумышленно опереться, негаданно тронуть...

Увы, ничего не помогало. То ли российские трескучие морозы, уничтожившие в свое время мощь Чингиз-хана, Наполеона и Гитлера, то ли жаркие предупреждения Толиба-мясника, то ли глубокие воспоминания самого Насима о подозрительной трубе, вонзившейся некогда в прямую кишку, но, словом, сам Шлагбаум недоумевал и мучился не меньше Жанны-медички, нечаянно касающейся, неумышленно опирающейся, негаданно трогающей...

И вот тогда-то Натка-аптекарьша предложила сводить Насима-шоколада к единственной в то время ворожее, колдунье и гадальнице Гиласа люли-Бахри-эна-фолбин. Жанне-медичке не позволило пойти к доморощенной знахарке ее средне-специальное медицинское образование имени Боровского, а потому было решено, что Насима поведет к старушке сама Натка-аптекарьша, придумавшая эту идею, и поскольку бабка не гадала мужикам, а Насим не должен был ничего подозревать, то заговорщицы решили гадать на Натку.

В мёрзлой гусино-индюшей темноте того дня на берегу Солёного, где пожелтели и опали уже камыши, Жанна-медичка познакомила Насима с Наткой, и в первую же субботу этой недели Натка с Насимом поехали разыскивать дом местно-оседлой цыганки - Бахри-эна-фолбин.

То была махалля люли - второй Ачаобод - где дворы соединялись со дворами сотней скрытых калиток, пролазов, перешейков, а дома примыкали к соседским сараям, те - к следующим хлевам, уборным, избушкам. Это был некий лабиринт, в котором разбирались разве что люли-вские дети - чёрные и грязные чертенята, обступившие молодых со всех сторон с расспросами: откуда они и кого ищут, а ещё - есть ли копейка или рубль на память. Благо Натка-аптекарьша прихватила с собой пересохшего гематогену, который теперь отгрызала маленькими кубиками и раздавала направо и налево вместо шоколада.

Через эти низкие пролазы и пещеры, когда они окончательно потеряли ориентацию, их провели во двор Бахри-эна-фолбин и вручили на попечение то ли чувашки, то ли марийки, попавшей сюда двадцать или тридцать лет назад и оставшейся уже навсегда, забыв свою обратную дорогу. Бедная чувашка или марийка, утратившая за годами имя, язык, адрес и прочие качества, делающие человека лицом, готовила днями похлёбку, а ночами перебирала и перемывала бутылки, собранные днём люли Ибодулло-махсумом. Никто за эти двадцать, а может быть тридцать лет не спросил, зачем она здесь, и теперь увидев людей с большой земли, она не понимала, чего они от неё хотят. Дети подёргали ее за косы, доросшие до щиколоток и свисавшие между ее варикозно-венозных узловатых ног - совсем как то самое, о чём каждое утро рассказывала Натке Жанна-медичка, и убежали звать старуху-гадалку.

Бахри-эна-фолбин торговала на остановке семечками и петушками, и когда чертенята привели её за обещанный усохший гематоген, она первым делом отпробовала его сама, но нашла его слишком мягким и липким, а потому, взамен предложила свой курт, о который чуть не пообламывали зубы и Натка, и Насим.

- Санго балом фол очайму, санинг душманингдан, балом, кочайму?  
Тангонгни бер балом, тангангни чикор, тош айнодан, балом, бир гап чикор...<sup>66</sup>-

Она приговаривала непрерывно, так что нельзя было понять ни смысла произносимых ею слов, ни того, что она собирается делать в следующую минуту на схлынувшем берегу после них. Некие волны накатывались с ее языка на треснувшее надвое, но не сломавшееся зеркальце, и, не задерживаясь на его гладкой и пустой поверхности, сменялись другими. Старушка и не спрашивала, с чем пришла Натка, и всё понадуманное впрок аптекаршей вместе с медичкой было сметено безостановочным потоком слов старушки, грозно прерывающимся, когда Натка мешкала с доставанием очередной рублёвой бумажки.

- Санинг бир суйганинг бордур, онинг оти угилдур,  
Арода бир душманинг бордур, они кани бугилтур!<sup>67</sup>

Натка, понимавшая по-узбекски только наполовину - по отцу-монтёру, чуяла кровью, что здесь опять надо лезть в сумочку, которую - как микрофон футбольный комментатор - без умолку наполняла словами, опустошая от содержимого - старушка Бахри-эна-фолбин.

Когда зеркало заработало положенное, Бахри-люли перешла на кукурузные зёрна Хрущева: она рассыпала их по полу, расчерчивая жизнь Натки квадратно-гнездовым способом, одобренным на последнем Пленуме ЦК.

Потом настал черёд ниточки, и за нее уже платил Насим.

- Кулингни бер, жимжилогни, балом, хай-хай бу жимжилог  
Хай душманнинг чучогидур, багло, куриб кетсун чучог!<sup>68</sup>

Она повязывала ниточкой толстый мизинец девки, на коем сидело единственное поделочное кольцо, даренное Натке соседом Рафим-Джоном за ихтиоловую мазь для чирея на заднице, когда Натка не только достала эту вонючую пасту, но и смазала другу детства его черную ж..у, так вот, старуха, уничтожая вражий член, уничтожила вместе с ним и кольцо, сидящее на нем, и тут же следом перебралась к телу Натки, ища сердечную истому и душевное беспокойство где-то в районе дешевенького колье.

Она заставила Натку необоримым потоком слов снять с себя джемпер, и та осталась в материнском лифчике, трещащем от напора ее молодых грудей. Укрытая со всех сторон словами, Натка позабыла стыд и Насима, и уже стягивала через голову свою клешенную юбку, и тогда случилось то, что надолго отняло у Бахри-эна-фолбин дар речи, после чего она только разве приторговывала семечками, да гадала внемую русским, только кивая или мотая головой, словом, вдруг раздался громopodobный треск двуслойных лавсановых брюк на ватине, сшитых в местном Индпошиве у дяди Мойши, завезенном вместо себя дядей Изей, и на свет появилось то, что разом заставило вспомнить чувашку Хайру, что она родилась в Стерлитамаке на улице Праведной Сабли Салавата Юлаева в четвертую среду месяца нисана года Быка по старому стилю...

Когда вечером люли Ибодулло-махсум вернулся после трудов, громыхая полной арбой

---

<sup>66</sup> - Погадать ли тебе, дитя, бежать ли мне от твоего врага, дитя? Дай монетку, дитя, показывай монетку, дитя, тогда зеркало что-нибудь да скажет.

<sup>67</sup> У тебя есть любимый, его зовут парень,  
между вами есть враг, ну-ка придуши его!

<sup>68</sup> - Дай руку, мизинец, дитя, ах этот мизинец -  
он - пиписька твоего врага, вяжи, пусть она иссохнет на корню!

бутылок, когда он застал дома свою мать в полуобморочном состоянии, когда дети рассказали ему как двое голых и одна волосатая неслись по люлиевским дворам, сметая неким тараном калитки, навесы, ставни, пролазы, и тем самым прокладывали тот путь, которым впоследствии пролегла железнодорожная ветка на Тойтепу, чтобы затем пропасть в камышовых зарослях Солёного, люли Ибодулло-махсуму не оставалось ничего иного, как подобрать треснувшие надвое лавсановые брюки на ватиновой подкладке, сшитые в индопошиве с вывеской "Индопшив" дядей Мойшей, завезенным вместо себя дядей Изей, как бесплатное, оставшееся и доставшееся ему утиль-сырье.

Тогда-то Насим-красавчик по кличке "Шлагбаум-шоколад" и Натка-аптекарьша поженились в первый раз, взяв себе в свидетели чувашку Хайру Гавриловну Хузангай, года рождения Быка по старому стилю, уроженку города Стерлитамак, улица Праведная Сабля Салавата Юлаева, дом первый после колодца направо, бежав с ней на ее родину от несправедного топора обзлённого на жизнь отовсюду Толиба-мясника, нечаянных и бесплодных прикосновений Жанны-медики и порушенных и непознаваемых цыганских лабиринтов гиласских люли.

И каждую ночь с тех пор в далеком Стерлитамаке Натка-аптекарьша выла благим матом за себя и за Жанну, как будто бы рожала еженощного ребёнка то ногами вперед, то головой назад...



## Глава 26

Когда Мулла Ульмас-куккуз волею судеб был вынужден учить на Брайтон-Бич недоученный при Сталине одесский вариант великого, могучего языка, однажды на берегу океана в грязной пивнушке, где каждый день с воплями и скандалом публика выясняла, кто был чьим агентом КГБ, он увидел благородного и молодого араба-марокканца с девушкой, напоминающей то ли тайландку, то ли плотную филиппинку. Улучив момент, когда благородный араб отлучился, видимо, для омовения, Мулла Ульмас-куккуз обратился к девушке сначала по-лаосски - подбираясь издалека, но когда девушка пробурчала под нос:

- Бетинг курсин, куккуз, кариб улибсану, тилинг беш карич! - он сполз с высокого табурета перед баром и напрочь забыл то, что хотел спросить следом по-тайландски. Когда же поднимаясь с пола, он стал невольно охат на материнском языке:

- Вой белим, вой оёгим... - теперь уже бедная девушка поползла со стула, но её подхватил уже омывшийся благородный араб.

На богоизбранном языке выяснил в тот день Мулла Ульмас-куккуз, что благородный юноша из марокканской королевской семьи, а его суженная - дочь электрика Саида Алихона-Торы, бежавшего от большевиков из Эски-Мооката, что в горах Ферганской долины.

Мулла Ульмас-куккуз слышал об истории этого рода, поскольку в Чите, на улице Назара Широких сидел на вольном поселении с сыном некоего Муллы Обида-кори из этого самого Эски-Мооката, чья мать приходилась, оказывается тётёй почтенному Саиду Алихону, а на этапе в Соликамске Ульмас разминулся с его братом Салихоном-Торой, ставшим миллионером при Советской власти.

Узнав о величии своего рода, бедная девушка, считавшая, что кроме отца-электрика да матери-уборщицы у ней никого нет, загорелась желанием, во что бы то ни стало съездить в Эски-Моокат, а Мулла Ульмас-куккуз через некие правозащитные организации, где уже крупным чином служил Пит Шелли Мэй - да, да, - тот самый Пинхас Шаломай, взялся устраивать им бесплатно туристическую визу в обмен на обещание заехать непременно к Оппок-ойим на какой-то там станции Гилас, дабы передать какие-то очень важные для Оппок-ойим бумаги, завоеванные или вывезенные Муллой Ульмасом-куккузом в его беспортовых скитаниях. Ну и конечно молодые пообещали завезти письма и приглашения обильным родственникам Шелли Мэя.

Мулла Ульмас-куккуз не только добился почти невозможной в то время визы для молодой пары, но и выписал через те же правозащитные организации, где хлопотал Пит, план железной дороги прямо от Гиласа и до Горчакова - ближайшего к Эски-Моокату станционного города. И вот молодые тронулись в дальний заокеанский путь.

В аэропорту их встретила Оппок-ойим и КГБ. Правда, местный КГБшник Осман Бесфамильный, каждый месяц менявший у Оппок-ойим свой паспорт, дабы никто не узнал его настоящего имени, был настолько зависим от Оппок-ойим, что все в Гиласе считали Османа её официальным телохранителем, а потому она представила его просто жестом: "А вот - этот!"

Надо сказать, что Осман Бесфамильный страшно волновался перед встречей замаскированных шпионов Родины и за ночь до их прилёта составил, согласился и утвердил сорокасестранный план их оперативной разработки под кодовым названием "Грачи прилетели", в который входили всевозможнейшие мероприятия: засады, подслушивания, выходы на связь с пьяницей Кун-охуном и шалавой Веркой-давалкой, а в конце концов арест вражеской агентуры с поличным и обмен их на кок-терекском мосту, ну скажем, на нашего разведчика Муллу Ульмаса или в конце концов, на внеочередное воинское звание младшего лейтенанта Османа Бесфамильного.

Но оставим пока подслушивающего, записывающего, потеющего на вечном посту тайного фронта Османа, и последуем в дом Оппок-ойим, где был устроен грандиозный пир по случаю весточки от её несчастного мужа - первого местного диссидента и предателя Родины Муллы Ульмаса-куккуза. Пионеры, снявшие к вечеру галстуки, разносили гостям чай, Таджи-Мурад и особенно Наби-однорук - напротив, надевшие галстуки впервые в своей жизни по случаю торжества и согласно требования Оппок-ойим, руководили рассадкой всё прибывающих и прибывающих гостей.

Племянник Шаломая - последний артист среди бухарских евреев и последний бухарский еврей среди артистов - положив письмо от дяди в карман вместе с другим, более важным конвертом от хозяйки, уже всюду рыдал над своим злосчастьем посредством узбекских народно-классических песен, Мефодий-юрпак зашёл сюда бескодексно выпить. Тимурхан - отдохнуть от своей бесконечной любви, Ортик-аршин-малалан сидел важный, как будто показывал свой лучший припрятанный фильм, Мусаев искал повсюду электрика, дабы тот погасил свет над лозунгом: "Хуш келибсиз!", начальник погрузки ресторанов армянин Зурабян по пошлой кличке "Сутрапьян", разгружал разноформенные бутылки армянского коньяка, выписанные специально из Еревана, люли Ибодулло-махсум, напротив, собирал опустошённые под столами, не раздавая при этом никому свистулук.

Оппок-ойим, как истая хозяйка, управляла всем происходящим из-за ширмы: Темир-йулу - коньяку, Толибу-мяснику - водки, но в чайнике, хотя, подлец, не заслужил и пиалки, Кун-охуну - "Чашмы" - всё равно будет валяться под столом, Акмолину и вовсе можно было бы соларки, да ведь гость, дайте чаю с сахаром...

И за всем этим столпотворением совсем забыли о заокеанских гостях, в честь которых всё это, казалось бы и затеяно. Те отсидели положенное время в отведённой им комнатке, отсидели, что называется, до мурашиков в ногах, и тогда Музайана предложила Вамеку бен-Хасану выйти во двор, посмотреть, что там так шумит. Они вышли во двор и там были застигнуты этим небывалым пиршеством. Племянник Шаломая Илиас вопил от души:

Хуш улким ёрдин катъ айлабон тарки диёр этса,  
жахон кезмак ила бекайдликни ихтиёр этса...<sup>69</sup>

и под хоровые вопли всех стационарных мужиков, тонюсенькая туркменка Олма, завезённая из Хорезма, томно водила задом и судорожно вздрагивала плечами в кругу. Молодые стояли в сторонке, когда облив королевского потомка чаем, в круг протолкнулся то ли Таджи-Мурад, то ли Наби, матеря по ходу Вамека-бен-Хасана:

- Ха, туйга кеган экансан, чой ташимийсанми, кутокдек гуддайиб турмасдан!<sup>70</sup>

Благородный араб не понял слов, но смышлённая Музайана подхватила суженного под руку и отвела в тень под дерево. В это время самое почётное слово - для зачтения самого письма от Муллы Ульмаса-куккуза предоставили лучшему чтецу всей республики - Кабиру Мавсумову, которого Оппок-ойим забронировала ещё месяц назад в конкуренции с колхозом-миллионером, а выиграла, потому, что платила наличными, тогда как колхоз - по перечислению. К сожалению, письмо было написано старой письменностью, поэтому в круг вышел, ковыляя своими кривыми ножками и Гаранг-домулла, который стал читать текст без микрофона, а диктор уже торжественно декламировал вслед за ним на весь Гилас послание диссидента и предателя Родины.

<sup>69</sup> Блажен тот, кто, порвав связь с любимой, покинет и родину, тот, кто изберет скитания по свету, как свою неприкаянность.

<sup>70</sup> Раз пришёл на свадьбу, носи чай, не торчи, как х..й!

Ассалому алайкум

ва баъд аз: фалак кажрафторлиги остида уйнаб-кулиб юрувчи Оппок-хонимга деб билгайсиз. Дусти мукимингиздин арзи ихлос шулдирким эсон-омон, тинчгина юрипсанми? Болларинг котга бувоттими? Бозоринг нима булди? Алхол вокиф улмакни эътимод айладикки, топган-тутганинг тузукми? Ану Толип-сассикни укаси урнийни омокчийди, нима булди? Аммо мухобарати дигарим шулки, мандан сурасанг эсон-омонман. Шу дигин саниям согинип копман. Онайниский... кх...кххе..! Анненский бу Шаламай яна Тошканга кайтсамиди, кангул андак муаллак ва хотири паришон бир оз зоил улурмиди... Бутга биттаям узбечка йуга! Модомики Сизга улмиш садокатим офтобдин хам равшандир, биласанку! Бу йулда канчалик захмат чекмайин ва хатто бошим хам кетмасин, менинг учун кийматлироги инсонга садокат ва шу садокатни то улгунча кулдан бермасликдир. Санам икки огиз ёзвор.

Аддои эринг Улмас.<sup>71</sup>

- Пай-пай-пай-бай! Бай-бай-бай! - качали головами, плача над столами в опустошённые пиалки гости. - Какие слова, а! Какие слова!

Сам Кабир Мавсумов сморкался в платочек, чтобы сложив его опять, засунуть в нагрудный карман пиджака под почётный знак "Заслуженный артист республики". Гаранг-домулла перешёл сходу к длинной молитве за здоровье писавших, читавших и слушавших, считая, что если артистам дают "под тюбетейки" сотнями, то уж по-такому случаю, он обеспечит себе всю старость и даже съездит в Мекку.

Тем же временем пьяный вдрызг Кун-охун, не успевший, валяясь под столом, оценить танцовщицу Олму, плёлся помочиться в тени под деревом, и вдруг, застав там Музайану, стал приставать к ней со своей десяткой, припрятанной от Джибладжибон-бону, приняв ту за танцовщицу, а её кавалера - за племянника Шаломая. Этого благородный араб не вытерпел, и ему не оставалось ничего, как стукнуть единоговерца. Тот мертвецки упал спать под деревом. Но за всем этим наблюдал неусыпный Осман Бесфамильный, который аж вскрикнул:

- Аха! Наших бьют! - и тогда Музайана инстинктивно-генетически схватила араба и ринулась в ночь. Осман пустился в погоню...

Все дороги Гиласа вели к железной дороге, а потому именно на неё вышли молодые. Осман рассчитал всё, как его учили в начальной школе КГБ, и, сделав рывок через шерстьфабрику, где его обстреляли ночные сторожа, не знавшие на чём выместить свою злость: весь Гилас, дескать, на пиру у Оппок-ойим, а ты сиди тут и сторожи волосню с бараньей ж..ы, которую к тому же некому подпродавать. Так вот, сделав окружной рывок, Осман оказался прямо перед носом молодых у окошечка кассы, как полночный пассажир. Дабы его не узнали молодые, на ходу, под солевым обстрелом, он нацепил очки, конфискованные в свое время за контакт с иностранцем у дорожных

---

<sup>71</sup> Мир Вам!

И затем: да будет это известно Оппое-ойим, что ходит под непостоянным небосводом. Я к Вам пишу, чего же боле, сие послание от вечного друга о том, как твои дела? Как растут твои дети? Что с твоим базаром? Засим возжелал я удостовериться как твой прибыльток? Этот самый братан Толипа-воночки зарился на твоё место, выкусил ли он? Изложение моего состояния таково: у меня всё в порядке! Бляха-муха, соскучился по тебе... Вернулся бы что ли этот Шалопай... кхе...кхе... Шаломай с Ташкент, сердце бы лишилось на мгновение своей истомы. Здесь, хоть убей, ни одной узбечки! Однако солнце моей преданности всё так же светло, ведь ты знаешь сама... И на этом тернистом пути пусть жизнь моя изойдёт, но верность будет навечно сиять на её вершинах. Черкани и ты пару строк.

Искренне твой муж Улмас.

дел мастера Белкова, но кассирша тётя Дуня знала его как облупленного, а потому тут же ляпнула:

- Что, опять шпионы?

Бесфамильный стал строить страшную гримасу, в которой сошлись все его чувства: от любви к социалистической Отчизне и до нетерпения пописать, но после разоблачения матёрых разведчиков. Тётя Дуня поняла всё и спросила:

- Докуда будем обилечиваться?

- Бессрочный, - бесстрастно, как пароль, отвечал чекист, и тётя Дуня поняла, что тому нужен билет на все возможные направления и на все временные пояса в пределах СССР, а потому взяла пустой бланк мягкой плацкарты, и убористо написав: "Предъявленному верить!", тяпнула сверху печатью.

- Приедешь, вернёшь! - строго наказала она для отчётности и перешла к обилечиванию следующих полуночников. - Вам куда?

Молоденькая девушка пыталась что-то объяснить на некоем странном узбекском, ещё более странном, чем "мая твая не панимайт", а потом и вовсе просунула в окошко карту и показала отчерченный маршрут до Горчакова.

- Сколько, - спросила тётя Дуня. Та опять что-то залепетала и просунула следом в окошко какие-то бумажки.

- Бу нима? - исчерпывая ресурсы своего узбекского, спросила в лоб кассирша.

- Далларз, далларз, - отвечала девушка.

- Зачем мне эти твои бумажки, давай рубли! - занегодовала тётя Дуня.

Тогда благородный араб, оценив замешательство в переговорах, снял со своего мизинца фамильный перстень и протянул его в окошечко. Тесная касса осветилась ровно вдвое. В узенькие глазки тётя Дуни вонзились два острых луча.

- Слушай, но у меня сдачи не хватит, - простодушно сказала советская кассирша. - Постойка, сбегаю в буфет, займу у Фроськи... - и она засемила толстыми, отёкшими ногами в сторону станционного буфета, освещая себе кольцом путь во тьме.

Пока они совершают эту сделку, послушайте теперь об Османе Бесфамильном, который сидит здесь неподалеку в зале ожидания и словно бы читает "Советский спорт". На самом деле он трудится, этот Осман Бесфамильный, и трудится напряжённо на тайном посту незримого фронта.

Осман Бесфамильный конечно же некогда имел фамилию. Настоящую, свою. Ведь родился он от отца весьма знаменитого и влиятельного, который ещё до войны имел возможность приглашать к себе на дачу на кок-терекской окраине Гиласа молоденьких, да и замужних артисток и устраивать им небольшие "госпросмотры". Как им удавалось после этого не забеременеть без презервативов - одному богу известно, но вот мать Османа - знаменитая красавица-артистка плюс многодетная мать, которая беременела, что называется, даже от плевка, понесла после первого же из предвоенных просмотров и на седьмой месяц родила своему мужу, вернувшемуся из армии пять месяцев назад, любопытствующего крепыша.

Народ решил, что опыт ударных пятилеток уже проникает значительно глубже, чем принято полагать, а потому, когда следующую солдатскую дочь она родила в полное девятимесячие, люди решили, что это к войне.

В годы и впрямь пришедшей войны, артистка рожала и пела, а отец Османа пропал без вести, бог весть где, и вот тогда в метрике мальчонки появилась странная надпись: "Об отце сведений не имеется". А когда Осман научился читать и прочитывать это - умерла в расцвете сил и таланта его мать - заслуженная артистка, нарожавшая многим мужьям многих детей-сирот, унеся в могилу все свои гражданские секреты. Стала его воспитывать какая-то двоюродная тётя, заставившая его с первого дня называть себя мамой, а поскольку Осман не имел этой привычки раньше, поскольку

почти не видел разъезжающую по всем фронтам свою концертно-бригадную мать, то он решил, что матерью называется тётя, и жил с этой мыслью, пока не научился понимать прочитанного.

Вот тогда-то он понял, что настоящий его отец был одной живой легендой, настоящая мать - второй, недавно умершей, так и стал Осман произведением двух легенд: одной мёртвой и другой - живой.

Людам смышленным этого достаточно, чтобы понять, почему сейчас Осман Бесфамильный сидит на полуночной скамейке, делая вид, что читает "Советский спорт", а на самом деле бдит на незримом участке тайного фронта, остальным же скажу... а впрочем, что и говорить.

Пока вы слушали об Османе, вернулась тётя Дуня, а за ней и Фроська, и даже Альфия-посудомойка, чтобы снять с благородного араба ещё чего-нибудь уж такого.

Словом, в 4 часа утра уезжали молодые из Гиласа поездом Фрунзе-Джалал-Абад с двумя сумками советских денег и в сопровождении КГБшника Османа Бесфамильного, провожаемые всей женской трудовой частью станции - от уборщицы Минигюль и до кухарки Чиннигюль. С тех пор и стали ходить по Гиласу, как средства обмена, золотые, серебряные, бронзовые, медные и даже одна из слоновой кости - вещицы из фамильного достояния марокканского короля, пока, в конце концов, не осели там, где им и положено быть - в ларце у Оппок-ойим под крышкой белого рояля с надписью "Рёниш-Хацунай".

Но вернёмся к молодым. Музайана ехала в Эски-Моокат со смешанным чувством. Представьте себе девушку, всю жизнь скитавшуюся с родителями по миру, чтобы впоследствии осесть в Бруклине, где никто тебя за своего не считает. Да и что тебя считать за кого, если отец твой присматривает за лампочками, а мать - за мусорными коробками. И всё же Музайана была хоть бедной, но гордой - по своему происхождению; ведь сколько к ней сваталось этих лавочников и перекупщиков, этих лабазников и плововаров, гребущих теперь доллары совсем как на Пиян-базаре, да ни за кого она замуж не пошла, пока вот этот марокканский принц не обнаружил где-то в Саудовской Аравии два списка генеалогических древ, по которым оказывалось, что они оба происходят из одного корня.

Теперь она ехала туда, где шумели листья этого дерева - совсем как серебристая листва огромных тополей, сопровождавших въезд со стороны долины в эту лощину, где располагался её родной Эски-Моокат, которого она никогда не видела. Можно ли въезжать в свои сны, в свои видения, в свои мечтания, ещё бог весть во что несуществующее? Отец называл это Родиной, потому что родился здесь, но почему её сердце волнуется от приближающихся гор? Почему их красный песок, их синие камни да белый снег не кажется просто пейзажем, а попадает в глаза и тает какой-то горечью?

Глиняные покосившиеся дувалы, через которые свешиваются головы желтоглазых урючин, цветы, покрытые пылью, пыль, покрытая забвением, редкая женщина в парандже или мужчина на ишак-арбе. Что это всё после Манхэттена, Бруклина, Квина? Откуда и зачем? Комок стоял в горле Музайаны, и вопросы Вамека казались посторонними, лишними, никчёмными...

Зачем, зачем, зачем отец ушёл отсюда, зачем не дал ей родиться здесь, куда ещё не проникла, не переехала, не искорёжила землю и её людей дорога, железная дорога?!

...Они поселились у её дяди по отцу - Нурмат-хона, который бедно, но достойно прожил свою жизнь, тачая сапоги и растя своих многих детей. Дети теперь были пристроены: кто женат, кто замужем. Прослышав о Музайане и Вамеке, сразу же пошли гости: дядя дяди, племянник зятя дяди, отец свёкора невестки, невестка отцовского племянника, жена сестры свёкора дядиной племянницы... Поначалу Музайана вела записи всех посетителей и их родственной связи, но одно

упустила она - подарки, строго расписанные отцом, пошли бог знает по каким рукам - согласно номера прибытия. А поскольку этих подарков оставалось всё меньше и меньше - этих американских безделушек и блестящих штучек с тайваньским клеймом, а обнаруживающихся родственников всё прибывало, то иной раз Музайане казалось, что она исходит золотым дождём на то самое генеалогическое дерево, и даже вернее, словно бы мать её уборщица и отец-электрик омачивают и протирают тряпкой каждый его листик, чтобы тот зажигался золотым дождём, блестящим светом...

Кончились подарки, но не кончились гости. Они ждали уже очередями возвращения Музайаны и Вамека-бен-Хасана с прогулки по владениям прадеда или же с ущелья, где Обид-кори провожал их отца, передавая его горным киргизам, до сих пор помнящим тот исход. Тогда Музайана стала раздавать гостям просто советские деньги - те самые две сумки купюр, увезённых со станции Гилас. Люди радовались, что и в Америке такие же деньги, что и у нас, и всё интересовались, а что там можно купить на вот эти три рубля? А если прибавить ещё рубль Абдусамата и пятёрку Рузван-биби, которая и вовсе не была родственницей, но заговорила рвоту Музайаны то ли ото смены климата, то ли от обилия гостей?...

В ответ Музайана показывала мужчинам туфли Бен-Хасана, а женщинам свой халат, и те хором спрашивали, а нельзя ли обменять эти самые три, один и пять рублей на пусть поношенные, но со скитальческих, родных, святых плеч и ног вещи? Вскоре ни на королевском потомке, ни на потомце Пророка не осталось ничего заокеанского - Вамек-бен-Хасан купил здесь в "Сельпо" киргизскую войлочную шапку и разноштанье брюки джалал-абадского местпрома, Музайана была одета чуть лучше, потому как покупала вдовье рукоделие на базаре, и когда они рассчитались с последней трёшкой для леденцового петушка по новорождённому из этого древнего рода, которого, кстати, в честь Музайаны и Вамека называли Музмеком, начались толки-кривотолки...

- Жоним, анави кеган кизди курдийзми? Дадасиям тузук, энасиям-а! Дадаси бир кун дадамга етти тано ер берганта! Кизиям дурус, менга, шу денг, бир йумолча апкепти, нукул биздан кетмай Хачча-момикка тиктиргандай денг!

- Менгаям анови янидаги борку, анови алини балидан ажратмайдиган-чи! Бир сум берувди денг, уларди бир суми экан-та, яна йигирма тийин куштим-та, бир каса каттик олиб ичтим. Ичларимми ювиб-ювиб олдим-та!<sup>72</sup>

К чести своего племени хочу сказать, что эти пересуды возникли не сами по себе на пустом месте. Это была строго продуманная и чётко рассчитанная акция, осуществлённая Османом Бесфамильным, о котором все, казалось, давно уже забыли. А он тем временем не дремал. Он яростно и неустанно работал на тайном фронте. Тридцать семь негласных встреч с чабанами, почтальонами, банковскими служащими и даже с одноруким киоскёром дядей Серёжей, у которого не было никаких секретов кроме припрятанного номера еженедельника "Футбол", так вот, негласные встречи, организация законспирированной агентурной сети, о коей никто никогда бы не узнал, если бы каждый день у старой мельницы, где дрались моокатские петухи, Шымырбай-бозаши, напившись своей бозы, не рассказывал, кто из моокатцев подписал сегодня согласие на "внегласное", как говорил он сквозь плач и сопли, сотрудничество с чужим шпионом.

Так вот, эти пересуды начал сам Осман Бесфамильный, поскольку ему и вовсе ничего не досталось по долгу его службы. Ведь и конфискация, о которой днём и ночью думал неусыпный

<sup>72</sup> - Душенька, вы видели эту девушку? И отец у ней приличный, и мать! Отец её когда-то выделил моему отцу семь танобов земли. И дочь его хороша, вот привезла мне платочек, ну так похож на рукоделие Хаччи-момик из нашего села!

- И мне этот, который рядом с ней, ну тот самый, которому что Иван, что болван - дал рубль, ну их самый рубль, так вот, я добавила к нему ещё двадцать копеек и купила банку катыка. Прочистила себе нутро!

Осман, уже ничего, кроме местпромовских носок и сельповского халата, не дала бы. И так, подарки кончились и начались толки. Но Осман просчитался в одном. Музайана была кровью из того же племени, а королевский потомок - что им королевский потомок! - он молчал, ничего не понимая, как молчал бы, если всё понял...

Музайана ответила на окончание подарков и денег теми же толками-сплетнями. Поначалу она рассказывала всё прибывающим гостям о тяготах жизни в Америке, о безработице, бесправии трудящихся, о гнусной эксплуатации труда капиталом, чтобы хоть как-то объяснить отсутствие подарков, и именно тогда турецкий курд Мустафа Джемалович, пользуясь дальним своячеством учителя физкультуры Хаита Кучкан-оглы, сводил к ней все свои подопечные классы, проведя их разом по курсу обществоведения и истории КПСС по части буржуазной критики. Потом, когда школьники перестали появляться, но являлись одна за другой женщины из дальних кишлаков и айлов - внучка последнего провожатого её отца, жена конюха, отец которого подковывал её отцу лошадь, тётя носильщика и племянница разбойника, которые стащили тюк богатств, свояченица отпрыска казия, что всё это отыскал, Музайана за концом разговоров, стала показывать этим богомолкам, как сношаются в Соединённых Штатах Америки. Нет, нет, правда, смотрите, сколько у вас детей? Двенадцать? Четырнадцать! А знаете почему? Потому что у вас нет презервативов. Чего? Пре-зер-ва-тивов! Это вот такая штука! Нет, это не первомайский шарик. Эта вещь надевается на член. Что такое член? Это то, что вам делает детей! Нет, это не муж, это член мужа, как это по-узбекски? В общем, по-английски это называется... - женщины при этом накидывали на себя паранджу, но продолжали слушать. А ещё подсматривали! А некоторые из них даже доносили увиденное до Османа Бесфамильного.

- Вот так она делает, вот так! - неумело показывали они по очереди движения безбожной американки. - А ещё вот так, вот так!

И только чувство братского патриотизма к этим простым труженицам сдерживало Османа от постыдных поступков в номере колхозной гостиницы.

- Вот так вот! Вот так делает, а!

- Ладно, - успокаивал их чекист. - Недолго ещё верёвочке виться!

- Да-да! Извивается вот так! Вот так! - и забыв паранджу, эти жёны конюхов и пастухов спешили к себе домой, чтобы скорей наткнуться на своего бестолкового неуча мужа!

Шёл последний месяц визы...

Королевский потомок от полной ненужности уже запил, найдя себе в сочашники Шымырбая-бозаши, который учил благородного араба советскому языку. Музайана истощила свои фантазии и фантазмы и уже просто и тупо сидела как идол, гости же шли и шли, целуя кто ей ноги, кто подол платья, а бездетные женщины и вовсе водили её руками по своим грудям, лобызая её бесчувственные ладони.

Мало-помалу все кто ехали паломничать к Сулейман-горе, стали по дороге непременно заезжать к этой святой девушке, от безмолвия которой излечилось будто-бы 15 плешивых, 7 Паркинсонов, 6 алкоголиков, 4 экзематиков и даже один с геммороем. Она теперь просто и тупо глядела на входящих, пока перед глазами вместо лица входящего не появлялось светлое пятно, солнечный зайчик, за которым уже не было нужды разбираться, кто пришёл и зачем.

Именно на это время её священного ступора приходится попытка главврача эски-моокатской райбольницы Кутманбая Аримбаева осуществить транснациональный брак с целью перекачки своих эски-моокатских денег в банки Уолл-стрита, поскольку именно он - Кутманбай Аримбаев, а не управляющий банком, и тем более не начальник БХСС, был самым богатым человеком Эски-Мооката. "Скорая помощь" работала у него как такси, хирурги подрабатывали мясниками,

терапевты - ветеринарами, а морг - был единственным в то время промышленным холодильником, которым пользовались в аренду и молокозавод, и МТС, и райсельхозпродукт.

У Кутманбая было всё, и даже в отличие ото всех восточных сказок - сын и дочь: двойняшки Дерсу-бай и Узала-ай. Их-то он и решил распределить между Музайаной и Вамеком. Но вот незадача: ни Музайана, ни тем более Вамек не говорили по-русски, и с другой стороны Ни Дерсу-бай, ни Узала-ай не понимали ни по-узбекски, ни по-английски. Надо было выбирать язык семейного общения. И тогда Кутманбай решил: быть тому языку киргизским. Для двух великовозрастно-русскоязычных детей главврача срочно был нанят учитель киргизского языка - тот самый Шымырбай-бозаши, который спивался от ненужности никому, он же взялся теперь обучать благородного араба за пиалкой бозы не общесоветскому, а специально-киргизскому языку.

Труднее было с Музайаной, у которой всё продолжался онтологический ступор, но и здесь деньги Кутманбая Аримбаева сделали своё дело. Вертолётom, по всем горным джайляу были разбросаны тысячи листовок, как в день выборов Кутманбая депутатом советов трудящихся и колхозников. Но листовки были не об его преданности делу партии и народа, о необыкновенной целительнице, дающей мужчинам и скоту сказочное плодородие, как легендарный киргизский народно-эпический герой Майке, и киргизы потянулись отарами с джайляу в Эски-Моокат, заполняя дом Нурмат-хона своей горно-беспримесной речью.

Вот тогда-то дети Нурмат-хона стали киргизскими народными сказителями, а Музайане это язык стал сниться по ночам. дело было почти сделано, и уже оставалось посылать сватов, но... вмешался опять тот самый недремлющий никогда и нигде Осман Бесфамильный, этот крот, который и роет нашу историю.

Дело в том, что хватившись к тому времени своих пропавших гостей, Оппок-ойим поставила, что говорится, на ноги всё МВД, КГБ и Туркестанский военный округ, главкому которого в паспорте она приделала ставшими тогда модными брови вместо вышедшей из моды по состоянию здоровья лысины.

Розыск дезертира Османа Бесфамильного, не получившего в срок свой очередной паспорт, принёс свои скорые результаты. Говорили, что три чекиста, семь милиционеров в штатском и взвод солдат срочной службы под командованием старшины Блюхера накрыли Османа в его номере колхозной гостиницы, когда тот читал припрятанный одноруким киоскёром дядей Серёжей очередной номер еженедельника "Футбол". Но мы-то с вами знаем, чем занимался Осман на самом деле. Он пытался это объяснить коллегам, те же били его под дых, а старшина Блюхер всё норовил на выдохе затолкнуть ему в рот кляп из чьих-то подведомственных портянок.

На следующий обеденный перерыв Осман бежал из-под стражи, ушедшей на обед... Говорили, что два голодных сторожевых пса выловили его по запаху тех самых портянок, но, увы, конца этой истории я не знаю. Сколько ни пытался я найти её концы, но концы её, что называется, ушли под воду. Тысячу разных версий, могущих составить книгу, но я скорее доверяю тому самому дяде Серёже-киоскёру, который, продавая перед смертью мне припрятанный "Футбол", ставший к тому времени "Футбол-Хоккеем", затянулся папиросой, поправил свои орденские колодки и сказал:

- Лет через пятьдесят, а может быть через сто, когда рассекретят архивы, вы узнаете, кем был товарищ Бесфамильный на самом деле... Вот так.

А что касается Музайаны, то измученная вконец своими соплеменниками, она возблагодарила Бога за бегство своего отца - это всё, что я знаю о ней.



## Глава 27

Дом бабушки - две комнаты, выложенные из сырцового кирпича и крытые черепицей, был построен сразу после войны, когда сложилась правая от железной дороги сторона Гиласа. Прежде здесь были тугаи, прирастающие то к Солёному, а то к Зах-арыку, и ещё к одной чёрной речке, у которой не было названия.

Дом бабушки был в двух шагах от железной дороги, в полутора - от чайханы, и в шаге от артели Папанина, ставшей потом ателье индпошива еврея дяди Мойши, привезённого из города директором бывшей артели дядей Изей, когда тот сам уехал на повышение в город, а оттуда в только что открывшийся Израиль.

Одна комната с двумя зарешёченными окнами и застеленная казахской кошмой прямо по земляному полу, была гостевой. В углу её стоял сундук, поверх которого выкладывались штабелями цветастые ватные одеяла, рассчитанные на приезд гостей. Сундук был самым таинственным местом в доме у бабушки: оттуда появлялась посуда для прадеда, там же хранились конфеты и сладости, извлекаемые три раза в год - на мавлюд, на курбан-хайит<sup>73</sup> и на 1 мая. Там же лежали четыре фотографии бабушки и трёх дедушек, поумиравших один за другим, да ещё одна газета, которую последний дед, а вернее дедчим, вынимал по особым случаям, когда уже хвалиться было нечем. Так в сказках, которые читал мальчик своей охающей от ревматизма бабушке, появлялась то живая вода, излечивающая мгновенно раны, то скатерть-самобранка, то "ур тукмок" - "бей дубинка!", припускаявшаяся в безнадёжно-отчаявшуюся минуту колотить опешивших врагов. Так и дед вынимал эту газету только по крайнему случаю, например, когда приезжали к нему из Зыряновска чеченцы - Нуру-д-дин и Имраан, привёзшие в слитках золото да богатые настолько, что их однодневная закупка каракулевых шапок и козьих тулупов тянула на 8-10 тысяч - деньги, на которые бабушка могла бы дожить всю свою жизнь и ещё оставить наследство.

Так вот, дед вытаскивал из сундука газету "Правда" за 5 марта 1953 года с сообщением ТАСС о смерти товарища Сталина - этого таинственного для мальчишки имени, поскольку старшие, которых слушался он, чтили ещё более высокое над ними - невидимого Бога и умершего Сталина. И тогда чеченцы замолкали то ли от страха, то ли от ненависти, то ли не зная, чем ответить...

Бабушка была безбогомольной, но истой по происхождению мусульманкой. Когда умирали её мужья, она выходила замуж внове, чтобы дети от предыдущего брака не росли сиротами, а потому остановившись совсем как мусульманин на своём четвёртом браке, она уже не могла себе позволить, чтобы последний дед умер или пропал. Правда, дед иногда уходил из дому из ссоры или обиды, и тогда бабушка перебиралась из своей комнаты с сундуком и железной кроватью, над которой висел клеёнчатый коврик с изображением трёх оленей на водопое - в "дахлиз" - приходу ко всем своим оставшимся детям.

Перебравшись в дахлиз - комнатёнку с печкой и деревянными нарами на половину её площади (когда раз в год надо было вычищать эту шахту под настилом от мусора, кутаясь в паутину и ползая на карачках, мальчик находил среди трупиков мух и скорпионов всё потерянное всей семьёй за год - напёрсток бабушки, точило деда, скрипичный смычок Рафим-джона - (с этой скрипкой - отдельная история. Рафим-джон, евский в детстве свои экскременты, чуть подрастая, неизбежно нашёл 1962 рубля, выпавших вместе с председательским пояском из какого-то проходящего, разгульного поезда. Отнесли эти деньги Темир-йулу, тот держал их у себя два дня и на третий выдал им четверть суммы, дескать, так положено всякому, нашедшему клад. Куда дел Темир-йул остальные три четверти - вернул ли благодарному председателю или сдал государству -

<sup>73</sup> день рождения Пророка и праздник жертвоприношения - мусульманские праздники

неизвестно, но как бы то ни было, на выданные деньги был куплен в тот же день телевизор "Рекорд", так что Саймулины с их КВНом были надолго посрамлены, пока не купили на весь Гилас единственный холодильник ЗИЛ. Так вот, после покупки телевизора, а после него в местном культмаге у хромоножки Мавлюды ещё и велосипеда, тоже единственного на махаллю, Рафим-джон долго берёт свои последние 19 рублей 62 копейки - сотую долю того, что он нашёл и что растаяло по Темир-йуловским сейфам и женским сундукам, и, наконец, у той же Мавлюды-хромоножки в том же культмаге купил небывалую вещь, вещь к которой не подступался ещё никто: брали галстуки по рубль восемь, тетради по две копейки, два пера - за одну, и даже однажды барабан по перечислению 11-ой школы, но чтобы купили скрипку, что была завезена как начальный ассортимент при самом открытии магазина! - так вот, Рафим-джон купил эту самую скрипку с смычком.

В первый день он её никому не давал даже подержать, только вскрытую - Натке - дочери Веры-шалавы, и только потому, что он её целовал под раскоряжистым талом на границе дворов; целый день он возился со скрипкой сам, но она не испускала ни звука. На второй день, когда переспав с ней, он вынес её на улицу, пацанва стала подступаться с советами: кто-то сказал, что надо сильнее прижимать вот эту волосатую палку, Юрка Логинов обозвал того самого "волосатой палкой", и сказал, что эту штуку зовут смычком, он читал это в книге, тогда Рафим-джон доверил ему смычок, и Юрка теряясь от доверия, попробовал провести смычком по струнам, но бесполезно - ничего кроме шуршания не раздалось, тогда крымчак Исмет заметил, что надо прижимать струны пальцами, передали ему, но, увы, скрипка изредка хрипела, чуть чаще шуршала, а потом, к вечеру, однажды и затрещала.

В общем через неделю она кончила свои дни на чердаке, разлучённая со своим потерянным смычком, но когда мальчик однажды убираясь под деревянной супой в дахлизе нашёл там скрипичный смычок, и уже даже знал, что его оказывается надо смазать канифолью, которую, впрочем, так и не нашла у себя в амбаре хромоногая красавица Мавлюда. Как бы то ни было, скрипка, переломленная надвое, но сцепленная неразрывными струнами, так и сохранившими своё молодогвардейское молчание, долгое время путалась повсюду под ногами, и когда кто-то в очередной раз споткнувшись о деку или корпус, хватал её и в сердцах швырял, обломок, отлетев на расстояние натяжения струн, опять возвращался под ноги, и струны при этом издавали недовольный гул, стряхнув с себя слой заржавелой пыли. Так вот, скрипка потерялась затем окончательно: то ли мыши растащили её по частям, то ли кто-то из завистливых соседей лазил ночью на их чердак, то ли ещё что, словом нашёл мальчик под этой супой и смычок от потерянной скрипки Рафим-джона, и свой проколотый и полуспущенный мяч, и даже седьмой том книжки "Тысяча и одна ночь". Эту книгу особенно любила слушать бабушка, когда мальчик, очистив печку от золы - как звенит совок, напо-о-лняя себя и оставаясь по весу всё тем же, - как легка зола и просторна, - приносил со двора немного дров и ведро угля, который разгорался лишь когда обрызгаешь его густо водой и размещаешь как краску, чтобы обмазать ею уже полыхающие с треском и спелым дымом дрова, и вот бабушка обычно ложилась на своё исконное место - вдоль всей печки, в которую упирался этот полуметровой высоты дощатый настил, и мальчик сперва разгонял по её ревматическим ногам застоявшуюся узлами кровь, а потом отыскивал какие-то железки, вырастающие то там, то тут, и растирал их до исчезновения под довольное и страдальческое поохивание бабушки.

А потом он начинал читать ей "Тысячу и одну ночь", книгу нескончаемую, как и сама жизнь, как эти бесконечные зимние дни, начинающиеся и кончающиеся здесь, в этом дахлизе, где печка да бабушка, да три брата-дяди, и изредка возвращающийся из обиды дедчим, а между ними - на несколько часов школа.

Дом бабушки - эти две комнатёнки, в которые едва проникает свет до уровня дощатой супы, раз в год после зимы красились неровной зелёной краской, вернее зелёнкой, разведённой в гашённой извести, а потом этой же щёткой-мочалкой, оставлявшей редкие зеленоватые полосы, белились вплоть до фанерного потолка, покрытого раз и навсегда олифой, ставшей коричневой от времени и копоти. По потолку неровной змеёй шла проводка недавно проведённого монтажником Болтой - мужем первой гиласской шалавы, света. До того дед каждый вечер колдовал над своей керосиновой лампой десятого номера, то дуя в стекло, то протирая его до блеска специальной ворсистой фланелью, то подрезая, как собственные усы, маленькими ножничками распустившийся за вчерашний вечер фитилёк...

А потом появлялся свет, окутывая сначала лампу паром, и вслед, по мере высывывания фитиля, разгоняя этот пар по сеточке, оставшейся от усиленного протирания той самой ворсистой фланелью; лампа ставилась посреди хонтахты - плоского прямоугольного стола на коротких - со спину облысевшей от этого кошки ножках, и все садились вокруг лампы и вокруг стола на ужин, кончавшийся молитвой: "Адам бой бусин, пуллари куп бусин, уйимиз ёруг бусин, омин!"<sup>74</sup>

Дом бабушки...

---

<sup>74</sup> Пусть отец будет богатым, пусть у него будет много денег, пусть дом наш будет светлым, аминь!

## Глава 28

Гоголушко знал обо всём. Но не знал он об Апостольском Храме Фомы. Впрочем, никто в Гиласе не знал об этом храме, кроме отца Иоанна, которого все считали сумасшедшим сторожем русского кладбища и звали просто - Иваном, а то и старым Ванькой. Посреди русского кладбища стояло некогда некое уродливое сооружение, считавшееся в народе колхозной гидроэлектростанцией, построенной ещё до революции. И она тихо-потиху обрастала курганом могил, так что осталось лишь кривое конусообразное возвышение всё той же уродливой формы. Вот и всё.

Правда, среди мальчишек Гиласа ходил разговор, что никакая это ни гидроэлектростанция, поскольку изнутри она уходит глубоко в землю и вся выложена из роскошного коричнево-красного гранита, которого в Гиласе только одна плитка - на самую последнюю ступень под пьедесталом известкового Ленина.

Храм Апостола Фомы, заложенный по преданию самим Неверующим Апостолом и впрямь уходил глубоко в землю, вернее, земля веками поднималась вокруг храма, нутро же его, вычищенное за долгие годы истового служения отцом Иоанном и вправду было великолепным. Густой и гулкий, именно так, гулкий гранит, напоминающий гранит совсем уж недавнего Исаакия, в котором начинал службу благочинным отец Иоанн, вздымался колоннами вверх - к куполу строгому и отверстому в азийское пыльное небо. Но не колонны, вычищенные до скользкого блеска отцом Иоанном, создавали великолепие убранства, а бесчисленные гранитные ступени, уходящие спираль за спиралью, всё более утончаясь, вверх и вниз. Часть из них из местной сырости покрылась окаменевшим мхом - делом совсем уж чудным в этих краях, и сколько ни пытался отец Иоанн соскрести его, мох настолько въелся зелёными разводами в серо-коричневый камень, что дальше - соскрёбка грозила самому благородному граниту.

Здесь не было ни икон, ни образов, ни крестов, ни лампадок: ничто не отвлекало духа кроме единого стремления снизу вверх: последнюю штукатурку с благолепного и строгого гранита отец Иоанн снимал, соорудив себе род люльки, свешивавшейся с единственного отверстия в куполе, работал он на самом рассвете, когда никому из православных не приходило в голову умирать, а если и приходило, то крутые на водку поминки всё равно кончались лишь на третий день, и только к вечеру третьего дня являлся какой-нибудь антихрист наподобие Мефодия с бутылкой зелёного змия и оповещал отца Иоанна об очередном преставившемся из воинства Сатаны. Правда, отец Иоанн и их употреблял в дело, возводя своего рода неприступный курган из этого бесъего семени вокруг беспорочного Храма своего.

Ниши, обозначавшие окна, выходили в глухую землю, источавшую из себя тлетворную влагу. Её-то отец Иоанн забил наглухо чёрным, смолистым толем, и при свете полуденного солнца, иной раз косо попадавшем в купольное отверстие, эти окна начинали светиться синим светом, и чудное ощущение извечных сумерек посреди полуденного мира наполняло сердце отца Иоанна прохладой успокоения.

Одна страсть снедала отца Иоанна все эти долгие годы пустынного служения - он алкал восстановить Храм в былом великолепии. Эта страсть позволяла ему жить лишь приношениями нескольких старушек-баптисток, а особенно Марфёны Моши, которая боялась, что хороня и её, отец Иоанн проклянет раскольное семя, и поскольку отец Иоанн был единственным религиозным чином во всей этой округе, то бедная Моша дорожила изо всех сил его возможным причастием. За долголетним усердием отец Иоанн потерял во многом привычку к постоянной еде, пасхальные куличи пучили его, а яйца и вовсе вызывали жжение привыкшей к темноте и прохладе кожи, - любимой пищей его были орехи, которые он набирал на границе своих владений, да изюм, изымаемый им из запредельного колхозного виноградника и засушиваемый во славу запёкшейся

крови Господа.

Было сказано, что одна страсть снедала отца Иоанна - он жаждал восстановить божий Храм в былом великолепии, и именно эта страсть заставляла его ежечасно вести летопись деяний разношёрстного племени пёсеголовых - этого беспутного, распутного, заблудшего племени гиласского. Правда, вёл он эту летопись за вычетом тех лет, когда его отправляли то на Соловки - откуда он, собственно, и был выслан в эти края первоначально, то на Колыму, а то - в последний раз уже неподалёку - в зерафшанский Учкудук. А высылали его не мудрствуя лукаво - по разнарядке - по разнарядке, поступающей на Гилас свыше - то как классового врага народа, то как безродного космополита-националиста, то в последний раз как тунеядца-рецидивиста. Отец Иоанн был несмирен духом, одно лишь беспокоило его то на Соловках, то на Колыме, то в Учкудуке - не начнут ли благоустройство русского кладбища, и за этим делом не вскроют ли храм апостольский, оставленный им в виде могильного кургана то с директивой Сталина, набранной белым галечником: "Все лицом к деревне!" - так, чтобы нечестивые и не смотрели в эту сторону, то под знаменем с антихристовым усатым портретом, чтобы никому неповадно было сюда соваться, а то - в последний раз... в последний раз было труднее всего: ведь набери он какой-нибудь лозунг - высылавший его в прошлый раз Кара-Мусаев-младший - уже ставший к тому времени просто читателем лозунгов Мусаевым - придёт просвещаться и на это кладбище, засеет отец Иоанн могильник хрущёвской кукурузой - блудница Вера потащит сюда свою клиентуру - словом всю ночь перед отправкой в Учкудук мучился отец, пока - да простит Бог, не перенёс свою уборную - и ведь был прав - взрослым в голову не приходило отправлять свою нужду на середине кладбища, а дети никогда не заходили вовнутрь будки, загадив между тем её со всех сторон.

Хоронил православных на время отсутствия отца Иоанна - Мефодий - кого за трёшку, кого напрямую - за бутылку. Но ни промежуточные похороны, ни эти ссылки и высылки не были главными в жизни отца Иоанна. Хотя именно они и были жизнью его. Главным в жизни его был Храм. Вся истовая его жизнь положена на восстановление, но вместе с тем, как всё меньше и меньше оставалось во храме несчищенного и неотполированного, тем большее беспокойство разбирало отца Иоанна. Нет, не досужее беспокойство о том, что его отправят в очередной раз по разнарядке, теперь, скажем, в качестве гиласского диссидента - он к этому привык и телом и душой, а потом - Господь сам наказывал гонителей, - нет, о предназначении Храма была тревога и забота отца Иоанна. Долгие годы сама работа по очищению его занимала отца, и не было иных мыслей, как восстановить Храм в былом, первоначальном великолепии. Но теперь, когда последняя соскрёбка, последняя шлифовка была уже вот-вот, сердце отца сжималось как всё уменьшающиеся наросты на гранитных колоннах: а что потом?... Да, что потом?! Открывать это великолепие разноплеменному сброду пёсеголовых?! Затем ли это великолепие и лепота, дабы эти свиньи тупорылые сбежались как на жёлуди?! О Господи, затем ли Ты испытывал его всю жизнь, обратив его волю в подвиг, если теперь станешь метать сей бисер меж кабанами рода человеческого?! Кому Ты доверишь Храм свой?! Тем, кто обратят его на первый же день в краеведческий музей, на второй - в хранилище, а на третий - и вовсе в склад вонючей картошки да прогнившего беляловского лука?! С этим отец Иоанн никак не мог смириться.

Он увещевал свою гордыню, он понимал, что Храм без людей - не Храм, но где эти люди, о Боже?! Зачем же Ты создал столь совершенной веру свою, что мир погрязает в безверии? И разве поправление этой веры, жизни его, положенной на восстановление - это смирение гордыни?! Мучился отец Иоанн духом, а потому всё оттягивал тот час, когда Храм заблистал бы в могучем совершенстве, как во времена Апостола Фомы по прозвищу Близнец...

Нет, не верилось отцу Иоанну, что с завершением Храма подземного завершится восстановление Храма Небесного, не верилось... Казалось, дух самого Фомы Неверующего витал над отцом Иоанном, углубляя его сомнения.

Отец Иоанн ещё в бытность свою благочинным в Исаакиевском Соборе, ещё в юности своей, когда цвела русская философско-богословская мысль, размышляя о природе веры, с хладеющим ужасом осознавал, что опыт чужой веры - незначим, что вера - это ощущение, переживание глубоко внутреннее и несказуемое - именно потому веры складываются с чужих слов, на то и несовершенные, предающие и мучающиеся вслед апостолы, дабы устанавливать догмат. Сократу нужен Платон, Христу - апостолы и евангелисты, Мухаммаду - халифы. И вот, занимаясь историей апостолов более чем историей самого Христа, отец Иоанн избрал не откровенного предателя и антихриста - Иуду, не предсказанно-отрёкшегося от Иисуса - любимого Петра, не велеречиво-восхищённого соименника своего - Иоанна - они и впрямь были предсказуемы в своих деяниях, диктуемых жизнью и смертью Христа, нет, избрал он к пытливому изучению Апостола Фому Неверующего по прозвищу Блинец. Именно к нему, сомневающемуся в очевидном и не верующему впрямь своего опыта почуял близниче сродство отец Иоанн.

В "Богословских Записках" он опубликовал две статьи, основанные на апокрифах и житии Святого Фомы, отправившегося после Воскресения Господня в Гирканию и Индию. Неверие в догматы, не прощенное высокоположенными соборными чинами и стало причиной высылки отца Иоанна на Соловки, хотя поводом был избран, напротив, его ортодоксализм. Там он и познакомился с неким Магмудом-Гаджой - нет, не богословом, но образованным мусульманином, и с неистовым удивлением обнаружил, что жития пророков имеют свои версии в Исламе. Там он слушал чудные рассказы то о Ноевом Ковчеге, где кобель решил размножиться с сукой, но оповещённый кошкой Ной не позволил Ковчегу пойти ко дну от приплота. Да только вот с тех пор и длится история кошки с собакой, как и стыдливые глаза псов - глубокомысленно заключал Магмуд-Гаджа свой рассказ. Все эти истории были столь диковинны, что отец Иоанн мало-помалу стал спрашивать Гаджу и о своих апостолах. И вот тогда Магмуд-Гаджа, основываясь на читанных им некогда древнеуйгурских христианских книгах, рассказал ему об апостоле Фамусе, дошедшем до Оксуса и Яксарта, и даже где-то заложившем храм своей веры...

Это и предредило судьбу отца Иоанна. Ночами, при свете скрипящего барачного фонаря, посаженного, как и всё здесь - в железную клетку, отец Иоанн учил завихрушки арабского и древнеуйгурского письма, пересказываемые ему по памяти Магмудом-Гаджой. Так и остались в его памяти пружинка с отогнутым назад хвостиком как "аш", а гарпунистая иголочка как "и". Махмуд-Гаджа ввёл его в мир диковинного народа - уйгуров, которые истово верили во все религии - от шаманизма и до буддизма, переводя на свой язык и "Алмазную Сутру", и покаянные молитвы манихеев, и христианские Евангелия...

Уже впоследствии, когда этот сокамерник завёз отца Иоанна в Гилас, а сам почил в Бозе в Баласагуне, осиротевший отец Иоанн стал скупать во всей округе древние рукописи, а особенно же написанные пружинками и иголочками. Говаривали, что собственно, именно он и ввёл в Гилас эту заразу - охоту на рукописи, которой болели попеременно то паспортистка Оппок-ойим, то слепой старец Гумер, то пьянчужка Мефодий, то партсекретарь Гоголушко...

... Но мы отвлеклись от мучительных мыслей отца Иоанна. Неминуемо приближался день последней соскрёбки, последней шлифовки. И что потом? Как скалолаз, взбирающийся на самую высокую вершину мира, которой кончается Земля и начинается только Небо, он понимал то опьянение, что ждёт его в этом иссиня-разреженном воздухе - с проглядными снежными вершинами - разбегающимися по сторонам - до широтного конца земли - он чуял эту головокружительную минуту... ну две, ну пять... а дальше? Что дальше, если не лопнет сердце в это дление? С горами проще - воображал отец Иоанн - надо спускаться обратно - вот и всё. Но как спускаться с его вершины? С вершины его духовного подвига, длившегося жизнь?! Куда спускаться?! Во что?! Закапывать и замазывать храм обратно?!

"Было сказано: Люби брата своего и ненавидь врага" А я же говорю вам: Любите врага своего..." - несло с этих вершин. Но кто поставит иноверца выше правоверного?! Он вопрошал самого Господа, а искал ответа в самом себе. Дьяк, епископ, архиерей, Патриарх или Папа Римский?! - эти ли столпы христианства?! Он искал ответа в себе, но то, что находил - оказывалось на поверку ни много, ни мало - отречением от догмата веры.

... Давешним днём, а вернее, давешней ночью после Пасхи Господней, он наткнулся на окраине кладбища на спящего калачиком под кустом мальчика, и от него разило зелёным Змием. Может ли быть что отвратительней этого?! Змий под Древом Познания... Отцу Иоанну вздумалось огреть Сатану дубиной - но Боже, не нашлось ничего под рукой, кроме креста, воткнутого в могилу, и уже схватив этот крест, и уже замахнувшись им, отец Иоанн внезапно стал: мальчик-туземец шептал по-русски: мама...

Он так и не проснулся, ни когда отец Иоанн перенёс его к кургану, ни когда полез работать в Храм, оставив ребёнка под своим драным тулупом при звёздах. Далеко за полночь с незнакомым доселе волнением, отдающим даже похотью, отец Иоанн внёс мальчика в Храм. Ничего подобного отец не испытывал никогда - казалось, каждое движение его прослеживается тысячами глаз тысячекрылых и бесплотных ангелов, каждый помысел его сверяется на чистоту - и он торопился показать, что звуки похоти его совершенно другой природы - так человек в силу своего несовершенства, пыхтя и потея, пытается причаститься вечности, овладеть в некоем смысле ею, а в итоге, в итоге - остаются эти похотливые потуги... Отец, запинаясь и комкаясь, прочёл пятьдесят шестой Псалм Давидов и осенил мальчика. Мальчик лишь на недолгое мгновение приоткрыл свои глаза, обвёл взглядом храм, ступени и колонны, купол, отверстие в открытое рассветное небо и опять закрыл глаза.

Теперь священник хотел, чтобы он умер сейчас и немедленно, он поймал себя на этой грешной мысли с ужасом, со стыдом, но и с неистребимым желанием - он причастил бы это безгрешно-греховное чадо, он исполнил бы этот храм смыслом и значением, но мальчик не умер, и отец Иоанн не убил его, чтобы свершиться во Храме своём...

Всё случилось куда более прозаически. Когда в некоем трепещущем опьянении отец Иоанн полез при мальчике, лежащем перед алтарём на камне, обозначающем Гроб Господень, в свою люльку - скалывать последний кусок каменного нароста на граните, этот скол сорвался при первом же ударе, и, оторвав кусок неловкой ризы отца Иоанна, грохнулся на гранитную ступень, отбив её малую часть, а потом с новой силой сорвался в подземелье... Старик торопливо спустился вниз, мучась сколотым сердцем об ущербе, но ущерб на ступени был мал, и когда возрадовался отец Иоанн о сколе, и обратил лице свое в небеси, он услышал тоненький ток подземной струйки, который змеисто нарастал... С ужасом предрешённости, старик кинулся вниз по ступеням, скользя и спотыкаясь на их отполированной глади, и там, в темноте, куда никогда не проникал дневной свет, услышал шелест крыльев улетающих ангелов. Вода из геенны огненной прибывала неотвратимо, поднимаясь зловещим паром. Отец бросился было навстречу, но нестерпимый ожог мгновенно понёс его наверх, к мальчику, лежащему с открытыми ясными глазами. Старик схватил его в охапку и хлюпая ризами по блестящим ступеням ринулся наверх, к куполу, к отверстию в небо...

То был день, когда пала водонапорная башня напротив дома слепого Гумера. Фонтан горячей минеральной воды ударил в Гиласе на территории русского кладбища. На первых порах необузданная вода размывала окрестные могилы, заложенные отцом Иоанном, которого все знали как сторожа Старого Ваньку - гробы вперемешку с летописными листами плавали поверх

целебных потоков, но потом, нагнав экскаваторы из местного ПМК и с трёх баз детей Чинали, Оппок-ойим установила на кургане вышку, что хоть и носит по-прежнему название колхозной ГЭС, но отделённая тропинкой от окрестного православного кладбища, где похоронен сумасшедший Ванька-вещатель, используется райздравотделом для сероводородных ванн...



## Глава 29

Индийские фильмы? Индийские фильмы. Индийские фильмы!

Индийские фильмы: если что и воспитывало общественное сознание Гиласа и гиласцев, то это, конечно же, не чахлые субботники Гоголушки да Сатиболди-домкома, после которых вырастали на год до следующего субботника туберкулёзные деревца, которые опять пересаживались, никак ни развиваясь ни в рост, ни вширь, но и не умирая. И не лозунги, коими переполнял Гилас вплоть до общественных уборных Ортик-аршин-малалан-киношник, спившийся на партийных гонорарах (их читал, как вы помните, лишь разжалованный из ума Мусаев, коий по этой самой неприписанности имел допуск и в женские туалеты в поисках нового смысла в новой партийной установке) - нет! нет! нет!

Если что и воспитывало, образовывало, утишало и утешало Гилас, то это конечно же индийские фильмы! Среди пацанвы существовала игра: Кобил-кавунбаш - сводный сын ревизора Рыксы, ездивший на безотчётные деньги отчима в город, ехидно спрашивал Мурика-кутра, сына монтера и проститутки: "Л.в.С.?" Тот пыхтел, матерился, как слышал в доме, проигрывал первый в Гиласе презерватив, оставленный дома кем-то из проезжих, и сдавался. "Любовь в Симле!" - победительно забирал кондом до первого проигрыша Кобил. "У нас его не крутили!" - визжал Кутр, но дело было сделано, и тогда он предлагал сыграть в орехи, где отыгрывал не только свой домашний "гандон", но и восемь названий фильмов впридачу, которых никто, кроме Кобила-дынеголова в Гиласе не знал: "С.- Сангам", "Ц.в.п.- Цветок в пыли", "С.М.Д. - Слоны мои друзья" и т.п.

То - дети. Старики ходили на них, чтобы, не стесняясь и бесстрашно оплакать всех родственников погибших и умерших до войны, на войне и после войны, а заодно и свои бестолково-беспринадлежные жизни, корейцы - чтобы заглушить горе разлуки с лукообразным Сахалином еще большим, невероятным, ИНДИЙСКИМ ГОРЕМ, беременные - дабы разродиться, алкаши - чтобы протрезветь, не говоря уже о крымчаках или заезжих единокровных с индусами цыганах, у которых, бог весть, что на смутной душе было.

А однажды, выписав по будке Хуврона-брадобрея мочой "Господин 420", заявился на одноимённый фильм и бухарский сапожник Юсуф, которому его иудейская вера запрещала веселиться в день иому-киппура, пришёл он непонятно зачем - то ли посмеяться над плачущими, то ли увидеть ботинок 420-го размера, но фильм перевернул его нутро. Украдкой сливая многовековые слёзы на пол, он увидел струи, текущие по гнилым дорожкам Ортика, полученным им по списанию от партии, струи, которые подымались по обуви его клиентуры до щиколоток, до "кунжа", до задников, говоря то ли о старозаветном Ноевом Ковчеге, то ли о горах предстоящей работы над непременно сгниющих от соли подошвах и каблуках, но как бы то ни было, потрясённый увиденным, он перестал с этого дня мочиться на будку Хуврона-брадобрея! - Вот что такое индийские фильмы!!!

А вот история, случившаяся в Гиласе после фильма "Железная дорога в Уттар-Прадеш" ("Ж.Д.В.У.П." - по Кобилу-кавунбашу). Вернее, даже не после, а во время, поскольку каждый индийский фильм прокручивался Ортиком два дня и два вечера: сеанс - для проката, сеанс - для себя и два сеанса для стацкомовской партийной кассы в день. Так распорядился начальник железной дороги Темир-йул Умур-Узаков, изменивший в приложение и расписание пригородных поездов, для согласования времени прокрутки со временем выхода с работы смен.

Два слова о Темир-йуле. Считалось, что дед его - Умур-Узак-казак строил местную железную дорогу и был погребён где-то под ней: так отец Темир-йула понял и истолковал по

необразованности путаное выражение "железная дорога была воздвигнута на крови русского и местного пролетариата". Тем более, что патриарх Гиласа старик Гумер ничего против этого не говорил, за что Темир-йул и назначил ему персональную пенсию станционного значения и прикрепил школьную бригаду тимуровцев за слепым стариком, дабы чего не ляпнул впредь.

Правда, злоязычные старухи, и, прежде всего жена слепого Гумера, правозащитница Штоннер, когда запаздывала пенсия мужа, говаривала, что Умур-Узака и впрямь убили урусы-рабочие, но из-за того, что тот занимался воровством и перепродажей просмолённых шпал на гиласское строительство. Рты - не котлы, их, как говорится, крышками не накроешь. А ведь пол-Гиласа стояло на этих шпалах, благодаря убитому Умур-Узаку. Так, стало быть, как ни крути, как ни верти, всё же на крови и костях Темир-йуловского деда!

Но да ладно! Лучше о фильме. Так вот, фильм этот был достаточно прост по сюжету, впрочем, как и все индийские фильмы. У железной дороги жила семья пристанционного Учителя, воспитавшего в своё время сироту Гопала, что рос с учительской дочерью красавицей Радхой, как брат с сестрой. Учитель сам выучил Гопала грамоте, а потом даже на последние деньги отправил его продолжать образование в Бомбее на железнодорожного мастера, обручив его к тому времени с Радхой. После отъезда Гопала семья Учителя обнищала, поскольку он сам постарел и перебивался случайными уроками, а зарабатывала деньги Радха, вынужденная устроиться танцовщицей в станционный ресторан. Там её и увидел Начальник Станции, который замыслил неладное.

Тем временем Гопал, учащийся в Бомбее, оказывается жертвой безобидного знакомства на городском празднике Священной Коровы со своей землячкой - Димной, дочерью того самого Начальника Станции, учащейся курсом ниже. Та влюблена в Гопала и там же во чреве Памятника Коровы в день праздника и петард пытается его соблазнить.

Гопал вскоре кончает учёбу и возвращается на станцию. В первый вечер по прибытии он идёт в вокзальный буфет, выпить чашечку индийского чая и, о, Вишну! О Митра! - видит там танцующую перед пьяной публикой Радху! Буря просыпается в сердце у Гопала. Радха пытается что-то объяснить, но напрасно!

Гопал поселяется в местной гостинице, а вскоре начальник станции, получивший письмо от своей дочери, не только выдает ему служебное жилище, но и назначает начальником дистанции пути.

Проходит год. В день приезда с учёбы Димны умирает от чахотки Старый Учитель, и его за отсутствием денег, хоронят на придорожном участке, рядом с железнодорожным полотном, но Гопал не знает о случившемся, а встречает дочь Начальника Станции. Об этом и обо многом другом узнает через станционных пьянчужек Радха и сорок дней спустя после смерти Отца принимает давнишнее предложение Начальника Станции выйти замуж за его придурковатого племянника, став на самом деле его наложницей, а со временем, может быть и матерью своей соперницы...

Весть о смерти Учителя и о роковом решении Радхи застигает Гопала в персиковых объятиях бесстыжей Димны, и он вдруг прозревает. Бросив всё, он бежит по железной дороге на кладбище, и там, ведомая роком, оплакивает свою жизнь Радха. Происходит сцена, где всё происшедшее и настоящее они объясняют песнями. Но, увы, они оба уже связаны обязательствами. Кажется, нет никакого выхода. И всё же любовь оказывается сильнее и там, на могиле, рядом с портретом Учителя, взирающего из гирлянд, они любятяся.

Тем временем со станции на дрезине едут, чтобы расправиться с ними, взбешённые Начальник Станции, его растрёпанная дочь, и все село с кольями и дрекольями...

Гопал и Радха стоят обнявшись и молча на железнодорожном полотне. Ветер развеивает их

волосы и одежды. А дрезина, укутанная в крики, всё ближе, ближе и ближе. И вот, кажется, случится непоправимое. Но внезапный гудок паровоза, идущего со спины, вдруг сметает всё разом, и над адским скрежетом и грохотом несётся лишь песня любви Радхи и Гопала, и поезд поёт её, отстукивая каждый такт вечной песни по рельсам...

Мой милый, не сожалей о пролитой крови,  
потоки крови сольются в одно бескрайнее море,  
что смоем ложь и вражду с лица земли,  
и земля покроется дивными цветами...  
О пяри, пяри тумса...

У Темир-йула Умур-Узакова был сын, такой же рябой, как и он сам, которого, дабы он не испортился окончательно, решено было поженить. Но, честно говоря, он давно уже был подпорчен сыном покойного греческого беглого коммуниста Аристотелиса Чувалчиди, умершим от чахотки вдали от Эллады и Эгейского моря - Демокритисом Пишириди, по взаимной склонности одного к педофилии<sup>75</sup>, а другого к бачабозству<sup>76</sup>.

Несмотря на то, что рябой сын рябого отца был назван при рождении героическим именем Сохраб, рос он мальчиком, а затем и юношей нежным и тонким душой. Часами он пропадал в магазине "Сельпо" у Рукии или же на кок-терекском базаре, щупая блаженными пальцами и вглядываясь слезящимися глазами в только что завезённый рулон бостона или же в лоскут фельдиперса, извлеченный на прилавок из сундука Оппок-ойим, из которого до войны она шила носки своему мужу Мулле Ульмасу-куккузу. Никто в Гиласе не знал вещи и их историю так хорошо, как сын Темир-йула Сохраб.

Когда ещё весь Гилас - от поссовета Турдыбая-аскера и до интеллигента Мефодия, ходил в китайских кремовых кителях, из-под которых просвечивала украинская расшитая по вороту рубашка, Сохраб уже носил дудочки и твидовый пиджак, купленный им прямо с плеча недоумевающего старика-казаха, пригнавшего своих баранов на кок-терекский скотобазар.

Только было, закрепились за ним кличка Сохраб-стиляга, как он уже переделался в вытачанную рубашку в крупную клетку и в клёш из лавсана. Не успела злоязычная уйгурка Гульсум-охунка, запустившая у себя на дому в серию дудочки и твидовые пиджаки для современнейших гиласских корейцев, обозвать его Сохрабом-клёшем, как тот ходил уже в индийских джинсах!

Так вот, об индийском.

Тем временем, как рябого Сохраба, нежного и тонкого душой, как мальва на крепдешине, испортил на шерстемойке Демокритис Пишириди - сын беглого греческого коммуниста и уборщицы стацкома - тёти Лины, сын, никогда не снимавший, своей единственной, одноцветно-провонявшей гимнастёрки, Темир-йул Умур-Узаков, тем же самым временем, послал сватов по единственную дочь сына Умарали-судхора - Фаиз-Уллы, который был директором пристанционного и подшефного станции ФЗУ.

Между тем у Фаиз-Уллы-ФЗУ, как и в том индийском фильме "Железная дорога в Уттар-Прадеш", рос племянник Амон, наследство от сестры, умершей немного позже Умарали-судхора, оттого, что она так и не вспомнила, где закапывала с отцом мешок облигаций довоенного и военного золотого займа. Этого племянника Фаиз-Улла выучил в собственном ФЗУ, отдал затем в руки дорожных дел мастера Белкова, а когда Амон вернулся из армии со внуком Голиба-мясника - Насимом, видя бесславную историю женитьбы того, Фаиз-Улла-ФЗУ затаил про себя мысль без

<sup>75</sup>

<sup>76</sup> и первое, и второе - педерастия или же мужеложество, смотря на каком языке

особых расходов женить его на собственной дочери Зайнаб. Как-никак сам у себя калыма не попросишь!

На следующий день после первого сеанса, но ещё до начала второго, к Фаиз-Улле-ФЗУ внезапно нагрянули сваты. И от кого бы вы думали? Точно, от самого начальника станции! И узнавший об этом Гилас заверещал, закопошился, затаился. Ведь и впрямь Зайнаб и Амон любили друг друга, просто не могли не любить друг друга, поскольку комсомольско-ударным поэтом уже была написана поэма об их любви<sup>77</sup>. Попробуйте представить себе Фархада и Ширин - одноклассников, решивших изучать один - английский у Хамдама Юсуфовича, а другая - немецкий у Иды Соломоновны! Да никогда и нигде в жизни!

Да вот Фаиз-Улла, сам помолвивший молодых, был в замешательстве. Откажи он начальнику станции - прощай и ФЗУ, и пенсия, и станция. А что ещё остаётся в жизни помимо этого? Потому и произошёл у него такой разговор с Таджи-Мурадом, Ашур-тарнобом, вещавшим каждый час в станционный репродуктор об объявленном выходе пригородного поезда, и Долим-даллолом<sup>78</sup>, присланных Темир-йулом в качестве станционных сватов от железной дороги.

- Бошлигимиз зиёратларига буюрдилар, сизга анча мехрибонликлари насиб эткан экан<sup>79</sup>, - начал издавека хитрый Таджи.

- Хар ким хам бошлигимизди мархаматига лойик булурмидиде!<sup>80</sup> - добавил Ашур-тарноб, как в свой просмолённый репродуктор. Да так, что Фаиз-Улла от неожиданности прикрыл глаза. - Йигитчани биласиз-а? Сухроб-полвонни!<sup>81</sup>

- Истилягами?<sup>82</sup> - выпалил вдруг Фаиз-Улла.

- Хай-хай-хай! Це-це-це! - зацокал языком Таджи-Мурад и вдруг, как в атаку, перешёл на русский, выученный им в стройбате. - Хороший парень, отличный парень, комсомолец!

- Ха, бошлик инистутгаям киритиб кўйса ажавамас!<sup>83</sup> - вступил наконец Долим-даллол, верно почуяв минуту нерешительности Фаиз-Уллы.

Тот и впрямь был в замешательстве. Ведь по фильму, только что увиденному им со всей семьёй, получалось, что когда сватается начальник станции, или же по-другому - когда начальник станции сватается, то за этим всегда что-то кроется! И потом, так поспешно, ведь ещё не демонстрировали фильма второй раз! А ещё - как быть с любовью Амона и Зайнаб, с его собственным обещанием скорой свадьбы, когда молодые будут лежать под одним одеялом уже не как брат с сестрой, а с умыслом! Да к тому же, да тем более, когда друг Амона - Насим-шлагбаум/шоколад только что бежал с Наткой-аптекарейшей и какой-то Бабой-Ягой, оставив своего соратника совсем одиноким!

- Минг катла рахмат доно Партиямиз ўстирган бошликка,- начал он свой ответ, - ажойиб, мехрибон одамлар. Темир-йўлдек мустахам одамлар. Лекин... биз уларнинг ишончларига лойикмиканмиз? Охирги тўрт ой партвзносни хам тўламовдик...<sup>84</sup>

- Кўюринг, тўй харажатига киритворамиз!<sup>85</sup> - успокоил его опытный в этих делах Долим-даллол.

<sup>77</sup> имеется в виду поэма Хаида Олимжона "Зайнаб ва Омон"

<sup>78</sup> даллол - посредник в продаже скота

<sup>79</sup> Начальник велел вас навестить. Вам досталась изрядная толика его внимания.

<sup>80</sup> Не каждый удостоивается благосклонности нашего начальника!

<sup>81</sup> Вы ведь знаете джигита? Сухроба-богатыря!

<sup>82</sup> Стиляга, что ли?

<sup>83</sup> Немудрено, если начальник поступит его в инистут!

<sup>84</sup> Тысячу раз спасибо нашему начальнику, возвращённому нашей мудрой Партией. Замечательный человек, любезный человек! Прочный как железная дорога человек! Только... вот мы можем ли быть достойны их доверия. Четыре последних месяца партийных взносов не платил...

<sup>85</sup> Не переживайте, включим в свадебные расходы!

- Бу ёги кандок бўларкин?..<sup>86</sup> - задумался Фаиз-Улла-ФЗУ, не умея отыскать ещё какого-нибудь аргумента.

Заметив его растерянность, Долим-даллол по многолетней привычке продавать бычков и тёлочек, перешёл к решительным действиям.

- Кани, кўлли беринг! Инсоп сари барака! Хэ динг, хэ динг энди! Тўр оймас, беш ойини тўласин! Хэ динг! Хэ динг энди! Уят бўладия! Ха боринг ана олти ой! Ха, барака топкур, ана бўмаса етти ой! Хэ динг! Хэ-ми? Хэ-тэ! Одамла тўпланмасин! Кулги бўлади-я! Хэ! - он тряс руку бедного Фаиз-Уллы, да так, что голова того никак не могла закачаться по горизонтали - для отрицания, а только вверх-вниз. - Ана кўрвотсилами, хэ дивотти! Хэ дивотти!<sup>87</sup> - воскликнул он и внезапно выпустив руку Фаиз-Уллы, произнёс - Оллохи аквар! - и тут же встал, давая знать, что торги завершились и сделка состоялась! Сколько ни упрашивал Фаиз-Улла сесть за пиалку чая, чтобы наконец придумать свой аргумент, они поспешили уйти под непрекращающуюся трескотню Долима-даллола.

- Киши диганни лавзи бир, сўзи бир! Тўй кунини бошликки ўзлари этадила. Энди тайёргарчиликки буёгига кўрурийла! - и уже у самых ворот осёкся и спросил: - Ха, бугун киного чикасилами?<sup>88</sup>

И тут Фаиз-Улла откровенно-утвердительно закачал головой.

В час дня весь Гилас уже знал о происшедшем. Акмолин, который обычно спал в это время в своём маневровом тепловозике на запасных путях, сейчас почему-то сновал по станции как челнок - дудя на весь Гилас своим тепловозом и перепрыгивая им с пути на путь!

На четырёхчасовом сеансе об этом узнали Зайнаб и Амон. А в шесть - Демокритис Пицириди. Вечерний сеанс был назначен на семь. Весь Гилас затаился...

А всё дело было в том, что Гилас ещё не успел переварить случившееся после фильма "Джага". Показательный судебный процесс на станции всё ещё продолжался и оставалось неясным, как повернётся концовка разбора последнего жуткого убийства. Ведь по фильму "Джага" ещё предстояло столько холодающе жуткого и без, и до фильма "Железная дорога в Уттар-Прадеш"...

Впрочем, два слова о том, что случилось после первого фильма. Внук персиянина Джебала Семави, попавшего в Гилас силой несравненного Майкэ и иранских революций, он же сын Хуврона-брадобрея - Эзраэль-одногодник, так и кончивший школу в непреходимом им четвёртом классе, юноша, красивый, как Юсуф, но не сапожник, а библейско-коранический, был женён на азербайджанке Шах-Санэм из казахского Кызыл-Тау.

Что-то случилось между молодыми и невестка "аразлаб"<sup>89</sup>, уехала на несколько дней к своей матери. Был месяц Ашура - месяц поминовения шиитами общих великомучеников, а потому Эзраэль, как истинный персиянин по вере, не мог переступить самого себя и приехать за женой с мировой и повинной, как это водится в Гиласе. А потому неделю спустя, видя, что муж не едет за ней, приехала в Гилас сама Шах-Санэм. Эзраэль видел её из окна отцовской цирюльни, но вида не подал. Скорбный месяц ещё только набирал силу, да вот Шах-Санэм истолковала это по-своему, а потому, чтобы расшевелить своего неприступного мужа, она, якобы стала собирать свои вещи,

<sup>86</sup> Как же так?..

<sup>87</sup> Ну-ка подайте сюда пятерню! Умеренность - голова богатства! Скажите да! Ну! Скажите да! Хорошо, пусть он оплатит не четыре, а пять ваших взносов! Скажите да! ну! Давайте же! Ну не стыдите нас при всех! Хорошо, пусть оплатит шесть месяцев! Смотрите, люди уже собираются! Ну хорошо, так и быть семь! Идёт? Ну, говорите да! Видите, он говорит да, он согласен! Аллах велик!

<sup>88</sup> Слово мужчины - одно! О дне свадьбы вам скажет сам наш начальник. А вы уже начинайте готовиться! Да, кстати, пойдете сегодня в кино?

<sup>89</sup> устроив обряд "обида"

чтобы продлить свой "араз" до послескорбных времён. Собрав узелок ненужных тряпок, она вышла из кургана Джебраля, но раньше её вышла и устремилась к станционной цирюльне сестра Эзраэля - Айшэ, подросток, почуявший вдруг себя матерью женщиной. Узнав о происходящем, Эзраэль бросил недобритым однорукого Наби-прокламатора, и в белом халате с опасной бритвой в руках бросился вслед жене, переходившей в это время железную дорогу. Нещадно палило солнце, лишая всё смысла, а оттого скорбь Эзраэля легко перешла в гнев, к тому же некстати задудел своим гудком проснувшийся Акмолин и заверещал своим свистком Таджи-Мурад, словно вращая поднимающиеся от насыпи струи. Эзраэль бросил на них свой гневно-прискорбный взгляд и стал уговаривать попутно свою жену дожидаться лунного месяца. Та, казалось, ничего не понимала и продолжала свой путь с узелком поперёк железной дороги. Тогда Эзраэль переступив свою скорбь, принялся материть жену как безмозглую курицу, для которой и священный месяц, что навозная куча! Та молча продолжала путь среди взирающих - и особо же недобритого наполовину Наби-однорука, пол-голова которого стало стягивать засыхающей болгарской мыльной пеной...

Схвати Эзраэль её при всех за руку, отбери наконец, этот дурацкий узелок, Шах-Санэм наверняка бы повернула обратно, но тут подошёл Кызыл-Тауский автобус, а Эзраэль всё так же не понимал её. Да, Эзраэль не понимал её! Он вошёл с ней в автобус, в белом халате, с намыленной бритвой в руке и сел рядом с ней, пропустив её с узелком к окну. До Кок-Терека они проехали молча. Правда, на железнодорожном переезде у бушевалки, где в своё время сшибло поездом директора гиласской музшколы, ожидая прохода семенящего акмолинского маневрового тепловоза со сверещающим на подножке Таджи-Мурадом, Эзраэль выматерился при всех и тогда Шах-Санэм отвернулась к окну и молча заплакала. После Кок-Терека Эзраэль стал её нелепо успокаивать, но с той уже случился какой-то ступор - она, как плешь на голове, была опять бесчувственна.

- Онайниский, биров билан сикишмоқчимисан!<sup>90</sup> - зашипел с надеждой в хрипе Эзраэль, когда они подъезжали уже к реке, где давным-давно дед его омывал несравненного Майкэ. Она же всё продолжала молчать и тогда на глазах у всех Эзраэль полосонул бритвой по её горлу...

Кровь брызнула на его белый халат, на путаные волосы казашки, вопившей впереди, на мешок с рассыпавшейся кукурузой под ногами. Он же встал и, пройдя по остановившемуся и заглохшему посреди дороги автобусу, вышел в степь, где его дедом - Джебралем был похоронен Майкэ, сказавший эти страшные слова, использованные потом в индийском фильме "Джага":

Кровь никогда не смывается кровью,  
разве что слёзы смывают кровь...

... Так вот, не переварив ещё этой истории, Гилас затаился в ожидании повтора фильма "Железная дорога в Уттар-Прадеш". За час до вечернего сеанса, как обычно, заиграла музыка в хриплом репродукторе Ортика-киношника, списанном недавно с железной дороги за плакат: "Осторожно выиграешь минуту - потеряешь жизнь!" "Битлы" пели "Гёрл", а Радж Капур - "Мера джупа хе джопани..." За три четверти часа тётушка Ортика-аршин-малалана Кошой-хола стала торговать монопольными семечками, а жена Ортика - сэкономленными билетами. За полчаса стала выстраиваться белоодежная очередь, хвост которой втридорога стал обилечивать сынишка Ортика - Омил. Почти весь дее- и детоспособный Гилас был собран на фильм.

Зайнаб и Амон впервые сидели по две стороны Фаиз-Уллы-ФЗУ. К самому началу сеанса, встреченный аплодисментами, подошёл начальник станции Темир-йул Умур-Узаков в окружении

<sup>90</sup> Ё.. твою мать, что, хочешь с кем-то е...ться, да?!

Таджи-Мурада, Ашир-Тарноба, Долим-даллола и почему-то так и оставшегося недобритым Наби-однорука, который, подымая вверх свою единственную руку, как бы успокаивал зрителей. Впрочем, Ортик понял этот жест как знак начинать фильм, продублированный после шёпота начальника, и свет в зале погас...

Будь на то моя воля, я бы перенёс всё действие в бессмысленный и полный солнца, да тоскливых песен по радио, полдень, но то происходило в семь часов вечера, когда невестки уже обрызгали водой дворы и улицы и начинали подметать изощедшуюся пятнами и, казалось бы, чуть вздохнувшую землю. И уже задорная песня подростков - Гопала и Радхи неслась из летнего кинотеатра...

Всё шло по сценарию и сапожник Юсуф после праведных трудов и конца мочеиспускания на будку Хуврона-брадобрея ещё посмеивался над предстоящими потоками слёз, и вот когда старик-учитель вручил отъезжающему со станции Гопалу последние рупии вместе со старой Похвальной Грамотой за первый класс, Акмолин внезапно встал и вышел из зала, якобы на ночную смену. Чуть погодя, и не ожидая того, как Радха начнёт впервые в своей жизни танцевать животом перед пьяными станционными рабочими, со стороны своей матери поднялась Зайнаб. Мгновение спустя со стороны отца встал Амон. Зал затаился, глядя на Начальника Станции, отправляющего свою дочь в том же направлении, куда года назад уехал и Гопал. Именно в эту минуту, тронув за рукав Начальника Станции, за девочкой вышел Долим-даллол.

Уже опростодушевший Юсуф забыл, над чем недавно посмеивался, уже Начальник Станции задумал неладное, и зал уже подозревал ещё более худшее, когда Начальник, не вытерпев подозрений или же ещё чего, вышел вон, провожаемый потоками слёз и гневной песней Радхи, ждущей своего Гопала. Тем временем двое молодых уже целовались вдали от этих событий.

Прошло некоторое время и в минуту, когда Гопал вошёл в станционный буфет, ко Фроське-буфетчице - бывшей жене бывшего дорожных дел мастера Белкова, вошёл Демокритис Пищириди. Выпив молча и без закуски стакан водки в кредит, сын греческих коммунистов направился к кинотеатру. Когда он вошёл в зал, Начальник Станции уже всю осуществлял задуманное, сидя в своём кабинете, из которого проглядывалась вся железная дорога в оба конца. Демокритис лениво взглянул на экран, а потом обвёл взглядом пустеющий и влажный зал. Он был здесь! - Димна бросилась к Гопалу и запев песню неверной любви, стала его принародно целовать. Надо было во всём ему признаваться и окончательно определять свои отношения! Демокритис решился, когда в зале осталось человек шесть: старушка Кошой-хола, обносившая всех семечками, пересекая лужи, сын Ортика - Омил, догрызающий последний стакан, купленный на вырученные по продаже билетов деньги, бездомный Мусаев, не понимающий, почему у индусов нет лозунгов, Наби-прокламатор, чешущий одной рукой так и недобритую половину головы и он, он, он!

Когда дрезина, со всей станцией на борту, ехала с шумом навстречу влюблённым, те стояли на железнодорожном полотне за переездом, в последних лучах позднего летнего солнца. Волосы и одежда их трепыхали от ветра и молодости. Начальник Станции, завидев их, завопил нечто непонятное. Дрезина прибавила ходу. Станция мчалась к своей развязке. Уже и Таджи-Мурад закрыл от волнения глаза, но забытый во рту свисток внезапно заверещал! Раздался адский гудок встречного тепловоза и когда на всю станцию грянула песня Гопала и Радхи:

О пяри, пяри тумса...

Акмолин резко дёрнул свои тормоза! Дрезина, вывалив из себя пол-станции, стала как

вкопанная. Влюблённые стояли посреди двух полос рельс и двух подвижных составов, как ни в чём ни бывало...

Все оцепенели, ожидая того, что же произойдёт дальше... Пауза длилась долго, поскольку, как оказалось, при резком торможении дрезины, Начальник Станции прошиб лбом лобовое стекло капитанской кабины, и его обалдевшая голова торчала из нерассыпающегося по новой технологии стекла. Пока под началом сверещащего и машущего Таджи-Мурада вытаскивали его голову, Зайнаб и Амон вскочили на подножку объявленного Ашир-тарнобом на выход пригородного поезда и были таковы.

И когда уже разочарованная тем, что недосмотрела фильм, а здесь была обманута, как женщина, недоведённая до оргазма, станция расходилась по домам, у переезда, за бушевалкой, где в своё время сшибло поездом безвестного директора детской музыкальной школы, а Эзраэль материл Акмолина и Таджи-Мурада, происходило то, что наверняка не увидишь в ортик-малалановских фильмах, там шли по железной дороге двое и один из них говорил:

- Ты теперь не любишь меня?! Ну скажи, чего молчишь? Блядь, ну скажи чего-нибудь! Вот сука е..учая! Курва! Значит со мной теперь всё, да? Покончено? Теперь я тебе не гожусь, да?! Ну вспомни, как нам было хорошо вдвоём. Ну хочешь, уедем вместе? Возьмём билет на скорый и укатим. Х..й нас кто найдёт! Слышишь? Ну не молчи же! Ну чего ты плачешь?...Успокойся... Ничего не случилось, слышишь... Мы вместе, слышишь... Мы вдвоём. И никого нам не нужно, правда? Правда?! Какого х..я ты молчишь? Ну чего ты смотришь на меня? Одежда что ли? Одежда как одежда! Главное - чистая! Через день мать стирает! У других лучше, да?! В чужой руке х..й толще, да?! А... может быть... ты... постой... - и вдруг остановившись, он хрипло прошипел прямо в молчащее лицо:

- Онайниский, биров билан сикишмокчимисан?!<sup>91</sup> - и тут Демокритис набросился на Сохраба, свалил его на рельсу и, перекатившись через неё на каменную насыпь, жестоко, зверски изнасиловал его.

Нет, не взирал на это портрет старого греческого коммуниста Аристотилиса Чувалчиди из-за железнодорожной насыпи, нее, всё это видел лишь один человек из Гиласа - однорукий Наби-прокламатор, который шёл, якобы, после фильма смывать в бане слёзы. На самом деле, пользуясь всеобщей незанятостью, он шёл воровать свои хлопковые зёрна, так вот, вдохновлённый увиденным он то и выступил на суде свидетелем, когда сына покойного греческого коммуниста выслали из страны в государство чёрных полковников, без права возврата, а плачущий перед отсылкой из Гиласа во ВГИК на учёбу Сохраб пел девичьи-трогательным голосом по выходе из зала суда этот вечный индийский мотив:

О пяри, пяри, тумса...

---

<sup>91</sup> Ё.. твою мать, что хочешь е...ться с кем-то другим?!



## Глава 30

Никто из детей никогда не задумывался, откуда и когда корейцы появились в Гиласе. Самые подвинутые из пацанвы, к примеру, Фази - внук старушки Бойкуш, считали их теми же узбеками, но говорящими на другом языке, мальчик, видевший до того ещё и дунган, не очень-то доверял Фази, но почему-то с ним не спорил; может быть потому, что старушка Бойкуш в ту пору приторговывала куртом, и Фази ходил всегда с полными карманами беспорных аргументов.

В школе - и те, кто пошли в русские классы, и ещё более те, кто были сданы в узбекские, надолго решили, что корейцы - это русские, но русские особой породы. Имена у них не то чтобы Санёк, Юрка, Катюха, а такие русские, что больше самих русских: Витольд, Изольда, Артаксеркс, Клим. Хотя, впрочем, родителей их звали Саньком, Юркой, Катюхой.

Но родителей видели редко - разве что бабушек, да стариков, имён которых не знал уже никто, и только одного старика все называли Аляапсину: у него не было ни сына Петьки, ни внучки - Люции, ходил он целыми днями со станции и до крайнего дома на берегу Солёного, ходил в соломенной шляпе с бамбуковой тросточкой в руках - по самому белому пеклу, ходил сгорбясь, как будто бы пытался наступить на свою короткую и мерную тень, и всякий раз из-под редких белёсых усов проговаривал своё "Аляапсину" всякой встречной собаке.

Потом он шёл обратно, как бы пытаясь на этот раз убежать или отвязаться от наросшей за часы хождения тени, и уже вслед ему, наверное, улыбающемуся в свои редкие усы на соломенном лице, дети кричали "Аляапсину", не зная, доводят ли или радуют тем безразличного как маятник старика.

Родители приезжали поздней осенью, когда кончалась их работа на шалыпае<sup>92</sup> или луковом поле, и тогда весь Гилас наполнялся незнакомой празднично-пьяной речью и толпами празднующихся мужчин, идущих в кино и из кино, выворачивая ступни и бёдра, да накинув пиджаки на костлявые, выпирающие плечи.

Тогда же они занимали и все гиласские чайханы, превращаясь в особую породу узбеков, ещё более узбеков, чем сами завсегдатаи чайханы, которые как-то тонули среди моря свежих голубых корейских рубашек и веера разбрасываемых по кругу карт. Жёны их вышелушивали по домам рис или же высушивали под навесами лук, а те, кто управлялся с этим пораньше, заводили на берегу Солёного пару-тройку свиней в избушках на куриных ножках, и пацанва, гоня по той округе мяч и ощущая некую помесь из запахов свежих опилок, квашенной и перченой капусты, гнилой речки да горького лука, вдруг понимала, что корейцы - это... корейцы...

Они никогда не заводили полей вблизи Гиласа. Они уезжали в те края, о которых знали лишь старшие братья и сёстры, уже проходившие географию, а для остальной малышни всё было одно и маняще-нездешне: Кубань и Куйлюк, Самараси<sup>93</sup> и Политотдел, Шават и колхоз Свердлова. Никто никогда не видел, как они работают. Гилас знал в них, идущих шумными мужскими шеренгами, выворачивая до отказа ступни и бёдра, да размахивая руками с закатанными до костистых локтей чисто-голубыми китайскими рубашками, лишь победителей.

Они даже и торговать не торговали в Гиласе. Старушки-туземки в отсутствие празднующихся по улицам и чайханам Борисов, Василиев и Геннадиев, юрко шныряли в самый конец улицы Папанина к Вере, Любе или Наде, а потом всю зиму сидели на базаре,

<sup>92</sup> рисовое поле

<sup>93</sup> Самараси - плоды. Мальчик долгое время считал это слово - первым выученным корейским словом, хотя впоследствии догадался, что другое название этого колхоза - Ленин йули - Путь Ленина - есть всего лишь первая часть полного названия - Ленин йули самараси - Плоды пути Ленина, так что долгое время эти самые плоды доставались в сознании мальчика корейцам.

приторговывая самим же корейцам луком, рисом или перцем.

Но только не чимчами. Чимчи! Эта горькая корейская капуста с её натянутыми, скрипично-белыми прожилками, перехваченными жгуче-красным перцем там, где начинается зелень капусты, ах это собрание всех корейских запахов, растапливающих своим огнём даже зимний пар, идущий изо рта подзывающих на базаре корейнок - этот взрыв, выворачивающий наизнанку мальчишечьи языки - словом, чимчи - другое название корейцев, их символ и эмблема - разве могли торговать ею русские или узбеки, татары или бухарские евреи? Каждому своё: Акмолин водит маневровый тепловоз, Кучкар-чека затапливает чайхану, Закия-аби моет и чешет шерсть, Юсуф подбивает каблуки, и даже Озода командует базаром с позволения Оппок-ойим, но чимчу продают только корейки: Вера, Надя, Люба.

Правда, чимчой они торговали тогда, когда их мужья уже не выходили на улицу. То было некое межсезонье - январь, начало февраля - самое неуютное время года в Гиласе. Сидели они по своим домам, раздавшие, видимо, прошлогодние долги, спустившие остатки денег в чайханах да на разом-всеми-купленные-телевизоры - один год, мопеды - другой, холодильники - третий; сидели по домам, смотря телевизоры, протирая мопеды или хлопая дверьми холодильников, хотя сиротливые старики-туземцы в чайханах поговаривали, что у них началась самая крупная игра - вон, по ночам собираются то у Геннадия, то у Владимира, то у Михаила, дескать, свет горит до утра.

Тогда же они забивали и свиней. И на жёлтой промёрзшей траве тугаёв, там на берегу Солёного, давая подсветку мёрзлomu дальне-полевому закату, полыхали разом несколько купленных-в-этот-год-паяльных-ламп...

Говорили, что они едят собак - мол, предохраняет от туберкулёза, поскольку им всю жизнь приходится ходить босыми по колена в воде, говорили, что в феврале, перед отъездом туда на "Поле": Кубань или Куйлюк, Шават или Самараси, они занимают денег под осенний процент то у Толиба-мясника, то у Сотибалды-домкома, но больше всего у Оппок-ойим, говорили ещё... словом, много всякого, но к этому времени они как-то разом и незаметно все уезжали, разъезжались. И пацанва оставалась до самой поздней осени с их детьми как заложниками: Лаврентиями и Эммами, Виолами и Русланами, Артёмами и Офелиями.

## Глава 31

Директором музыкальной школы Гиласа был человек по имени Севинч, а дирижёром гиласского пионерско-профсоюзного духового оркестра - другой человек по имени Согинч. По странной прихоти природы один из них был глух на правое ухо, а другой - напротив, на левое. Правда, оба они вышли из одного - самарасийского детдома, куда попали несмышлёнышами в ту эпоху, когда отцов раскулачивали, а матери сбрасывали паранджу, так что присматривать за детьми было некому, кроме как самому государству, которое само же уже присматривало и за отцами-матерями сирот. Оно же дало им эти духовые имена и приучило к маршевой музыке. Да так, что позже, когда Севинч был уже директором музыкальной школы и школьный камерный оркестр сыграл на просмотре квартет Бетховена за 9 минут, директор поморщился и сказал:

- Очень вяло и долго. Давайте, то же самое, но за три минуты!

И вообще, ему казалось, что в афише следует бы написать "Бетховин", а не "Бетховен", ведь "Бородин" же и "Глинка", а не "Бороден" и "Гленка"!

Но это было в конце его жизни, о чём речь ещё впереди. А тем временем, не это было главным в их жизни. А главным в их жизни было то, что эти самые их жизни, начиная с детдома, шли как две рельсы одной железной дороги, накрепко присобаченные одна к другой. А ещё детдом им дал чувство во всём быть непременно первым, поскольку в столовой котёл, равно как и в библиотеке каждый учебник или в туалете очко - всё было единственным, а потому их достигал тот, кто достигал их первым. Хотя бы "карабкаясь по каменистым тропам" как было написано от Маркса в коридоре, или же бежа по рогам своих собратьев, как было нарисовано в уборной.

Так вот, Севинч собирал больше краснобумажных звёздочек в конверте за каждую полученную "пятёрку" - их у него набралось больше, чем астрономических звёзд на видимом небе, но золотую медаль получил Согинч, потому как в выпускном сочинении переложил поэму "Мцыри" на "Сталина", да так ловко, что когда Сталин боролся ночью с барсом, то в этом зверином облике проступали поочерёдно и Гитлер, и Бухарин, и Радек, и Троцкий, а однажды даже - враг народа Акмаль Икрам. А сколько слёз было пролито приглашённой на экзамен от профкома поварихой тётей Тоней, от полноты и пучеглазия, а еще из-за любви к крупам получившей кличку "Крупская", когда Сталин обращался со словами признания к Ленину, а через него к бессмертному Марксу:

Старик, я думал много раз,  
что ты меня от смерти спас...

Но вот в высшую школу музыки и искусств, куда они оба были направлены добровольцами по послевоенному комсомольскому набору эпохи возрождения и реконструкции, старостой курса дирижёров-хоровиков избрали Севинча, за то, что тот отличился на сборе макулатуры, сдав государству все свои детдомовские картонные звёздочки в количестве полученных за две пятилетки пятёрок.

Тогда Согинч написал, что называется, оперу, что половина курса под началом старосты - безродные космополиты, поменявшие фамилии на псевдонимы, а национальность на профессию. В итоге Севинч с этой половиной курса был вынужден депортироваться станция за станцией по казахским степям и далее в сторону Сибири от этого оперуполномоченного то ли в Ейск, то ли в Бийск, то ли еще в какой-то Ебийск, где и получил почётную кличку - Моисей.

Так их односкорлупные жизни будто бы разошлись.

Севинч в этом Ейске или Бийске, как кошка, отвезённая далеко от дома, вдруг обнаружил феноменальную память: стоило ему хоть раз увидеть партитуру, будь то разрешённого Баха или запрещённого Стравинского, равно как публикацию кремлёвского отчёта о суде над Берией или секретный доклад Хрущёва - всё это ложилось такт за тактом, фраза за фразой, параграф за параграфом на названия железнодорожных станций, которые неискоренимой тоской запечатлелись в памяти Севинча, начиная от Салара - через Гидру - Радиоузел - Шумилова - Гилас - Кирпичный - Санаторную - Сары-Агач - Джилгу - Дарбазу - Ченгельды - Арысь и так дальше до самого финального аккорда или приговора, пригвождаемого к этому самому Ейску или Бийску.

В те годы их народный симфонический оркестр стал широко гастролировать как по стране, так и по Европе, показывая как наша глубинка играет их то Малера, то Хиндемита, то Берга, то Штокхаузена, и вот когда после Первой Премии в Милане за забытые в Национальном Архиве, но сфотканные на раз памятью Севинча произведения Палестрины, оркестр возвращался в свой Ейск или Бийск через Париж и Вену, его первая Скрипка - Ёся Леви-Соловейчик повёл Севинча на званый ужин к своему дальнему родственнику Клоду Леви-Страусу, который как оказалось, занимался мифами каких-то то ли ирокезских, то ли карокезских племён, и когда Севинч, занятый за беседой разложением в уме очередной симфонии родного Бетховина по железнодорожным станциям, начиная от Салара, в коий стучалась судьба: "Та-та-та та-а! Та-та-та та-а!", вдруг заметил, что только от станции Челкар и до станции Эмба эти самые мифы расходятся с музыкой, взбудораженный Леви-Страус всё это аккуратно записал и через три года выдал это за всемирное открытие. И даже отказ Ёси Леви-Соловейчика от сырых устриц в пользу вареной картошки использовал этот родственник в названии своей нашумевшей книги!

Увы, Леви-Страус снял лишь поверхностный слой феноменальной памяти Севинча, ведь будь он повнимательней тогда в Париже или же приедь пару раз к своему сородичу в этот самый Ейск или Бийск, он бы разложил весь мир на изоморфные структуры, ведь, скажем, в том самом Гиласе разворачивалась тема у Шостаковича и раскручивал своё красное колесо Солженицын, "Хамса" Навои сплеталась с "Маленькими трагедиями" плюс "Медным всадником" Пушкина, Нагорная Проповедь смыкалась с Сурой "Ёсин", а морфология сказки сочеталась со схемой родственника второй скрипки оркестра - Музы Якобсон - Якобсона Романа, с которым Севинч виделся мельком - всего-то на эту схему - в Праге, в каком-то кружке беглых интеллигентов.

Тем временем как Севинч обогащал мировую науку, правда лишь тысячной долей своей феноменальной памяти - увы, не у всех оркестрантов родственники занимались наукой, Согинч тем же самым временем заваривал чай заведующему кафедрой народно-симфонического дирижирования, которая по отбытии своей основной массы то ли в Бийск, то ли в Ейск, стала называться теперь кафедрой реконструированных народных инструментов. Вскоре завкафедрой умер, над его гробом реконструированный оркестр под управлением Согинча сыграл, приукрасив несколькими национальными мелизмами, "Похоронный марш" Шопена, и Согинч, ещё не окончив Высшей Школы Музыки и Искусств, стал за отсутствием кадров заведующим кафедрой.

Так бы и носил чай Согинч поочередно то замдиректору, потом директору, потом ещё выше, сам же играя над ними "Реквиемы", пока позволял возраст, да вот только, когда умер внезапно замдиректора, началась эпоха хрущёвского реабилитанса, и, вернув из Ейска или Бийска весь симфонический оркестр, специальным решением Партии и Правительства замдиректором Высшей Школы Музыки и Искусств назначили в одночасье Севинча. А случилось это на общем партийном собрании, когда в президиум директор школы взвёл восемь представителей Горкома - от Главного Секретаря и до подносчика стакана кефира к трибуне, и вместе с ними бледного Согинча да красного Севинча. По мере речи Главного о перегибах ждановщины в искусстве,

которые с пяток лет назад гнул он сам, бледный Согинч стал зелёным, а красный Севинч - фиолетовым.

Словом, что называется, боясь исламизации становящегося на ноги народного искусства реконструированного дирижирования или еще из каких колористических соображений, назначили замдиректором Севинча, и Согинч понёс ему по привычке круто заваренный чай.

Да не тут-то было! Секретарша заставила его выждать ровно собрание с завхозом и бухгалтером, и лишь после этого, не осмеливаясь заносить остывший чай, зафкафедрой вошёл поздравлять, заикаясь нового замдиректора с новым назначением. Этот "предбанный" ритуал стал повторяться каждый день и, изведя напрасно четыре пачки отборного чая, который доставлял Согинчу один из его заочников - дирижёр из гастронома - зафкафедрой народных реконструированных инструментов перестал ходить к замдиректору ВШМИ иначе как по вызову.

Но долго ли, коротко ли, всё же когда в эпоху космической семилетки и ВСНХ с кукурузой, всё кругом стало реорганизовываться квадратно-гнездовым способом, кафедру "рекнаринст" опять реорганизовали в дирижёрско-хоровую с одновременным сокращением за ненадобностью должности замдиректора, поскольку директора назвали Генеральным. И вот тогда-то наступила эпоха царствования Согинча.

Теперь обыкновенный профессор своего ейско-бийского оркестра сидел в предбаннике заведующего кафедрой, выжидая то время, пока торжествующий Согинч поправлял в своём кабинете брови своим студенткам или же работал над своей диссертацией по реконструкции традиционного плектора.

Изредка, во время встреч, они - об этом сплетничали вокруг - материли друг друга на чём свет стоит, причём каждый из них старался угодить матом в здоровое ухо визави, а подставлял под синхронный ответ своё неремесленное... Так бы и продолжались их переплетённые жизни до очередного переворота, когда бы не то самое происшествие, что на долгие годы лишило сестру Октама-уруса и жену Муллы Ульмаса-куккуза - неистовую Оппок-ойим её любимого певца Бахриддина, которому, как оказалось, поставляла внеурочных стажёрок, реконструированная кафедра.

Опять приехали те самые восемь представителей Горкома - от Генерального секретаря и до подносчика молока к трибуне, правда, последний был новый, старый, оказывается, ушёл на повышение - подносить простоквашу в Обкоме. Опять прихорошенный своими дюймовочками Генеральный метал громы и молнии по поводу царящего в искусстве социалистического реализма полного аморализма, между тем, не зная кого теперь за отсутствием "моря веры" приглашать теперь на культурные программы загородных молодёжно-коммунистических попоек-активов. Словом, кафедру закрыли, а весь её состав во главе с заведующим Согинчем и профессорствующим Севинчем выслали в Гилас.

Поскольку ехать в эту ссылку было всего одну пустырную дорогу да два поворота со шламбаумом посередине, то случилось невероятное - перенапряжённая для новых испытаний фотографическая память Севинча разом, как засвеченная фотоплёнка, лопнула, опустошилась, пропала, исчезла, растаяла, смылась, приобретя однообразный, пустырный и землистый цвет, сквозь который смутно просвечивал чересполосный шламбаум...

Именно на это время приходится наречение Согинча Ароном и встреча Севинча с писателем Айтматовым, писавшим в то время нечто о железной дороге. Вернее даже, встреча писателя Айтматова с Севинчем, которого рекомендовали литератору и общественному деятелю Леви-Страус, Якобсон, Хомский, Деррида и ещё восемь светил мировой науки, не включая удачливых банкиров и психотерапевтов. Поражённый до глубины сердца увиденным, писатель Айтматов тут

же описал это в своей легенде о Манкурте - так писатель и общественный деятель понял объяснение самого Севинча, бурчавшего о своей памяти бог весть, откуда вынырнувшим французским словом "Manquer". Но писатели - они известные выдумщики. На самом деле Севинч забыл лишь названия и порядок следования станций своего первого исхода, а как следствие, - все, что связывал с этими станциями за годы своего ейско-бийского руководства. Впрочем, как оказалось, помимо этого в памяти у Севинча ничего и не было, разве что безродное детдомовское детство с его духовыми оркестрами. А потому его бубнящего марши Дунаевского и назначили спехом директором музыкальной школы.

И опять Согинч стал томиться в коридоре, служившим приёмной Севинчу, в ожидании того, как Муса вспомнит в конце концов, что вызывал его для того, чтобы назначить встречу, о которой он опять забудет.

К тому времени вслед за Муллою Ульмасом-куккузом пол-оркестра уехало кто на Брайтон-Бич, кто в Израиль, а кто уж совсем не мог попасть в ОВИРовскую очередь - в Старый город, где создавался ансамбль макомистов.<sup>94</sup> Что ж - всего-то надеть тюбетейки, сменить скрипки на гиджаки да хорошо темперированную музыку на вянущие звуки монодии! Не страну же менять!

Тем более, быстро было установлено, что патриарх, создающий оркестр любит лести и водку, а рассказал об этом за бутылкой водки, приправленной беспорционнoй лестью, поэт Хабиб-Улла, который после ночных попок, находя себя на рассвете в какой-нибудь подворотне вытаскивал из потайного кармана в трусах список телефонных номеров и начинал звонить по ним согласно нерифмующегося алфавита. Откликался, как правило, лишь патриарх традиционной музыки, медитировавший на рассвете над темой вина в классической восточной поэзии. Хабиб-Улла сообщал тому, что нашёл во сне новое истолкование этому необъяснимому феномену, и через какие-нибудь пешие, вприпрыжку, полчаса, уже сидел у музыканта, читая тому какую угодно белиберду, ну наподобие вот этой:

"Из всех страстей маком вину подобен,  
но и вино - маком ведь..."

Тогда Патриарх хватался за сердце и, охая от нестерпимой красоты, снимал с гвоздичка на стене свой дутар. Начинаясь тяжёлая, как непрояснённое похмелье, музыка, во время которой охал уже Хабиб-Улла.

"Смотрите, смотрите, идёт великолепная конница Тимурленга в златотканых халатах и пополах! А вот и чашник, вот и бражник, вот и кравчий! О, кравчий, подай нам вина!" - Хабиб-Улла и впрямь начинал бредить и галлюцинировать. Дух его, пропахший ночной водкой, распространялся по комнате. "Эй, кравчий, неси же вина!" - почти задыхался он. Послушный старик откладывал дутар и приносил запасённую на случай Тимурленга бутылку, и они молча, при закрытых глазах доканывали её на рассвете, чтобы затем Патриарх брал внове дутар в руки, а Хабиб-Улла, подобно кружащемуся дервишу, пускался в медленно-блаженно-головокружительный танец...

"Только вы, только Вы понимаете эту музыку! - плакал потом старик над обессилено засыпающим, храпя от экстаза, Хабиб-Уллой.

Так вот, оркестр вскоре сполнил своего на полставки всеузбекского Патриарха в гробовую доску, оставив сиротливого Хабиб-Уллу на голой и безыскусной водке. Но мы, впрочем, отвлеклись.

А хотелось сказать, что Севинч по прозвищу Муса, остался в Гиласе ещё более сиротливым,

<sup>94</sup> ансамбль традиционной придворной классической узбекской музыки

нежели старогородской поэт Хабиб-Улла. Ведь помимо музыки, помимо карьеры, помимо остатков ейско-бийского оркестра у него отнялась и память. И это притом, что при нём, как на тот случай у поэта, не было спасительной водки! Так вот, он стал забывать всё: в котором часу ему нужно быть на работе, он стал забывать дорогу на работу и каждый день, то сживший с ума Кара-Мусаев-младший, оставшийся к тому времени просто Мусаевым, водил его по пыльным и безлозунговым проулкам Гиласа, пока секретарша ДМШ не вылавливала их на перекрёстке, то какой-нибудь за подпись в дневнике проводил его до самого заднего забора, где опять всё та же секретарша находила своего растерянного шефа.

Именно в это время Севинч, забывший своё имя, но называемый остатками родных оркестрантов, да Мусаевым-младшим ещё более коротко - Мусой, и стал художником. Ведь теперь, необременённый памятью он всё видел как впервые, и ничего не повторялось в его жизни. А поскольку слова родной речи, так и не заученные им до конца в детдоме, стали неудержимо забываться, не говоря уже о том, что приобретённый ейско-бийский язык как ветром сдуло, то осталась какая-то немая тоска, которую Муса разукрашивал разными цветами дешёвых акварельных красок. Тихо-потиху он изрисовал всю нотную и другую бумагу детской музыкальной школы, потом стал упражняться мало-помалу в настенной живописи в учительской уборной. Оттуда он вышел на потолковые фрески у себя во времянке, выделенной ему на время ссылки добросердечной Оппок-ойим, так и не добившейся от безымянного директора паспортных данных, но, правда, сэкономившей на этом один экземпляр нововыдаваемого паспорта, выписанного ею для друга мужа - будь он не ладен - Петра Шолох-Маева. Всё убывало в Гиласе вслед за этим самым мужем - Муллою Ульмасом-куккузом, да только не тоска Мусы, что как вода в колодце - увеличивалась по мере зачерпки.

Тогда добροхотливая секретарша, поначалу немо плакавшая от этой тоски в учительской уборной, провела через профком ДМШ решение о воспитании в детях синкретизма и интегрального отношения к искусству, и поскольку никто ничего не понял, кроме того, что это весьма серьёзно, то под это дело она разрешила директору изрисовать по бессонным ночам все стены, двери, шкафы, парты, стёкла и даже единственный дребезжащий рояль, который на самом деле был пианино, с наростом, приделанным из фанеры школьным столяром Козикваем.

После ДМШ секретарша походатайствовала перед летним и зимним кинотеатром и Ортик-аршин-малалан за бутылку посольской водки с огурцами домашнего посола не только предоставил стены, но дал впридачу свои афишные кисти и плакатную гуашь. Правда, вышел конфуз: тоска Мусы хватила через край, потопив своими несмываемыми узорами и оба белоснежных экрана, так что в первые недели все фильмы, включая и комедию века "Операция Ы" вызывали нескончаемые слёзы гиласцев, отчего сгнили ковровые дорожки Ортика, полученные им по списанию из Стацкома партии за несколько написанных лозунгов, читаемых лишь сумасшедшим Мусаевым-младшим.

Тогда, избегая скандала, секретарша прихватила на живую нитку две пары разноцветных, но близких к белому простыни и Ортик, закусив свой гнев новыми малосольными огурцами, вкривь и вкось набил их поверх директорской тоски по большой жизни.

К счастью секретарши Муса вскоре понял, кажется, тщету посягновения на погонный мир, на все его стены, потолки, асфальт, и перешёл на самого себя. Секретарше это было удобно - лица своего директор не видел, а потому и не покрывал маслом, а то, что на руках, торчащих из рукавов - можно было принять за наколки из трудного детдомовского детства. Правда, в летнюю жару, когда томящийся директор сидел, уставившись в окно и потел, - кабинет заполнялся разноцветными испарениями и всякий редкий посетитель, пропускаемый лишь по самой крайней, неотложной необходимости - бухгалтер в день заплаты, завхоз в день завоза, да Согинч в день

премьеры школьного оркестра (его секретарша пускала с умыслом: дабы хоть как-то вернуть к жизни память шефа) - все с ужасом рассказывали о виденном, как о чуде.

Но не Согинч! Согинч был в шоке, но не от испарений, а от того, что Севинч начисто забыл его! Тот не помнил его ни как друга, ни как врага, и всякий раз в день премьер встречал Согинча как бы внове. Поначалу Согинч вымещал свое тоскливое непонимание и раздражение на оркестре, замахиваясь на первую скрипку дирижерской табуреткой или швыряя в барабанщика подставку пюпитра, но после того, как оркестранты, сильно разбавленные местной станционной шушерой, однажды не вытерпели, и вслед броску палочкой во флейту устроили дирижёру на станции "тёмную", приговаривая при этом для отвода глаз: "Вот тебе рисовать на стенах! Вот тебе рисовать на газ-будке!" - Согинч совершенно изменился. Он выхлопотал оркестру гастроль по близлежащим колхозам имени Самий-раиса, он добился награждения когда-либо потерпевших от него Почётными Ленинскими Грамотами, а остальных - Ленинскими Значками. Но в нём при всём при этом поселилась одна мысль, которая грызла его без конца...

К тому времени Муса, кончив период саморисовки, в один из дней перешёл на рисование красками по краскам. На всё ещё идущую директорскую зарплату он закупил ящики акварели и принялся рисовать красками одной коробки по краскам другой: синей по красному, красной по жёлтому, получившейся - по зелёному. Это его настолько поразило, что он перестал не только ходить на работу, но и вообще выходить из дому. Вот тогда-то Согинч, сидя в обеденные часы отсутствия секретарши в директорском кресле, понял всю безысходность своей осиротевшей судьбы: ведь торчи Севинч в этом кресле - была бы хоть какая-то иллюзия смысла жизни Согинча, а так... И тогда он решился. Давнишняя мысль в нём созрела.

Это была достаточно сложная и коварная история, о ней рассказывали в Гиласе уже после смерти Согинча через два-три месяца от странной болезни, этиологии которой даже Жанна-медичка не смогла отыскать ни в каком справочнике ни фельдшера, ни акушерки. А придумал он вот что. Раз в неделю Муса ходил железнодорожным переездом в станционную баню - последняя незабытая привычка, насмерть всаженная в него ещё в детдоме. Там в номере за 50 копеек в одиночестве Муса смывал с себя краски в свой нательный период. Правда, в последнее время рисования красками по краскам ему было смертельно скучно смотреть на бесцветную воду и бледное тело, но детдомовскую привычку смыть оказалось труднее, чем даже масляные краски.

Согинч тоже ходил еженедельно и обречённо в станционную баню, но не в номера, а в общую мойку, поскольку никогда не красил самого себя, а детдомовские наклейки: "Не забуду мать родную!" и портрет Сталина, касающегося усами бороды Ленина - не смывались ничем и нигде!

И вот, опираясь на эту незабываемую привычку, Согинч, не называемый уже никем Ароном, взялся осуществлять свой зловещий план. Подкупив ударника обещанием сделать его не только "Ударником Коммунистического Труда", но и ассистентом дирижёра, он стал не только замахиваться на первую скрипку, но выхватывая его смычок - хлестал им по ушам альтиста, а платочком того затыкал жерло тромбона. Словом, купленный ударник подговорил оркестр, ставший к тому времени из-за массовых отъездов полной станционной шушерой, на новую "тёмную". По старой традиции было решено устроить экзекуцию на пустынной железной дороге в момент возвращения Согинча из бани, когда даже Акмолин оставлял свой маневровый паровоз на каком придётся пути и шёл со своим временным учеником к Фёкле-шептунье на самогон и самосад. На это собственно и рассчитывал неудержимо-коварный Согинч.

В тот день с утра Муса чувствовал некое недомогание. Весь день ему казалось, что в его опустошённой голове зазвонит звонок, и что-то подобное окончанию детдома, когда впереди начинается огромная настоящая жизнь - случится. В послеполуденное время, когда он взял в руки



кисть и две очередных коробки краски, ему вдруг стало нестерпимо скучно, и он, макнув кисть в красно-карминную краску на секунду подержал её в нерешительности на весу и внезапно опустил её в ту же самую красно-карминную. Он вымыл кисть, макнул её в метил-оранжевую и опустил опять в метил-оранж. Капля сорвалась с кисти, на мгновение задержала форму и тут же растаяла в себе подобном. Муса вновь смыл кисть и повторил это с ультра-марином, с жёлто-суриковым, с коричнево-половой. От внезапного возбуждения он вспотел. Детородные органы его набухли, как в детдомовской постели. Судорожно открывая коробку за коробкой, он проделывал то же самое с каждой из красок. стакан, в котором он смывал кисть, стал мутно-бурым, как воспаленные глаза Мусы, и вдруг, после сорок восьмой коробки, он бросил кисть и, припав к стакану, стал жадно пить эту бурую жидкость, отдающую всеми запахами земли...

В бане его рвало, но бурая жидкость, влитая в него, к его удивлению возвращалась почему-то ядовито-зелёной, и за изучением этого, чувствуя жжение в опустошённой мошонке, он вышел из бани на десять минут позже обычного.

А за эти десять минут случилось то, что случилось. Посылая на "тёмную" Мусу, Согинч так и не преодолел искушения подсмотреть, как всё это будет происходить, и в положенное время выйдя из бани, пошёл берегом Солёного Арыка через бушевалку к переезду, дабы, прячась за вагоном, отцепленным от акмолинского паровозика для отгрузки капусты, пробраться к месту роковой экзекуции. Но ударник, которого он купил обещанием, не только предал его, но и выследил, начиная от бани и там, на железнодорожной насыпи произошло жестокое избиение оркестром своего дирижёра, приправленное отрететированно-отвлекающим: "Вот тебе - замахиваться на скрипку!", "Вот тебе - затыкать тромбон!" Руководил всем ударник, колотивший по темечку колотуном, не оставляющим синяков. Скрипач тыкал смычком под дых, трубач совал сурдинку в рот.

Там, на железной дороге о полуживого Согинча споткнулся Севинч, задумчиво бредущий по насыпи десятью минутами позже. Он распрямылся, затем склонился над ним и чистой рукой провёл по его окровавленному лицу. Тот медленно открыл глаза и, увидев над собой лицо Моисея, с хрипом вцепился тому в руку зубами! Муса возопил, и его вопль смешался с воплем идущего из тьмы тепловоза. В свете его фар Севинч увидел, как кровь его, брызнувшая из откушенного пальца, сливается и смешивается с кровью Согинча на избитом лице, на собственных руках, и вдруг он понял всё! От ужаса крови, сливающейся и растворяющейся в крови, он, немо крича, стал пятиться назад, и налетевший судорожный вопль тепловоза поглотил его.

Сгусток крови нашли наутро на переезде железной дороги и ворону, закапывающую этот сгусток своими острыми и кривыми когтями...

## Глава 32

...Мальчик вспоминал эту чайхану с таким же отвращением и неохотой, как он вспоминал свою поездку, и даже нет, лучше другую поездку - с тётушкой Асолат в Янги-базар. Тётушка Асолат жила на окраине города, в одном из бесконечных тупиков, попадая в который мальчик всегда удивлялся тому, что он не ошибся и вошёл именно сюда, к колонке у входа в тупик, с кладбищем по другую сторону дороги. Это кладбище поднималось от самой дороги, как кирпичная стена, и если бы не эта кирпичная стена, то осевшие могилы, казалось, своей тяжестью вывалили бы всех закопанных сюда, на дорогу, потому что и эта кирпичная стена уже вываливалась своей серединой, и с каждым выходом мальчика к тому тупику - всё больше и больше.

Тётушка Асолат была бабушкиной старшей сестрой, ещё успевшей выучиться арабскому письму и чтению, а потому умевшей, как говорила бабушка, в отличие от него "сбивать" буквы, а потом, говорила бабушка, если бы и она прожила без мужа столько лет, как тётушка без дядюшки Почамира, то, как знать, тоже бы читала молитвы и на похоронах, и на свадьбах бы благословляла всех, и базар бы свой не забывала. Всё это умела делать тётушка Асолат.

Но мальчик любил приезжать к ней не поэтому, скорее, наоборот, за это он её не любил, как не любил и вот этот кран, стоящий у самого входа в её тупик, кран с какой-то пружинящей ручкой, наподобие большой кнопки, что когда нажимаешь на неё и хочешь напиться после пыльной дороги, то всегда из крана ударяет страшной силы шершавая струя, и врезаясь в цемент, брызжет так, что пыль с брезентовых туфель летит пятнами на штаны, а вода - дальше, до самого отпрянувшего лица. Но даже если и плюнуть на всё это, то самое худшее в том, что всё равно из такой струи не напьёшься: подставишь губы - вода отскакивает, а во рту остаются одни пузырьки и пена, подставишь ладонь - выскакивает ручка, так что приходится нажимать на неё теперь двумя руками.

Но почему из-за этого мальчик не любил тётушку Асолат, он не знал. А знал он, что самое интересное в этом дворе - это чердаки, болохана, одни за другими, примыкающие к соседским жестяным крышам, таким гремучим, что когда ходишь по ним босиком, то они звенят под каждым шагом, если только не наступать на стыки, подогнутые кверху, но на стыки наступать больно, потому что жгущий жар железа здесь скапливается как на лезвии и дико надрезает подошвы, так что когда сквозь грохот и огонь добираешься до тени соседского тутовника, то даже холод железа в тени не может остудить эту пульсирующую полосу поперёк ступни.

Мальчик соглашался ехать к тётушке только из-за этих прогулок по крышам, когда можно сразу же оказаться на дереве так высоко, что снизу, из-за густой листвы и ослепительного солнца, ни за что его не увидеть. Там на дереве он видел множество крыш, слышал ленивый и далёкий голос репродуктора, идущий волнами от жара, что раскачивает белый воздух, и ему всякий раз вспоминалось на этом месте сказка, которую рассказывала бабушка, сказка про то, как джигит навещал свою тётушку - ялмогиз-кампыр, бабу-ягу, в кишлаке, превратившемся в кладбище. Старуха решила сварить в котле и его, тогда он сбегал от неё и где бросал соль появлялась гора, где зеркало - озеро, а где расчёску - лес. И последнее дерево, на котором сидел джигит, пилила своим зубом тётушка...

Тогда мальчик спускался с дерева и уже нехотя обирал свисающую перед ним ветвь тутовника и потихоньку переходил по гремучему железу на болохану, оттуда по лестнице и в сарайчик с тандыром, а потом через двор на улицу, к началу тупика, где пытаюсь попить, можно остудить себе ноги и немного отмыться от пыли и паутины, налипшей как страх...

Напор воды упруго шелестел совсем как чуть не рвущаяся китайская бумага на варраке -

воздушном змее, который нигде так не любили и не умели запускать, как здесь - в этих кривых и запутанных тупиках. И, наверное, именно поэтому любили здесь запускать варраки, поскольку улочки здесь были узки и невпоровот, и куда ни глянь - со всех сторон кривые, глухие, жёлтые стены глиняных домов, сливающиеся одна с другой в какой-то бесконечный вал с малюсенькими перебивами дверей, открывающихся вовнутрь, и только узкая полоска синюющего неба с ветром, вырывавшимся из этих земных форм и уносящим мощной струёй варраки ввысь, в неограниченный простор, заставляла здешних пацанов клеить самые лучшие варраки из шелестящей восковой китайской бумаги, которую тётушка Асолат продавала у самого входа в тупик.

Мальчик знал, откуда тётушка Асолат привозит китайскую бумагу, и может быть только из-за неё приехал сначала сюда, к тётушке, живущей рядом с кладбищем, а потом согласился ехать с ней куда-то в Шаробхону на базар.

Мальчик помнит, как они собирались с вечера, и ещё засветло сходили в какой-то из переулков рядом с кладбищем, и мальчик шёл туда совсем как будто бы за самой китайской воценой бумагой, но оказалось, там жил шофёр, который должен был везти их поутру в эту самую Шаробхону, и этот шофёр стал жаловаться тётушке на какой-то "демубликатор", как сказала потом тётушка, и эта жалоба стоила ей ещё каких-то немедленных денег, которые она доставала, отвернувшись от шофёра в сторону мальчика, из своих чулок, а рано утром, когда небо только-только начинало отличаться от чёрного цвета самого тупика, они вышли туда к кладбищу, и забравшись на кузов машины, поехали по дороге мимо кладбища, оказавшегося впервые на уровне их глаз, и мальчик увидел превеликое множество варраков, свисавших со здешних корявых священных деревьев, или же это и впрямь были тряпочки, в которые завёрнута мелочь, скорее всего так оно и есть, потому что стоя на ветру, нёсшимся навстречу машине, мальчик думал, что варраки при первом же ветре разлетелись бы с этих деревьев и осели бы на проводах, где их привычнее было видеть.

Долго длился этот вечер, сквозь который они ехали, нет это они уже возвращались вечером, когда солнце, как будто бы дразня машину, катилось ровно с такой же скоростью, то медленно, то быстрее, но ровно повторяя скорость машины, пока не врезалось со всего размаха в это кладбище, которое своей тёмной стеной ещё больше раздувшейся к середине, отсекло это солнце, и когда перед самой остановкой мальчик залез на колёса, лежавшие в кузове, оно показалось в последний раз и в последний раз катнулось, наполовину торча из земли, кровавое, как наверное отсечённая голова, и пропало по-за кладбищем.

И тогда только мальчик понял, что вся эта поездка кончилась, что теперь её никогда больше не будет, и только теперь он вспоминал отрывочно, как пытаешься вспомнить хороший ли - плохой сон, то, что было между утренним и вечерним кладбищем.

Он не помнил долго дороги по выжженной степи, с выжженными, кружащими голову от своего постоянного и медленного кружения холмами, и если ощущал эту дорогу, то ощущал её как тошнотворный запах бензина, казалось бы, поднимающийся спиралями отовсюду, мешаясь с пылью и зноем, превращёнными в один утомительный и бесконечный жёлтый цвет. Но зато он помнит отчётливо показавшиеся ему сперва синими тополя, как будто на них оставался до одиннадцати часов сизый утренний налёт, потом помнит страшную толкучку на базаре - юрты и коровы, кузнецы - кто-то продавал какие-то пыльные тряпки - семечки, шапки казахов - кузнецы - кто - юрты, кузнецы, петушки - словом всё смешивалось в такую неразбериху, что когда тётушка Асолат сказала ему, что теперь-то и пойдёт за китайской бумагой, а ему, дескать, следует здесь посидеть и поторговать вот этими красными флажочками да петушками (а ведь об этом она ни словом не обмолвилась в дороге!), мальчик с удовольствием большим, чем обида, уставился на эти

флажочки и петушки, усевшись на мешок, который расстелила ему старушка.

Она ушла и пропала. Мальчик не помнил: продавал ли он чего, он видел лишь мельтешение ног, и если только собака или коза на привязи проходили в этой кутерьме, его глаза долго сопровождали их путешествие. А потом прошёл ещё целый осёл. И вёл его казах в лисьих сапогах... Это было какое-то столпотворение...

И вот тогда случилось то, что запомнил мальчик из этой поездки твёрже всего. Оглушительный треск разверз небеса. И всё разом стало. "Война! Война!" - завопил кто-то рядом и, повинуясь этому крику, ноги смешались с руками и головами. Мальчик сидел, ни жив, ни мёртв, как на Страшном суде...

И только потом, когда тётушка Асолат отпаивала его холодным кумысом, купленным ей под этот шум по дешёвке, он узнал от неё же самой, что это молния разорвалась в юрте у кузнеца.

Он вспоминал всё это со злостью, ведь под этот шум тётушка Асолат не купила тогда ни китайской вощенной бумаги, ни мучного клея, ни камышинок - молния, что ли спалила всё на свете, а обошлась совсем ненужной мальчишке расчёской, в которое вделано зеркальце, и мальчик ещё раз с ненавистью вспомнил ту сказку о тётушке - ялмагыз, а ведь и дед говорил о ней, что, дескать, после войны та привозила своей родной сестре сухари, покрытые плесенью, чтобы взамен забирать кого-нибудь из сыновей по своим базарным делам, так что, говорил дед, "плясуй, не плясуй!" - именно так: "плясуй, не плясуй!" - зуб свой распилишь об неё, а ничего взамен не получишь...

Мысли приходили одна за одной, как будто поднимались оттуда снизу из чайханы по вытяжной трубе над самоварами, спрятанными за бязевым пологом; они шли совсем уже всбив в бесконечные минуты, когда мальчик отдышался от очередного сна, или он вовсе не спал, а кружилась голова, если на ночь в топчан у самых самоваров был заложен уголь, и его запах пьянил своим угаром, как однажды за целую ночь у тётушки Асолат, когда выпал первый снег, и утром, выйдя в город - но разве опять за китайской бумагой? - его стошнило от самого белого снега, на самом белом снегу, и это ли отвращение заставляло его теперь вспоминать все поездки к тётушке Асолат и связывать их с непонятным отвращением, идущим из самых недр чайханы, из тесного пространства, где от жара головокружительного угля колышется и колышется белый бязевый полог...

### Глава 33

У вдовой ногоайки Айши, завезённой в Гилас по безотцовщине, родилась ещё перед войной безотцовая дочь, но тогда в эпоху массовых расстрелов, сопровождаемых культурной революцией, это считалось весьма прогрессивным, когда же в год смерти Сталина у безмужней безотцовщины - кумычки Сании родилась такая же дочь, сестра вдовой Бойкуш - бездетная Сайрам обронила где-то: "Быть ей ведьмой!" - и точно, внучка безмужней Айши от безмужней Сании - караимка Учмах - выросла ведьмой.

Поначалу она безобидно пересказывала в школе кто какую оценку получит по чистописанию у непредсказуемого после ночных запоев Головченки, но когда после урока географии, на котором корейки отнесли себя поголовно к белой расе и повально получили двойки от неподкупного в расовых вопросах немца Гемлера, они избили предсказавшую это Учмах своим такэвондо, она перестала ходить в школу и стала предсказывать только дурное.

Первая страшная весть, которую она принесла в Гилас - была весть о невинно загубленном мальчике Хосейне - сыне Хуврона-брадобрея и внуке персиянина Джебраля. Ведь когда пропал Хосейн, все считали это делом рук джухудов - бухарских евреев, которые якобы заманивают конфетами детей, крадут их, а потом у себя дома, расстелив супру с мукой, становятся в круг, и каждый подзывает голого мальчика к себе, протягивая ему конфетку, мальчик подходит к первому, первый всаживает в него шило, тогда мальчик идёт ко второму, второй повторяет то же самое, кровь мальчика сочится на муку, из которой впоследствии джухуды пекут свои лепёшки-маца на иоми-киппур.

Эти подробные, как паутина, сплетни так напугали Юсуфа-сапожника, что он не только перестал мочиться каждый вечер на будку Хуврона-брадобрея, но и повесил на свою будку магическое слово "Переучёт" и пропал бесследно на несколько дней. Это подлило масла в огонь. Все стали вспоминать, как любезен был Юсуф с детьми, старушки и те зашамкали:

- А хах он нас поджывал...

И вот тогда Учмах, игравшая под дувалом Джебральского кургана, обронила:

- Не в стоячей крови он, а в текущей воде... - и вдруг, как птица от бессмысленной песни, задёргала головой: - Зах! Зах! Зах!

Тогда махалля отвела её к старшему участковому - Кара-Мусаеву-младшему и в тот же день Кара-Мусаев-младший выловил двух чёрных сыновей люли Ибодулло-махсума, которые через три дня признались, что убили Хосейна и утопили его в Зах-арыке. Через месяц, когда разбухший и квёлый труп мальчишки был вытащен в тридцати километрах от Гиласа на Кербельской плотине, в Гилас вернулся Юсуф-сапожник, и даже не открывая своей будки, не помочившись, направился напрямик к Айше-ногоайке, Сание-кумычке и к Учмах, где не только перечинил им бесплатно всю имеющуюся обувь на дому, но и подарил настоящую супру из бычьей кожи с железнодорожным талоном на муку и конфеты, да набор сапожных шил.

Но мать Ибодулло-махсума Бахри-эна-фолбин, лишившись двоих внуков, затаила зло на Учмах. Три дня и три ночи она колдовала над обожженной бараньей головой и на третью полночь полнолуния выдрала из головы язык с корнями, съела его и уснула.

Правда, через несколько дней случилось совсем обратное - она умерла сама и поскольку в предсмертные часы сплошной рвоты ей не помогло и собственное знахарство, то Ибодулло-махсум был вынужден проскакать на своей арбе до медбрата Хузура, сына Долима-даллола, и тот потом рассказывал, что блевота старухи затопила все люливские закоулки, дети закрывались в глиняных лачугах, стены которых стали подтачиваться как от селя, и арба Ибодуллы скрипела и вязла, но было уже поздно. Старуха, подхваченная своей иссиня-жёлтой блевотиной, текла в

сторону проруба, оставленного некогда могучим тараном внука Толиба-мясника.

И всё же заговор Бахри-эна-фолбин отчасти сбылся. Кара-Мусаев-младший, быть может и подкупленный скорбящим Ибодулло-махсумом, открыл дело на Учмах за недонесение и сокрывательство того, что она знала о страшном убийстве. Но то оказалось его последним открытым делом. Закрывать его Кара-мусаеву-младшему, лишившемуся вскоре всего и ставшему просто Мусаевым, читающим повсюду лозунги, так и не довелось.

Потом, много лет спустя, когда седой Мусаев сидел в парикмахерском кресле у Хуврона-брадобрея и никак не мог совместить двух смыслов, висящих над Хувроновским зеркалом: "Сорную траву с поля вон! и "Дехкон булсанг шудгор кил!"<sup>95</sup>, Хуврон, видя, как мучится человек, посоветовал Мусаеву сходить к Учмах и может быть даже попросить у той прощения, и даже если Мусаев захочет, то они могут пойти к ней вместе, тем более что Хуврону уже пора на обед.

Так, полувыбритый и не разрешивший лозунговой загадки Мусаев и не снявший своего белого халата Хуврон-брадобрей с бритвой в кармане пошли к Учмах. Та сидела как всегда, подбрасывая камушки, и когда Мусаев по своей привычке стал искать лозунг, дабы отвлечься вниманием ума, Хуврон быстро попросил за бывшего участкового прощения за давнее незакрытое дело, Учмах же ловко вытащила из его кармана бритву и, надрезав себе безымянный палец, капнула кровью на камушки. Первая капля крови зашуршала в камушках, а вторая зазвенела и запрыгала:

- Занги-бобо, Занги-бобо... - повторила Учмах, и в это время в дом ворвалась со стопкой газет Айша, пристроившаяся на пенсии после мытья шерсти разносчицей почты. Она прослышала о непрошенных гостях от Ибодуллы-махсума, которому принесла два грязных письма из зоны и ринулась к себе, гнать их от внучки, которая всю жизнь только и страдала от этих незваных...

Она махала ещё нерозданной кипой газет, в которых Мусаев нашел, наконец, отдохновение своему измученному от невостробованности глазу и уму, Айша же увидев бритву в руках у Хуврона, перепугалась, что тот то ли как свой сын решил кого-либо прикончить, то ли, как свой визави Юсуф - из-за какой-то мелкой услуги Учмах - решил перебрить их всех бесплатно, а потому она зашипела: "Кит-ши! Кит!"<sup>96</sup>

На следующий день Хуврон-брадобрей объявил свой "Переучёт" и повёл оскудоумевшего Мусаева к Занги-бобо - старику, который всю свою жизнь просидел у входа на Кок-терекский базар, торгуя насвоем - подъязыковым табаком с примесью куриного помёта. По его предположению Занги-бобо и должен был освободить Мусаева от лозунговой напасти. Дело в том, что Занги-бобо всю свою жизнь не только и не столько торговал насвоем, сколько собирал слова. Каждое услышанное, увиденное, прочитанное, обронённое, брошенное, завезённое, непонятое, неприличное, несусветное, словом, каждое слово с которым он встречался хоть раз в жизни, Занги-бобо заносил той же минутой на обёртки, заготовленные для насвоя, а вечером аккуратно переносил в одну из своих тридцати двух толстых книг, соответствующих той или иной букве алфавита. Правда, на три буквы ему пришлось завести новые книги за заполнением старых, а книга на "Й" была заполнена всего на полторы страницы, кончаясь сомнительным словом "йобтувоймат", к которому в порядке гипотезы было приписано: "ёпти Боймат?"<sup>97</sup>. Что правда то правда - особо мучили Занги-бобо русские слова, ладно бы понятные, как "черешур", "давеча" или "исподволь", но ведь попадётся какое-нибудь наподобие "ненасытный", что заставляло ходить Занги-бобо к алкашу Мефодию и, кормя его насвоем, спрашивать на ломанном русском:

- Искажи, "ненасытный" - это "сийиб улгирмаган"<sup>98</sup>, да?

<sup>95</sup> Если ты дехканин, то паши поле!

<sup>96</sup> Уйди, изыди!

<sup>97</sup> очевидное "ё.. твою мать" обернулось в этом случае в "накрыл Боймат".

<sup>98</sup> "не успевший пописать" - "ненассавшийся".

Когда ему удавалось объяснить значение "сийиб улгирмаган", Мефодий, уже опьяненный насвоем, подозревал старика в намёках на мочащегося Кун-охуна и начинал бузить, крича нечто наподобие того самого "йоп тувой мат", к которому Занги-бобо приписывал свои предположения, ожидая другого случая, когда интеллигент будет трезв. Но на одно сомнение накладывалось другое и Занги-бобо уже подумывал о том, чтобы изъять из своего корпуса слов этот сплошь сомнительный язык, да всё же чувство научной полноты гнало и гнало его к Мефодию-юрпаку.

Хуврона-брадобрея Занги-бобо любил. Ведь после смерти его отца Джебралья лишь Хуврон помнил, как Джебраль материл его в детстве, а через иранский родственный язык Занги-бобо не раз выходил на разгадку русских головоломок. Вот, к примеру, через джебральское "хей кусаш багом!"<sup>99</sup>, он разрешил свои сомнения относительно того, что было записано от Мефодия в последний раз: "х..й кусайш" и "йоп тувой богоматр".

Поэтому и на этот раз Занги-бобо встретил Хуврона-брадобрея с распростёртыми объятиями. Он провёл гостей во двор, где под виноградником была расстелена шалча, вся заставленная растрёпанными листами древних книг. Неся на скорую руку дастархан, старик объяснил:

- Вот, достал, наконец, книги из уборной. Кажется, теперь-то за них не станут арестовывать...

- Тем более, что главного арестовальщика я привёл к вам,- ответил в тон Хуврон, кивая на Мусаева-младшего.

Старик замешкался, признав бывшего старшего участкового. Ведь никто иной, как его отец, бывшая гроза Гиласа, распинывал занги-бобовский насвой у Кок-терекских ворот, пока, прости Аллах, не ослеп...

Мусаев мало что понимал в разговоре, поскольку не находил в нём ничего путно-лозунгового, а потому привычно оглядывался по сторонам, пока не встрепенулся от восторга, увидев в стене кривой уборной вделанный вверх ногами жестяной железнодорожный щит. Скрючившись, так, чтобы можно было прочесть, он произнёс по складам:

... игра-ешь мину-ту...

... те-ряешь жизнь...

"Играешь минуту, теряешь жизнь" - повторил он вслух и задумался над смыслом. Пока он пребывал в этом умственном столбняке, Хуврон успел рассказать старику, зачем пришёл и привёл с собой этого бедолагу. Чем мог помочь Занги-бобо - Хуврон не знал, но в силе слов ведьмарки Учмах не сомневался. Занги-бобо надолго задумался над услышанным. Так и сидели они над остывающим чаем, эти двое насмерть занятые своими неразрешимыми мыслями, а брадобрей - просто между двух молчащих... Наконец Мусаева прорвало:

- Играешь минуту, теряешь жизнь... Лугавий маьноси шулким: "Дакика уйнар булсанг - умринг хароб булгуси!" ва ё аникроги: "умринг зое кетгуси", ва ёким: "умринг йукот булодур!" Бу дегани недур? Шайх Муслихиддин Саъдий айтадиларким:

Онки дар бахри кулзум аст гарик,  
чи тафовут кунад зи боронаш?

ва бу деганиким:

У ки, кулзум денгизида гарк эрур  
не тафовут килгай ёмгирдан...<sup>100</sup>

<sup>99</sup> "ё.. её в пи..ду!"

<sup>100</sup> Дословное содержание этого: "Будешь играть минуту - жизнь свою изничтожишь..." или точнее - "жизнь свою истратишь напрасно", или же "жизнь твоя пропадёт!" Что это значит? Шайх Муслихиддин Саади говорит:

Тому, кто утопает в океане,  
что за разница от дождя?

Хуврон-брадобрей какой-то частью своего происхождения привязанный к Саади, застыл, ничего не соображая, поражённый как из-за этого бывшего участкового, которого весь участок считал дурачком, льются и льются мудреющие слова...

Пока брадобрей осознал своё удивление, Мусаев разобрал посредством Ат-Табари наполовину смысл Саади, и неуловимым скачком мысли связал своё объяснение второй половины его смысла с лозунгом, который висел над колхозной чайханой Мукум-букура в махалле у Занги-бобо: "Болтун - находка для шпиона". Говорили, что Мукум обменял этот лозунг в ближайшей воинской части на чайханский засаленный дастархан, который, как оказалось, в годы басмачества был Боевым Знаменем этой части и теперь потребовался в Музей Боевой Славы. Как эта тряпка попала к Мукуму-букуру никто не знал, но подозревали, что отец его - Каюм-кыйшик - умерший коммунистом и председателем местной партийной комиссии, был в своё время знатным басмачом, отбившим это знамя у славной гвардейской части. Словом, как бы то ни было, Мукум-букур молчал, следуя своему выменянному лозунгу, над разгадкой смысла которого трудился сейчас бывший участковый Мусаев.

Занги-бобо тем временем многозначительно молчал, потому, как все струимые Мусаевым слова имелись у него в его 32 книгах. Но когда всё более возбуждающийся, как вода к концу воронки, Мусаев вдруг и вовсе ощутил себя на многотысячном стадионе, среди факелов и сполохов, и голос его заклокотал в горле, как в минуты пророческих припадков Учмах, Занги-бобо насторожился, чувствуя, что сейчас грянет, Хуврон же весь напрягся от профессионально-ненавистного ему скачущего кадыка Мусаева. И тогда Мусаев закатил глаза, мозги его сухо застучали, не натываясь ни на что мясистое - так в банке-копилке стучат две последние монетки, никак не выпадающие в отверстие, и вдруг пенящимся от сухости ртом произнёс: "No pasaran!" - и вскинул победно руку вверх!

Этих слов не было в амбарных книгах у Занги-бобо. Не считать же их за дикую персидскую форму "нописарон" - "недети" - особенно перед Хувроном-брадобреем, законным сыном персиянина Джебраля, тем более тот сидел, не выражая протеста, а уставившись в клокочущий от бессловесья кадык Мусаева, тогда Занги-бобо тут же сплюнул насвоем на химический карандаш и своей арабской скорописью записал на обрывке бумаги.

Той ночью, когда Хуврон-брадобрей ушёл, а экс-участковый Мусаев остался, дабы теперь постигать из рук в руки смысл отдельных слов из тридцати двух Занги-бобо, сам Занги-бобо как всегда лежал на своей супе перед окном. На подоконнике, как всегда был включён двухпуговичный радиоприёмник "Стрела", крутя ушко которого, Занги-бобо медленно проплывал по миру на средних волнах, натываясь то на сеющего как дождь по воде китайца, то на режущую душу острым голосом индуску, то на рокочущие молитвы араба, но дольше всех он задерживался на бесконечных коврово-изафетических цепях иранской речи, всякий раз вздрагивая от знакомого слова, и опять изо всех сил вслушивался в разноязыкий поток, плывущий по ночному летнему небу. Уши его вострились и вдруг, когда с хрипом и скрежетом из приёмничка выходил уйгур с незатейливой песенкой:

Бу созни эшиткен заман чекти ах,  
болуп чехраси ул заман мисли ках,  
кетип хошидин ерга хамвар олуп,  
бу созлер конгул ичра азар олуп...

узнавая слово за словом все слова, Занги-бобо, как всегда, блаженно засыпал...



Заснул он с острой и блаженной горечью, и в эту ночь, но не уснул лежащий немного поодаль на супе под виноградником бывший участковый Мусаев. Поначалу ему было скучно глазеть на бессмысленные звёзды в промежутках между спелым, струящимся виноградом и пыльной листвой, равно как и слушать эти непонятные завывания, пiski и трески ночного эфира. Тяжко и пустынно было на душе у бывшего участкового, как будто бы по некоей долгодействующей инерции его лишили теперь и лозунгов - его последнего прибежища. Допел свою беспризывную песню и уйгур, под которого, похрапывая, уснул блаженный Занги-бобо. Песня сменилась молчанием, потом некими сигналами, и вдруг странное их свойство обнаружил Мусаев - они пипикали в такт с подмигивающими в пыльных промежутках звёздами, а потом падали одна за другой близко-близко над головой в жёлтые слюнооточивые грозди.

Что-то сладкое и томящее разлилось по груди бывшего участкового, как будто бы он понял смысл всего и сразу, и тогда он без скрипа встал из гостевой, обильной постели и, не надевая своих сточенных хромовых сапог, медленно и босо направился в сторону амбара.

По дороге он разбудил сонно жующих дневную жвачку баранов, и тогда, прислонившись к их частоколу, он стал мочиться. Услышав струю, бараны враз зашуршали и собственной мочой. Мусаев загадочно улыбнулся и направился дальше. В амбаре света не было. Но, ища наощупь выключатель, Мусаев нашёл спички рядом с пятисвечником. Прикрыв за собой скрипнувшую дверь, он чиркнул спичкой и зажгёт три свечи. В их распалющемся свете он увидел те самые тридцать две книги, сложенные одна рядом с другой на полках для сушки урюка. Он порывисто направился, было к ним, но свечи попадали из подсвечника и, подобрав две погасшие из них, он обжёгся о третью, а потому бросил подсвечник на соломенный пол, дабы счистить прилипший к спалённой коже стеарин.

Чуть позже он взял с собой одну из свеч и подошёл к книгам. Постояв некоторое время в нерешительности, Мусаев опять чиркнул спичкой и открыл первую попавшуюся книгу. Пламя свечи осветило левый верхний угол, и он увидел слово: "самар". Следом за этим кроваво-красным словом следовало пять объяснений. Три значения<sup>101</sup> он успел жадно прочесть, но спичка обожгла ему хвостом пальцы, и тогда сплюнув её в темноту, он зажгёт другую. Эта выхватила другое слово, то ли "семиз", то ли "Семург", но он тут же повёл спичкой в прежний угол, и опять, пока отыскивал последние значения слова "самар", спичка успела ужалить его вновь.

Третью он зажигал уже над этим углом, а потому быстро отыскал и четвёртое, и пятое значения, но следом шла фраза из которой он успел выхватить лишь слово "ерга..." Мусаев зажгёт ещё одну спичку, но от дрожи в пальцах, она вспыхнула и погасла... Сердце его стало нетерпеливо заходиться. Он уже чувствовал себя прочёвшим эту фразу, руки же, время же двигались медленнее его сердца и мыслей. Наконец он зажгёт очередную спичку и лихорадочно прочёл: "самари ерга урди..."<sup>102</sup>

Казалось, и впрямь что-то оборвалось в нём и упало... В прогорклой от дыма темноте амбара он зажигал спичку за спичкой, выныривали из темноты всё новые и новые слова, но он их не видел и не понимал...

Тот самый сигнал звёзд или эфира стучал в его сердце и падал под босые горящие ноги. "Самари ерга урди... самари ерга урди..." Этого смысла, что родился из одного за другим объяснений одного странного слова, он никак не истолковывал, хотя как некая вспышка в нём осветился на секунду не лозунг, но фанерная арка соседнего колхоза "Ленин йули самараси", так и не вошедшая в сей словарь, да, но всего на секунду, как память, как оставленное, как обречённое на забытьё, и опять капнула то ли слеза, то ли капля стеарина, то ли головка спички наземь, под горящие ноги... "Самари ерга урди... самари ерга урди..." Он горел на соломе, вместе с этими

<sup>101</sup> 1 - плод, 2 - итог, 3 - урожай

<sup>102</sup> "его плод пал на землю"

полуоткрытыми книгами, которые листались теперь не руками, но огнём, и видел, как слова подымаются из этих книг пламенем, а тень их пылью падает вниз под горящие и неподвижные босые ноги... «Самари ерга урди...» - шепнул он последний раз, и эти слова сгорели в нём последними, только ослепительный их взмах успел заметить...

Через три дня от полученных ожогов он скончался в коктерекской больнице, днём раньше у себя дома изжил свои лета выживший из ума Занги-бобо. Хоронил их почему-то Хуврон-брадобрей, хотя ни тому, ни другому не приходилось родственником. Родственники же Занги-бобо побоялись приехать на похороны, поскольку пожар его амбара в ту ночь перекинулся на дом Соли-складовщика - старшего сына Умарали-судхора - главного наследника несметных богатств отца.

Немыслимая то была ночь, когда горели мешками деньги, накопленные судхором и складовщиком. Огарки их летали, подбрасываемые пламенем и опадали на соседские дворы, на пустыри, на обмелевший Солёный арык и просто в руки зевак. Хивинские ковры и золотое шитьё Бухары заливали вонючей водой Солёного, рулоны рукотканной алачи и завозной парчи отмеривались охватами пламени, шифер, способный покрыть весь Гилас и ещё железную дорогу в обе стороны до горизонта, трещал и взрывался, не подпуская добровольцев с вёдрами, которых поражали не величие бушующего огня, но размеры не поддающегося огню богатства. Ведь только на те деньги, что случайно оказались в кармане ночной пижамы Соли-складовщика, он тут же купил у корейца Филиппа Лигая его "Победу" и послал того в город, закупать пожарную часть.

Пожарные приехали целым караваном к шести утра, после чего так и остались навсегда приписанными в Гиласе. А приехали они тогда, когда уже сгорели лесоматериалы и разлилось по Солёному вместо воды стекло, огонь же тем временем принялся за фарфор. В то же самое время жена Соли-складовщика по бросовым ценам распродала семьсот рулонов атласа, всем, кто крутился в эту ночь вокруг, и на вырученные деньги выкупила полдвора на противоположной стороне дороги у крымской татарки Майсэ, дабы перетаскать туда всё, что еще оставалось нетронутым огнём.

Пожарные работали споро и вскоре выкачанные помпами воды Солёного образовали пруд между фундаментально-прочного забора складовщика, и из этого пруда торчали обгоревшие стропила и железная антенна, смотрящая на Москву. Они же, эти пожарные, вытащили из соседнего двора обгоревшего среди праха 32 книг человека, в котором никто не признавал бывшего старшего участкового Кара-Мусаева-младшего, да обезумевшего старика, не отпускающего от себя двухпуговичную радиолу, выдранную с мясом из розетки...

Соли-складовщик не стал возиться со старым подворьем. Взвинтив цены на стройматериалы, он построил новый участок и уже цен своих не снижал. Так что пожар лёг тяжким и многолетним бременем на Гилас, если не считать того бассейна, который так и остался в его старом дворе. Детвора Гиласа барахталась там, прежде чем отмываться в полустеклянном Солёном. Самые смелые набирали воздуха и уходили под воду у самых стропил, выныривая, кто с китайской полупрозрачной фарфоровой пиалкой, кто с русской серебряной чайной ложкой, а кто с пачкой вымокших поддельных накладных... И всё же решался на это не всякий, поскольку осколки шифера, да рассыпанные повсюду дюймовые гвозди всё-таки преобладали...

Вот.

Вы спросите, а что же с Учмах? А Учмах вскоре понесла. И никто кроме неё не знал - от кого. Хуврон ли брадобрей со злости, Юсуф ли сапожник из любви, дух ли Кара-Мусаева-младшего из привычки, или какой прохожий-проезжий-пролётный вчинил ей этот плод, о котором лишь заходила речь, как она задумчиво и двусложно отвечала: "Шафик! Шафик!"<sup>103</sup>, вот и назвали

<sup>103</sup> милосердный

первого мальчишку в их безотцовском роду Шапиком.

Шапик рос, как водится, не по дням, а по часам, но рос почему-то тощим и долговязым идиотом, который чесал в задку, а потом сосал свой обмазанный указательный палец. В семь лет он казался семнадцатилетним, хотя был умом семимесячным, тогда-то чадолюбивая Оппок-ойим отдала ему всю форменную и гражданскую одежду пропавшего без вести Османа Бесфамильного, из коей Шапик больше всего любил синепогонный китель и галифе цвета хаки, в которых он слонялся вдоль железной дороги как ворон, пугая всякий раз и машиниста Акмолина, однажды уже сидевшего во времена Кагановича, и особенно Наби-однорука, вооруженного ежедневно свои хлопковые семена.

На девятый год его лицо покрыли густые морщины, и прорезался язык. Правда, что значит прорезался? Попадало к нему на язык какое-то слово и никак не могло с него слезть, спрыгнуть, отлипнуть, соскользнуть. Вот и ходил он с этим неотвязным словом на языке как с икотой, то утишая его, то выкрикивая, то просто повторяя, пока на пятый или пятнадцатый день оно не пропадало само по себе и навсегда, иногда зарастая долгим и судорожным молчанием, иногда же порастая другим столь же долгодневным и невыселимым словом...

В десять лет он уже выглядел усохшим на корню стариком, хотя до сих пор лежал ночами в общей постели между бабкой и прабабкой, к которым ластился ещё как младенец, едва оторванный от груди. Те так его и воспринимали, высвобождая на ночь от груди, которые он гладил морщинистыми, как подсолнух ладошками, но когда однажды среди ночи он как обычно лежал между ними как их ровесник, разбросав две руки по грудям Айши и Сании, и вдруг посреди их сна облил обеих как фонтаном, обильным семенем, обе вдовы с воплями разбудили третью, и Учмах с той ночи забрала своего сына навсегда к себе. Нет, ничто с бабкой и прабабкой не произошло, они не забеременели и не понесли неведому зверюшку, всё там было поросло, но с тех пор обе, затаив друг от друга своё вдовье любопытство, стали дожидаться кровосмешения дочерне-внучатого. Увы, и этого они не дождались! Не стал Шапик сам себе отцом и сыном в одном лице, как не стал ранее ни дедом себе, ни прадедом, ни внуком, ни правнуком.

Дело в том, что к одиннадцати годам Шапик стал точной копией покойного Гумера - патриарха Гиласа. Именно тогда Оппок-ойим собрала комиссию по его наследию и именно тогда она отняла силком сына Учмах под видом его использования в качестве модели для портрета писателя. На самом деле ей было нужно запугивать не в меру раскатывавшихся рассказчиков: будь-то взятый на полный пансион алкаш Мефодий-юрфак, правоборка Нахшон, совсем уже сбрендившая без мужа, или же народные сказители ценой по 25 рублей за лист. А запугивала она зарвавшихся тем, что изредка выпускала в свой сад бедного и простоумного Шапика под видом гумеровского духа, и Шапик, выпущенный на волю, спешил делать всё то скудное, чем его наградила жизнь: чесал в задку и сосал свой указательный палец, бесконечно спотыкался на одном слове, которое из его скудодушного протеста было огрызком матерщины, и брызгал семенем на розы и георгины, но это всё соединённое с образом ставшего мифом Гумера, производило на клиентов Оппок-ойим светопреставленческое впечатление.

И лишь мальчишка-сирота, взятый писарем из 11 школы имени Октября, знал всю изнанку этого дела, поскольку ему, как сверстнику Шапика и писарю наследия Гумера было поручено ежедневно читать малолетнему крестину писания старого провидца и изредка играть с Шапиком в орехи на шелбаны.

Вот тогда-то обессыненная Учмах затаила зло на Оппок-ойим. Целыми днями она сидела на пустом дворе под бездомно-голым солнцем и запекала себе темя для мыслей. И, наконец, её озарило. В ближайшую ночь на полнолуние она переселила всю свою колдовскую силу в сына чайханщика Мукума-букура - Бакая по прозвищу Тимсох<sup>104</sup>, который год назад, воруя ночью из

<sup>104</sup> крокодил

стоячего вагона инвалидную коляску, угодил под тронувшийся состав и остался без двух ног. И вот наутро после полнолуния, Бакай стал вещать, а Учмах лишилась навсегда месячных и перестала ведьмовать.

А вещал Бакай о том, что ему было видение, что будущее за безногими и калеками, и кто потеряет ногу, тот приобретёт вечность. Бакай говорил как буюст, а потому на первый же базарный день приобрёл себе множество последователей. Они по ночам собирались у тугаёв по берегам Солёного, заворачивались в белые простыни и начинали кататься, пока кто-то из них не взвизгивал от перелома или вывиха и не просветлялся или же причащался. Потом и вовсе пошли фанатики, которые подобно своему пророку стали ложиться в простынях под поезда. Именно тогда машинист маневрового тепловоза Акмолин вышел на пенсию, прервав свой непрерывный 45-летний стаж с 5-летним тюремным перерывом вначале карьеры, а гробовщик русского кладбища - татарин Риф заработал кучу денег, закапывая по блату одни ноги, независимо от их веры и размера.

Больше всех бесновался от новой веры, как водится, бухарский еврей и сапожник Юсуф, но бесновался не столько по религиозным мотивам, сколько из экономических соображений - всё меньшее количество обуви стаптывалось поредевшим количеством ног, хотя он вскоре заметил, что одна нога стаптывает башмак вдвое быстрее, нежели две ноги два башмака, а потому успокоился, но на всякий случай стал экономить на гвоздях и резине...

Мало-помалу адепты новой веры стали не только проповедовать, но и обращать в свой орден разуверившихся и бессмысленно живущих. Тогда-то они перебили ноги младшему брату покойного Тимурхана - Рафаэлю, который вскоре выпил уксусной эссенции, но другой ноги не отдал. Тогда же некий автомобиль без номерных знаков переехал ноги заведующей культтоварами - красавице Лобар, а местного футболиста и трубача Геннадия Ивановича Машина "подковали" во время товарищеского матча.

К тем дням относится печально известная молитва сапожника Юсуфа: "О Рабби, будь справедлив до конца и сократи их с двух концов..."

Проще и мудрей поступила Оппок-ойим, которую раздражала всякая чужая рядом с ней власть, тем более такая членовредительская: она подорвала экономическую базу новой веры, скупив во всей округе и заштаблевав в туберкулёзной больнице все простыни, в кои по ритуалу заворачивались прозелиты и неофиты. И тогда в одну из понедельничных проповедей Бакай призвал на голову этой "бандерши" проклятия и объявил ей священную войну. За голову Сатанихи и её погребённую империю было объявлено вечное блаженство, которого в ином случае можно было достичь лишь потерей двух ног плюс добровольной кастрацией, а потому охотников оказалось больше чем тех, кому уже переломали ноги, и вот через понедельник в ночь на полное лунное затмение, предсказанное Штангенциркулем, штурмовики ринулись к дому Оппок-ойим, которой, кстати, не было дома. Выбивая Учмах пенсию по потере кормильца, а Шапику по нетрудоспособности, она задержалась в городе, сначала у старого еврея Миронника, а потом и вовсе заночевала у своей младшей дочери Шаноб.

Замыслившая всё это год назад Учмах, увы, теперь не могла вмешаться в ход событий ни сократив бюрократии, ни отменив внезапную доброту Оппок-ойим. А жаль! В саду, отбрасывающем густую тень, вдруг стала сгорать луна, а вместе с нею стали испепеляться, закручиваясь как опалённые листья, тени деревьев и людей: двуногие стали одноногими, одноногие остались без ног, безногие - без головы и тени...

И вдруг, когда ещё по инерции первые ухнули в дверь дома, свет пропал вовсе, а с ним пропала и тень. Всё обратилось в жуткую темь. И солнце, и луну покрыла тьмой земля.

"Бля... бля... бля.." - заблеял в постели одинокий Шапик и штурмовики ворвались в дом.

Когда они, перевернув весь дом и не найдя кроме голого Шапика никого, вытащили его во двор, новый месяц стал рождаться, просовываясь в кривую щёлочку между тьмой и тьмой. Тени стали спускаться на землю и утолщаться, и только этот голый старик был неизменен. Он чесал пальцем в зад, потом обсасывал свой палец, безутешно повторяя своё: "Бля... бля... бля...", и вдруг... обдал обернувшегося к луне лицом, а к нему стало быть спиной Бакая густым, как полнолунный свет, семенем.

Бакай не носил брюк, поскольку их не на чем было носить, а потому из-под задравшейся гимнастёрки семя вязко и медленно потекло по двум крутым и обрезанным полузадницам...

Когда луна явилась полно, Шапика, всё ещё стреляющего семенем по ночному саду, за отсутствием простыней, оклеили огромными листами каких-то книг в бычьих и прочих шкурах, и замороженные луной, забыли поджечь дом, а понесли тяжкий свиток на свою священную горку в тугаях Солёного, дабы свершить своё сакральное жертвоприношение.

При полной луне они скатили этот свиток со стариком внутри раз, второй раз, третий, но ни разу не услышали крика Шапика - одна сухая трава да камыш трещали под катящимся рулоном. Тогда кто-то из двуногих, дабы заслужить благословение, не теряя при этом ноги, предложил поджечь обёртку. Так и поступили. Но обёртка горела плохо, то ли намоченная семенем и слюной идиота, то ли от обилия чернильных букв на ней.

Ещё один из новобранцев предложил облить рулон бензином, другой, из пожалевших ногу, сбежал, не жалея ног, до автозаправки у железнодорожного переезда и принёс две канистры бензина. Толпа одноногих всё больше и больше возбуждалась. Это возбуждение передалось и Шапику, который из бумажной утробы вдруг сдвинулся с омертвевшего слова и стал заедать уже на двойном слове: "Во бля... во бля... во бля..."

Две полные луны мёртво светили из двух глаз Бакая, когда он кивнул головой, дабы затем соратники брызнули бензином на свёртище. Было во всём этом пацаночье ухарство - поджечь банку над карбидом, брошенным в лунку с водой. Двое двуногих плеснули двумя канистрами бензина, и отошли, зачтённые, в сторону. И прежде чем третий бросил спичку в Шапика, первый последователь Бакая - колченогий с рождения башкир - Мидхат-Чулак, ждавший всю жизнь Бакая как Иоанн-Креститель Иисуса, пхнул единственной ногой ком бумаг с человеком внутри, и свёрток тяжело перевернувшись, пошёл на раскат по пригорку. И в это время третий бросил спичку...

Взрыв потряс в ту жуткую ночь Гилас. Псы, прятавшиеся в конурах, завывали, деря животы, пчёлы вылетели из ульев и понеслись на луну, стационарный гудок на случай атомной войны сработал сам по себе и выл всю ночь иерихонской трубой...

И только утром Гилас понял, в чём дело. Фронтвик Фатхулла - ум, совесть и честь Гиласа, насыщавший сном свой единственный глаз вдвое раньше других, как обычно, в пять утра погнал со слепым рассветом своих семь баранов на выпас к тугаю и нашёл там голого Гумера, которого все считали давно уже умершим, а как оказывается тем рассветом вернувшегося и ходящего по выгоревшему за ночь тугаю среди каких-то обгоревших тел и костылей, повторяя слова, которые Фатхулла слышал лишь на заре своей жизни на Втором Украинском Фронте: "Во бля даёт... во бля даёт... во бля даёт..."

Не выдержал этой встречи и этого шабаша мертвецов Фатхулла и погнал перепуганных баранов обратно в Гилас, дабы собрать махаллю, посовет, домкома и решить сообща, что делать с нечистью.

Когда мужское население Гиласа, вооружённое кетменями, вилами и лопатами, пошло на тугай, то ни Гумера, ни Шапика там не было, а лежали лишь останки едва зародившейся и сгоревшей на корню веры одноногих и безногих. В тот же день всех их захоронили там же, в опалённом от взрыва тугае, а через полгода поссовет постановил залить это место асфальтом, чтобы через год построить там новый летний кинотеатр "Октябрь"...

Учмах в нём работала на старости лет билетёршей, получая, впрочем, вдобавок обе пенсии, схлопоченные ей доброхотливой Оппок-ойим.

## Глава 34

Как я ни оттягивал, как я ни скрывал, но мне всё же придётся рассказать всё это. Иначе всё это не имеет никакого смысла. Или почти никакого.

Жил в Гиласе у самой железной дороги за водонапорной башней слепой старик, полутатарин-полуузбек по имени Гумер. Был он женат на полуармянке-полуеврейке Нахшон по фамилии то ли Доннер, то ли Штоннер. Не помню. Или путаю. Ну да ладно! Словом, Гумер уже не выходил из дому, а Нахшон - эта семидесятилетняя красавица с бровями как усы и с огромной бородавкой, служившей в молодости родинкой над верхней губой, в дни выборов входила добровольцем в избирательные комиссии и ходила по Гиласу с избирательной урной то к Кун-охуну, в стельку пьяному после ночной погрузки угля, то к Мефодию, не голосовавшему то ли из принципа, то ли из-за хронической ангины, заработанной во время беспрестанной гражданской казни и лишившей его голоса, а, в конце концов, к своему слепому мужу Гумеру, где застревала, бог весть почему, на полчаса, может быть, пила чай со сладостями с избирательной распродажи; в другое же время она торговала по летним воскресеньям на Кок-терекском базаре то первым изданием словаря Ожегова, то дореволюционным Гербертом Спенсером, то психологией Уильяма Джеймса. Словом, распространяла культуру и вширь, и вглубь.

Детей у них не было. Изредка, после пионерской линейки, тимуровская команда одиннадцатой школы заносила им три кило картошки и кусок хозяйственного мыла, выделенный команде администрацией шерстьфабрики. Вот, пожалуй, и всё, что было известно об их жизни. Ещё разве то, что Нахшон прекрасно готовила. Так говорила Оппок-ойим, которая знала всё обо всех и единственная из взрослых Гиласа хаживала в их комнатку у железной дороги за водонапорной башней.

А теперь то об их жизни, о чём никто не знал.

Гумер, конечно же, был патриархом Гиласа. Никто попросту не мог знать, сколько ему лет, поскольку самые закоренелые старожилы Гиласа и те помнили его со времени своих детства глубоким стариком. В молодом возрасте, этот сын переводчика колонизаторских чернявскобелевских войск, был единственным переводчиком на строительстве российской железной дороги в Туркестан, когда одну рельсу, начиная от туркестанского Ташкента, было поручено класть сартам, а другую - от Акмечети и навстречу - киргиз-казахам. Так и сновал он по киргиз-кайсацким степям на перекладных, то, застревая в песчаных бурях, то снежных буранах, когда бунтовали вольнолюбивые казахи или ночами распродавали шпалы на строительство благостроительные сарты, вследствие чего и тех, и этих следовало судить, а стало быть, переводить им Высочайшего Повеления приговоры да высылать в Сибирь, где тоже, впрочем, прокладывалась дорога, но уже в соревновании местных племён хакасов и бурят.

А соперничество заключалось в том, что после расчётной встречи и соединения одной рельсы, каждая команда начинала класть вторую рельсу на территории противника. То есть если бы сарты к моменту встречи с киргиз-казахами проложили рельсу до Шиили, то вторую рельсу они бы клали всего навсего от Шиили и до Акмечети, когда как киргиз-казахам пришлось бы тянуть эту самую рельсу от Шиили и до Ташкента. Понимаете, да? Впрочем, не понимали и те.

На исходе четвёртой зимы, замёрзшие, покрытые струпьями и люто ненавидящие друг друга две железнодорожные орды, сменившие свой вымирающий состав по третьему разу, встретились на болезненном закате у Туркестана близ стойбища казахских верблюдоводов, в точном соответствии с расчётами русских географов, инженеров и мастеровых. В этом была заслуга и

Гумера - к тому времени подпоручика царской армии, который, снуя между судами и расстрелами, как бы сшивал своим челночаньем два конца одной нити, держа одну в правой, а другую в левой руке.

Там, на степном закате, вместо того, чтобы перегрызть друг другу горла, две орды вдруг побросали кирки и молоты, оставив заколачивать последнюю соединительную рельсу со штампом "Туркестанский железнодорожный полк" двенадцати русским солдатам-охранникам, а сами пошли отъединено, но одинаково к городу, возносить молитвы святому хазрату Ходжа Ахмаду на его разрушенной усыпальнице. Гумер-переводчик стоял в нерешительности - оставаться ли на торжество соединения нитки из одной рельсы от Акмечети и до Ташкента или же идти вслед за теми, кого он считал без себя безъязыкими?

В конце концов, он поплёлся вслед за двумя толпами, хрустя своими хромовыми сапогами по степному придутому снегу, в промежутке между двумя протоптанными колеями, держа каждую из чернеющих в белом поле толп в глазу, как зрачок, оттаявший и выпавший далеко вперёд... Нет, Гумер не был лишён сентиментальности, и как образованный выходец из этих же диких кровей и телес, он шёл и плакал, желая, быть может, в глубине сердца соединиться с этими толпами, как обрести заново свои незамутнённые глаза, но кто-то вдруг оборачивался и, призывая других к улюлюканию, бросал в его сторону то ли катышком подснежной глины, то ли снежком, почерневшим от степной грязи да от грязи рук, пока другие своим сосредоточенным шагом не подбирали этого смутьяна, и все опять продолжали путь до тех пор, когда на плетущегося в распахнутой шинели Гумера не оборачивался кто-то другой из соседней толпы. И всё повторялось сначала.

Ближе к усыпальнице две толпы незаметно слились в одну и Гумер, упустивший их из виду, остался вовсе посреди степи. Когда же он подошёл к гробнице, рабочие, окружив её со всех сторон, уже молились. Гумер пристроился сзади и поскольку никогда в жизни не молился, то решил в украдку повторять движения тех, кто стояли перед ним. Те склонились в поклоне. Не упуская их из виду, Гумер склонился надвое. Те распрямились, и пока, чуть запаздывая, распрямился Гумер, те пошли в коленопреклонение. Гумер наспех устремился в движениях за ними. Встав на колени и приложив лоб к земле, он вдруг почувствовал непередаваемую полноту нелепости того, что он делает. Но эта нелепость была такой полной природы, такой необыкновенности, что когда, распрямившись на мгновение, правоверные опять пошли на челобитие перед Всевышним, Гумер с неким сладострастием первоощущенца бросил голову на землю. Дурнее этой позы: задом кверху и носом к чужому заду, ничего и выдумать было нельзя, так казалось Гумеру, но именно в этой нелепой унижительности, не имеющей ничего общего ни с торчащим впереди чужим задом, ни со своим, торчащим точно также сзади, ни с лицом, измазанным снегом из-под чужих ног, в этой всеобщей унижительности перед чем-то более высшим, нежели презрение чужого зада, было сладострастное, сластотерпкое ощущение Гумера, и уже стоя и беззвучно шевеля губами молитву, которой его научила бабушка-татарка из Оренбурга, и чувствуя, как растаявший грязный снег вперемешку с заснеженной грязью течёт по его лицу, он с нетерпением ждал, когда воскликнув "Аллаху Акбар!", тот, кто стоял спиной ко всем на возвышении гробницы, пойдёт в поклон к земле, чтобы с нею смешаться.

Той ночью, оставшись ночевать вповалку с единоверцами у могилы святого, Гумер бредил всю ночь, ворочаясь под своей российской шинелью. Ему снился некий человек, пришедший на омовение и моющий аккуратно ноги, ступни, каждый пальчик, промежутки между пальцами, а потом наматывающий бязевые портянки, дабы через некоторое время его чистого и готового, сложили вдвое и, взвалив на плечо, как тушу, понесли по свету. И не о нём думал во сне Гумер, но о другом, о том, кто принуждён носить омытого по свету, о человеке, приговорённом к ношению



другого, как носят одежду, бороду, очки, имя...

Взволнованный, он просыпался, ночь над развалинами гробницы паялилась угловато выступающими локтями звёзд, и он засыпал опять, и тогда ему снилась собачья пара, которая, грызясь, приближалась к нему, но то оказывались не собаки, а прирученные волки, и не чужаки, а семья, потерявшая волчонка, по которому волчиха выла все ночи в курятниках, и эта пара волков переступала, топча его, и вдруг он чувствовал, как волк не вгрызается в его руку зубами, но касается его мягкого предплечья своим обнажённым детородным членом, так боишься, что тебя омочит, как пена, собака. И он лежал, распластанный на земле, а самцу наступала пора сходить в дичь, на время нагула, пока волчица уходила выть в курятник по потерянному волчонку...

Распластанный Гумер просыпался опять и, глядя на звёзды, уже связываемые с другими в нить, засыпал заново, и тогда нить железной дороги снилась ему как нить, цвета которой не различишь - чёрная она или белая...

И вот тогда раздался голос муэдзина, призывавший правоверных и покорных к заутренней молитве, пока ещё белая нить неотлична от чёрной, и в тот день в походной кибитке, взяв зашнурованную отчётную тетрадь, Гумер записал свою первую в жизни страницу неотчётного текста, и это было началом его писательства.

Теперь, когда вы знаете об этом дне и этой ночи, легче объяснить и понять много в его последующей жизни. Те первые страницы его неумелого, а оттого отменно-литературного, чересчур-стилизованного текста я видел раз, залитые водой, но светлые, как, наверное, лицо самого Гумера в тот день на снежной молитве... Называлось всё это, как помнится, так:

### *Железная дорога (путевые заметки)*

*Он не знал своего отца. Не имени, ни фамилии, ни точной профессии. Ни даже того, а был ли отец на самом деле. Так что слово, которое для всех значит что-то близкое и ясно очерченное, осязаемое как сопение или лезущие из носа волосы, для него так и существовало словом. Вот и было изначально это слово - Отец.*

*С матерью было проще. Мать умерла его рожая, и её завернули в полотно, которое она ткала, остатки раздали омывальщицам, плакальщицам, в песок над её могилой воткнули, как водится, лестницу, и на этом забыли.*

*Растила его беспризорная старуха Гульсум-халфа - читательница поминальных стихов, которая по хромоте и подслеповатости своей опоздала на похороны, но зато высидела все остальные сорок дней оплакивания и поминок, став единственной завсегдашней этой пустой кибитки, где ей не досталось даже платочка, а потому она и присвоила себе новорождённого, думая, что уж он-то ей пригодится на предстоящей старости лет - в худшем случае - дабы оплакать его самого и просидеть еще сорок бесплатных дней в чужом доме.*

*Но младенец оказался живучим. Ближней весной он уже сам лазил под бодливую козу, наплаканную по похоронам Гульсум-халфой, а в свои пять лет с нею же сбежал в пустыню, когда на их аул напали джигиты Аспендиара. С этой козой он дошёл до края света, где начиналась вода, став ей в дороге не сыном, но мужем, там он её и похоронил, лопнувшую от солёного захлёба, там, на её песчаной могиле, плачущего столь же солёной водой, а может быть и солонее, подобрали русские солёкопы.*

*Семь лет он копал с ними соль, пока не вымерли все, и среди трупов последних, погружённых на пароход, он убыл тайком с этого опустевшего света по морю туда, имени чего не знал, разве*

что смутно догадывался, что это и есть тот свет, которым пугала на похоронах слепо-хромая старушка Гульсум-халфа.

В одну из ночей, когда он лежал среди непортящихся от просолки трупов, раздался страшный удар, расколовший трюм надвое, трупы посыпались в налетевшую воду, подминая мальчишку под себя, но выброшенный из глубины мощной и вязкой струёй на поверхность моря, он с ужасом увидел, как расколотое надвое торчащим пароходом, море горит. Ад! - подумал мальчишка, и его накрыл с волной огонь. Обожженный он осознал, что к счастью горит лишь поверхность, вода же, разгорячённая кверху, в глубине лишь сверкала сполохами, сквозь которые на поверхность, пуская пузыри, всплывали трупы. Мальчик хватал обожженным ртом воздух из-под прогорклых трупов и, держа их над своей головой, отчаянно лупил ногами, устремляясь в тёмную и клокочущую пучину моря...

Обессиленного, но насмерть вцепившегося в обожженный труп старого Ваньки, его прибило к берегу. Море продолжало гореть, и пламя исчезало в небе, становясь звёздами. Мальчик лежал на том свете и вспоминал своей короткой мыслью, что теперь должно случиться по словам его мачехи Гульсум за все его нажитые грехи. Но ничего не происходило. Море всё так же горело, только волны относили его всё дальше и дальше, к утру же, когда почерневшая от копоти луна растаяла в чёрном углу неба, горящее море и вовсе стало не адом, а костром, привязанным к обломку какой-то опрокинутой среди моря башни, что торчала нелепой лестницей в небо, и на ней висели обломки их парохода.

Мальчик не знал, надо ли закапывать трупы на том свете, но на всякий случай вырыл в чёрном и маслянистом песке яму, в которую стащил Старого Ваньку, чья соль проступила белым саваном, потом связал из обломков парохода кривую лестницу и, воткнув её в могильный песок этого уруса, прочёл над ним короткую молитву о том, что Никем не рождённый и Никого не рожавший Бог Един и нет Ему никакого сравнения.

Странно пуст был тот свет. Долго ждал мальчик, когда придут теперь по нему, но, не дождавшись никого, пошёл по пустынному берегу моря в сторону, где вдалеке чернели деревья. Там, наверное, рай, думал он. И впрямь то был рай.

В пустынном саду, перебивая друг друга, росли и абрикосы, что жёлтые солнца, и вишни, что красные светила, и персики с нежным пушком на губах, и даже инжир, которого мальчик не ел никогда. Но больше всего его удивил гранат, названия которому мальчик не знал. То был плод не похожий на плод - скорее иссохшееся сердце Гульсум-халфы, каким она его рассказывала, но когда, повертев его в руках, мальчик решился надкусить, оттуда брызнуло сорок алых пчёл, жала ему язык сладко-кислым своим ядом. "Ну вот и я умираю! - подумал, засыпая, насытившийся мальчик. - Теперь я увижу души мёртвых, которые живому видеть не дано..."

...Первым на том свете к нему подошёл усатый садовник с соединёнными бровями, говоривший на смутном языке. Он отвёл его в дом, где мальчика мыли семь дней, после чего переправили его в огромную кухню, где сковороды шипели как море. Там мальчик отъедался до красноты щёк, после чего его перевели в канцелярию, где его обучали некоторым словам этого смутного языка. Затем музыканты учили его танцевать, вихляя животом и задом. В конце концов, ему выстригли косичку, и повели во дворцовые покои. "Здесь я увижу Бога!" - думал, волнуясь, мальчик и озирался в пустой опочивальне по сторонам. Но вошёл сладкоголосый мужчина в халате, наверное, ангел божий, и, поглаживая его косичку, стал расспрашивать на смутном языке о жизни.

Мальчик удивлялся тому, как обманывала, оказывается живущих на том, прошлом свете подслеповатая Гульсум-халфа, пугавшая тем, что Мункар и Накир по смерти начинают допрос о

*прожитом - один при молоте, другой при наковальне. Сказал неправду - становись лепёшкой! Ещё раз соврал - выбьют в пыль! - нет, напротив, этот говорил так сладко, и под каждый глажок приговаривал: "Вах-вах-вах!" Потом он и вовсе снял с мальчика одежду, и когда, медленно закатывая глаза, как будто выискивая наощупь все оставшиеся в теле грехи, он коснулся одной потной рукой ягодицы, а другой - шершавой - чучака, и вдруг воскликнул: "Вах-вах - бюль-бюль!" - из соседней залы раздалась медленно-сладкая музыка, под которую служители божьи учили его прежде танцевать. Ангел божий сбросил халат и не крылатой спиной, но волосатой грудью прижался к лопаткам мальчика и закружил его во всё убыстряющемся танце. Голова мальчика кружилась, и он не знал - что делать. В это время ангел божий развязал последнее полотенце на своём поясе, и мальчик, увидевший то, что рвётся к нему, в испуге зашептал свою единственную молитву о Боге, который не рождён и не рождает и с которым никто не может сравниться.*

*Музыка уже превратилась в один-единственный колотящийся в сердце барабан и вдруг, на излёте, дверь с треском разверзлась нараспашку, в неё влетела в белых одеждах... мальчик уже не знал кто это. От голого стыда он метнулся к окну и, надрезая обломками стекла свою зудящую кожу, исчез в саду...*

*...Там в самой его глухой глубине, прикрыв свою наготу инжирным листом, разбухшим от крови и ворочаясь в предвечернем кровавом бреду, он думал о том, куда умирают люди на том свете... Разве обратно к мачехе Гульсум-халфе?!*

## 2

*...В толпе началось брожение. Папахи замелькали огромными чёрными мухами под сумасводным солнцем, и тогда он поспешил закрыть это собрание якобы на время полуденной мусульманской молитвы, сам же поспешил в белый шатёр к сотенному казачьего железнодорожного охранно-карательного отряда, дабы предупредить того о возможных беспорядках.*

*Остаток дня до позднего вечера он отвечал, как удод, на вопросы этой пёстрой стаи, но уже в присутствии трёх десятков конных казаков, спавших на гарцующих под беспощадным солнцем ахал-текинцах, а ночью просыпался на каждый шорох и каждое песочное дуновение ветра, ожидая резни, столь же неотвратимой, как дневная отрезанно-кровавая голова в здешнем небе; но ночь прошла без происшествий, и лишь к рассвету казачий отряд был поднят по тревоге, поскольку все строители-туземцы, оказалось, сбежали ночью в пустыню, воткнув на окраине лагеря две рельсы в песок и обвязав их тремя шпалами, как ступенями в небо...*

*Дюжинами отряд был пущен в погоню по всем восьми сторонам, и лишь четверть дюжин вернулось к полудню с тремя десятками избитых вусмерть туземцев. Остальных казаков перерезали в песках безжалостные йомуты и через пару ночей, бог весть как, подбросили в лагерь их закопчённые в песке и на солнце головы. Тогда было решено поступить точно также с тридцатью захваченными беглецами, и тридцать голов было бы выставлено, как обычно на базарной площади Мерва, когда бы не он.*

*Карты Таврота сказали ему, что тридцать этих беглецов, тридцать этих приговорённых и станут прокладывать ту дорогу, что им предписала их смерть, что к ним, к этим тридцати станут прибиваться их братья, их отцы, их сыновья, а приговор... Головы в Мерве не перестают быть головами в Байрам-Али. Лишь бы держава крепла и расширялась.*

*Последнее и убедило голову карательного отряда, но дабы хоть чем-то насолить этим чучмекам, которые, не дай бог, решат, что строят лестницу для побега, распорядился класть до*

Байрам-Али лишь одну рельсу, поскольку знал, что точно так же поступил его сородич в Чарджоу.

Три месяца под безумным солнцем эти тридцать смертников рыли песок, чтобы добраться до прочного слоя земли, чтобы уже на него сыпать белую, как сыплющуюся лучами с неба, гальку, возводя полтораметровую насыпь над песками. Дюны за ночь падали в незаполненную траншею, и песок мешался с уже насыпанной галькой, всё более упрочняя основание будущего пути. Пустыня свирепствовала в сговоре с солнцем и ветром, и вот когда насыпи было выложено достаточно, чтобы класть поверх её шпалы, а потом и вколачивать рельсу, когда первая рельса была рукоположена охранно-карадельным отрядом урусов, когда под свирепым солнцем туземцы проложили первый поворот, ночью из своего кочевого шатра, где он вдруг вспомнил своего несуществующего отца, следом послышался некий шорох, некое копошение.

"Опять расчищать траншею от дюны" - с горечью подумал он, и на рассвете, проснувшись раньше всех, вышел из юрты. О Боже! - Там, где обрывалась последняя положенная наземь рельса, в небо торчала всё та же лестница из поворотных рельсовых обломов, накрепко перехваченных тремя шпалами, и старик, мёртвый старик-йомут был наброшен на самую верхнюю из них, упираясь ногами в первую. Натягивая на ходу китель, он с ужасом подошёл к нему... Густая кровь из перерезанного горла сочилась и капала по бороде и на шпалу, со шпалы в песок. А там, где железная дорога забирала неизбежной лестницей вверх, в яме, в траншее под ней он увидел, как, закопавшись в-полтела в кровавый песок, торчал судорожными ногами и рукой с ножом, измазанным запёкшейся кровью зеленоглазый юноша – отправивший, как видно, отца в небо...

Но разве поймёшь этих смутных йомудов или теке - как будто пол-короляросло на пол-вальта в игральных картах - ничего ясного, так он объяснял старшему карателей, когда тот распорядился закопать отца и сына в траншею, а три последних звена пути разобрать и пустить стороной - подальше от этой лестницы, так и оставшейся торчать в пустыне над этими двумя безумцами.

Но нет худа без добра. На смерть этих двух пришла из пустыни дюжина их родственников, как будто бы ветер или песок, а то слепое и почерневшее от ежедневности солнце донесло им весть о смерти. Им дали оплакать могилы, а потом приговорили их всех строить дорогу дальше, включая и трёх женщин за чадрами, которые теперь варили скудную пищу тем, кто глубже и безвозвратней удалялся в пустыню.

На одноколёсных тачках, используя уже проложенную рельсу, треть невольников подвозила гальку и рельсы, тем временем, как другие две трети рыли в обжигающем песке траншею, припадая к отвесной - с ладошку тени.

И вот в один из дней, когда на своём ахал-текинском жеребце, подаренном ему вместе с наганом за новичков, он проскакал вдоль проложенного участка, обгоняя медленных, как солнце в небе, тачечников, когда он привёз тушу барана с мешком российской картошки для недельного питания, после разгрузки провизии в интендантскую юрту, его потного локтя коснулась чья-то жаркая рука. Он обожжённо, как ужаленный песчаной эфой, вздрогнул и обернулся. Перед ним, приоткрыв чадру и что-то жарко шепча из-под неё, стояла семнадцатилетняя красавица - видать одна из подневольных стряпух.

- Неме ислейсен?<sup>105</sup> - спросил он.

Она опять что-то прошептала, но то ли из-за собственной разгорячённости, набившей ему поту в ухо, то ли из-за разгорячённости и свяленности выкопченного воздуха, он ничего не расслышал, разве что различил самый конец зазывного знака её руки, пропадающей в складках её цветастой и длиннополой накидки. Она обернулась и зашла за интендантскую палатку. Каждую

<sup>105</sup> - Что ты хочешь?

секунду их могли заметить востровзглядые казаки, но сила или любопытство больше осторожности и страха повела его вслед за ней.

- Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин!<sup>106</sup> - повторяла она в какой-то решительной горячности. Он не сразу понял смысл этих слов, но их воспалённость всё более и более возбуждала и будоражила его юношескую кровь. Он взял её за руку. Она не сопротивлялась.

- Неме ислейсин? - переспросил он. Но спросил на этот раз как в плату за свой риск - держать её за руку на расстоянии окрика от орды её соплеменников и своры своих охранников. Она поняла его жест и показала рукой далеко назад, откуда он только что прискакал.

- Бугун гирк гун олди. Сенема мусулмансин. Тунде барамиз ора...бурдан!<sup>107</sup> - она пролетела как-то заученно и тут же скрылась за интендантской палаткой под навесом походной кухни.

До самого вечера он горел вместе с солнцем, повторяя, истолковывая каждое её слово, каждый жест, пугаясь вместе с тем того, что предвкушал, и снова предвкушал то, чего так боялся. Закат висел назойливо, как отрубленная голова, никак не закапывающаяся в землю, но вот и первая белая звезда выступила на зелёном небе, белая, как её запястье из зелёного рукава. Чуть позже он напоил жеребца остатками воды и пошёл одиноко к остывающей рельсе сегодняшней прокладки, дожидаться ночи.

Он сидел на этой колченогой дороге, к которой теперь, как костыль, было решено приставить, но не вколачивать в шпалы - вторую рельсу, дабы использовать в подвозке и прокладке тягловую дрезину, что по-бурлачи должны были тянуть невольники-новички, но мысли его недолго задерживались на этом, опять и опять спадая к этой семнадцатилетней, пустившей побегу по его молодой крови, и ни с того, ни с сего он стал мучиться от её вспоминаемых слов:

- Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин! - подозревая в них казацкое насилие над девичьей чистотой, а может быть это был её знак действовать решительно и сильно; но как бы то ни было, губы её, шептавшие эти слова, заслонили собою всё перед глазами... и вдруг он осёкся, заметив, что засыпает на оборванной рельсе.

Пришла, наконец, и ночь. Дохнуло вымученной прохладой, встала полуниная луна и осветила бледно пересчитывающиеся дюны. Змеи выползли из нор и зашуришали затёкшимися вольными телами. Заухала одиноко пустынная сова. Он подошёл к интендантской палатке и всё более возбуждаясь, стал ждать. Ему казалось, что всё - какой-то солнечный бред, марево его сознания, что она не придёт, если не пришла до сих пор, что это быть может проделки старшого, который выглядывает сейчас его позор из своей белой палатки. Он передумал сотню таких мыслей и за ними не заметил, как она подкралась сзади и опять тронула его за хладеющий локоть. Он, как ужасенный, обернулся и схватил её предательски за руки.

Она сказала:

- Орда!<sup>108</sup> - и он, поняв, что всё случится там, поспешил вывести её за пределы лагеря к зарослям янтака, где, выискивая редкую былинку, томился его жеребец. Они вскочили на неостывшего, она обхватила его за пояс, и её упругие груди коснулись его вздувшихся лопаток. Глаза его смотрели вперёд, но сердце прибилося к спине. Луна вскачь попевала за ними, распуская по ветру светлые космы звёзд. И вот когда она встала в небе, зависая над нелепой рельсо-шпаловой лестницей, как бы в намерении вот-вот спуститься на холм песка над бывшей траншеей, Барчиной медленно соскользнула с крупа и пошла, не скрывая своего лунного лица, к могиле. Он прыгнул следом. Жеребец заржал и осаженный, попросился на волю. Он отпустил

<sup>106</sup> - Если силой не возьмут, то сама я не дамся!

<sup>107</sup> - Сегодня сорок дней. И ты ведь мусульманин. Ночью поедем туда... отсюда!

<sup>108</sup> - Там!

его, и сам поспешил неверными шагами вслед за девушкой. Платок, что не был сдут ветром их лихой скачки, казалось, сдула луна - она сбросила его с себя вместе с накидкой и вдруг одним движением рук распустила свои змеино-блещущие волосы. Он плёлся за ней, не зная следующей минуты и уповая только на таинственную ночь. Внезапно у самой лестницы она распластала руки, блеснувшие на луне, и припала к холму. Он бросился к ней лежащей, он уже почти накрыл её собой, когда как гром среди звёздного неба, услышал её глухие рыдания. Она плакала, повторяя своё непонятное:

- Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин!

Он осёкся, как жеребец от узды, но лишь на мгновение. В следующий миг он уже целовал её в волосы, путающиеся в слезах и песке, в спину, вздрагивающую от всхлипов, в руки, безвольно распятые у основания двух железных рельс, торчащих к бесстыжней луне. Тело его - необъезженного жеребца, жаждало утонуть в этой пустынной ночи. Он целовал её долго, до истомления, пока внезапно не почувял всем телом того, что она занята совсем другим. Казалось, она и вовсе не видит, не чувствует, не ощущает, не помнит, не несёт его; и впрямь в каком-то оцепенелом забытии она билась над этой песчаной могилой, как будто желая то ли развеять песок над ней в звёздное небо, то ли обрушить звёздное небо песком поверх своего горя.

Он отстранился от неё, продолжая лежать боком на этой могиле. Наган сквозь кобуру вдавился ему в бок, и он отрезвлённо, враз почувствовал свою излишность и никчёмность рядом с её смертельно-горькой любовью. Он сел нелепо на корточки и после долгого возвращения в себя, ему вдруг стало жалко эту божью девчушку, и, склонившись над ней, он стал гладить её головку - жаркое темечко, путаные волосы.

Мало-помалу она оживала, а потом внезапно обернулась из бурого песка своим заплаканным и перечёркнутым волосами лицом, чтобы медленно положить свою голову ему на подогнутое колено. Он опять осторожно поцеловал её в темечко, а потом, прибрав тяжёлые волосы, в шею. Она не сопротивлялась. И стыдно, и неловко, и возделенно было ему, но желание его пересилило и её отрешённость, и его отчуждение. Он опять припал к ней, но наган опять мешал, и он тогда снял с себя португую с ремнём и кобурой и бросил её к основанию той нелепой лестницы, и вот когда уже казалось, ничто не остановит его юношеского ночного напора, девушка медленно устала в него сверкающий ствол нагана. Он вскочил от неожиданности - вместо того чтобы выхватить или выбить его из её рук, он был нелеп - среди пустыни в спадающих портках, и пока он сообразил свой позор, Барчиной выстрелила себе в сердце. Птицы, севшие на короткую ночь в обрубки саксаула и тамариска, шумно захлопали сонными крыльями, подкраиваясь, чуя их любовь, эфа отпрянула, шуриша в ночь, и по её следу побежала стружкой кровь - в несколько толчков, и, скатившись по груди в песок, осеклась.

...К утру он закопал её в ту же траншею, под ту же вспарывающую небо лестницу и, взяв жеребца под уздцы, вернулся железной дорогой в лагерь.

В тот же день он был взят под арест, и старшим казачьего отряда было открыто самоличное дознание по происшедшему. В арестантском вагоне, откуда были изгнаны на работу туземцы-йомуты, но оставался их тяжкий и густой дух, поручик Лемех допрашивал его шаг за шагом о происшедшем. Непонятно почему и зачем он отвечал, хотя то, что он отвечал, было столь далеко от происшедшего в действительности, но разве Лемех, которому по существу было интересно лишь одно: трахнул он её хотя бы мёртвую или не трахнул - мог что-либо понять в его запутавшемся и прояснённом разом нутре?! Не добившись ответа на свой скорый вопрос, Лемех потерял интерес к этому делу и перепоручил дознание подпоручику, имени которого он и не знал. Этот был из войсковых интеллигентов, расспрашивая о мотивах, двигавших ею и им, но поскольку не было понятно, чего подпоручик добивается, то к полудню и

этот безымянный за каким-то благонадёжным предлогом уступил его очередному казаку. Тот просто-напросто избил юношу "за попорченную честь державы и невоздержанный х..й". С этим было больно, но просто. Однако, увы, ничего в его нутре не шевельнулось, не изменилось. После полудня его обдали только что доставленной водой, но только окровавленное лицо, и тут он достался интенданту, которому помогал в подвозе провизии. Тот поскокрушался лишь о том, что паря не поделился с ним, уж вдвоём они бы оттрахали её и в хвост и в гриву.

Потом было ещё несколько казаков по убывающей, но он запомнил лишь одноглазого сыноубийцу Бульбу из запорожцев, который, вдруг обнажив свой член, полез на юношу, чтобы покончить с ним всё тем же способом, и впрямь, когда Бульба навис над ним, он, трепещущий, был готов на всё, но более всего на самоубийство от возможного позора, но, наконец, вырвавшись из-под десятипудового казака, он зашипел, сам не зная почему:

- Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин!

И тут же следом, схватив ведро, из которого его поливали, врезал со всего маху по единственному глазу казака, но ведро скорёжилось о лоб, а вставший Бульба треснул ему в сердцах так, что тот упал замертво, и тогда, сплюнув на него и подвязав свои шаровары, Бульба вышел из арестантского вагона, готовый чуть позже сменить в нём мёртвого парубка.

Но он не умер. Смутным и тусклым сознанием он всё равно видел тот же самый нескончаемый свет, что застрял между вчерашней ночью и всем происходящим ей вслед, как зазор, как разрыв, как непреодолимую обыкновением пропасть.

- Эгер гуйч билен... эгер гуйч билен...- шептал он, как будто заражённый сегодняшней ночью чужой любовью как заразой, болезнью, чумой, мором...

К ночи его перевели из арестантского вагона в интендантскую палатку, поскольку вернулись туземцы. А чтобы он не сбежал, на всякий случай измордовали ещё раз. И это было во благо, поскольку пусть на немного, но заглушало нытье его ненужного и брошенного на этом свете сердца. Но к полуночи ему стало нестерпимо тоскливо, и он ушёл, как тень, неся по пустыне своё окровавленное тело.

Его сообщника - жеребца казаки не додумались избить, и тот, чуя предстоящую ночную волю, уже развратившую его кровь, подставил спину, чтобы обессиленный юноша взобрался и указал направление на вчерашнюю могилу.

Там его и выловили, зарытого наполовину в песок, началом следующего дня, и для острастки, привязали казачьими плетями к той самой нелепой лестнице на целый пустынно-выжженный день. Губы его растрескались, на глазах проступила сухая соль, но даже солнце не сумело выжечь его тоски. К закату пробеглая лиса обнюхала его и облизала кровь на ногах, да рыжий обожжённый гриф покружил-покружил и улетел зазывать своих домочадцев на ночное пиришество.

"Им хоть кровь мою лизать да пить, а что лизать и пить мне? - думал с какой-то спутанной ревностью он и опять забывался. Солнце ли то было или и впрямь - рыжая лиса, а то - солнце превратилось в рыжую лису и сбежало за край пустыни...

От щемящих мыслей он попросил у Бога скорой смерти, но Бог отверг его как неверующего, оставив его и вовсе одиноким в пустыне, на которую наступала воронья ночь. Тогда он стал из последних сил звать себе на помощь Сатану, но к полночи, когда чей-то приход так и завис в неостывшем воздухе, вдруг скрипнула верхняя шпала, и спустился не сатана, но бурокрылый, как ворона в ночи, Азраил, хлопавший до ослепления своими крыльями. И только лишь он впился без расспросов в сердце и в печень, дабы высосать его душу, как свистнула луннопёрая стрела и вонзилась в шпалу меж головой и плечом распятого. А Азраил, вдруг превратившись в ночного грифа, ранено захлопал крыльями в небе, увлекая за собой своих приспешников...

*Старик читал над ним:*

*"И ещё в этой долине имя отвяжется от владельца, как если бы буквы покинули книги, и дорога потеряла направление. И что ты вне имени, книг и дороги? - спросил ослеплённый. - Скажи, если можешь!*

*Время в этой долине избавится от следов, песок не составляет пустыни, звёзды не обозначают темноты. Но что ты вне дня и счёта и света? Скажи, если хочешь!*

*Там ты лишишься вопросов, там ты лишишься лишений, там и не там ты - не ты... И что же осталось? Скажи, если скажешь..."*

...

Здесь первый десяток страниц из заметок Гумера прерывается. Нет следующего десятка страниц, а потом рукопись возобновляется. Но пока вы читали её, мне показалось, что вы должны знать и это. Начну, пожалуй, с самого конца

В день страшного землетрясения, когда проезжавший мимо Гиласа товарняк выбросило с рельс, когда от удара о пристанционный столб взорвало пять бензиновых цистерн, когда от адского взрыва обрушило водонапорную башню, и неудержимый поток воды вместе с пылающим бензином снёс белоглинянную кибитку Гумера, в которой он жил один, пока жена участвовала в каком-то процессе крымских татар, семь дней по затопленному Гиласу плавали стопки горящих или полуобгоревших, а изредка и чистоисписанных листков. После потопа старушки высушивали их на безобидном солнышке, и, скомкав, поджигали на них дрова в очаге, Кули-бобо, торговавший семечками и куртом в отсутствие Занги-бобо, перемежал их в кульках с листьями из "Физики" Пёрышкина за 5 класс, а Мефодий-юрпак крутил из них самосады.

Впрочем, именно он по своей образованности и причастности к праву, открыл то, что на этих листках было написано тонкорунным почерком Нахшон под диктовку слепого Гумера. А обнаружил он однажды в присутствии Кун-охуна, когда в самосад были замешаны несколько катышков потной анаши, обменной грузчиком на мешок ворованного угля, у Долима-даллола, а было обнаружено, что дым из самосада сплетается в буквы: одна за одной, и в зависших колечках можно прочесть: "Иосиф и его брать..." Перепуганный насмерть Мефодий устался на Кун-охуна, тот по необразованности и классовой аморфности глотал клочки букв из воздуха и ничего не понимал. Тогда Мефодий по стародавней криминалистической выучке от следствия перебрался к причине и с ужасом своей правоты обнаружил на листе раскрученного самосада обслонявленный при затушке конец буквы: "я". То было название, а под ним шёл убористый текст, рассказывавший о том, как побочный сын великого русского путешественника от местной прачки был послан Туркестанским географическим обществом на учёбу в Петербург и что там с ним произошло...

Подозревая галлюцинацию от анаши под названием "Смерть" - ведь, к примеру, Кун-охун уже мнил себя коммунистом и пел "Интернационал" без слов и мелодии - Мефодий ринулся к своему портфелю, где на манновском романе и газете "Правда" за 5 марта 1953 года лежала стопка высушенных гумеровских листов для самокруток. Он стал читать наобум: о том, как Эльза пела в руанской опере, о смерти Умарали-судхора, о некоем старике Обиде-кори, и ... вдруг о сумасшедшем будущем Кара-Мусаева-младшего, сегодняшнего старшего участкового милиции Гиласа, пытающегося сослать Мефодия по 108 статье, поскольку тогда уже никто не будет знать закона...

Много странного нашёл Мефодий в тот день в этой стопке, да вот дойдя до газеты "Правда" за 5 марта 1953 года, привычно сошёл на свой сценарий, который как всегда кончился пристанционным мочеиспусканием Кун-охуна на лысую голову незадачливого юриста, но в



отсутствие глухого Тимурхана, которого к тому времени уже задавил поезд. А вот листы вот потерялись.

Мефодий пенял потом на Кун-охуна, бегавшего в промежутке между безъязыким глотанием дыма и мочепусканием - "по-большому",- но Кун-охун ничего не помнил, кроме того, что он грузчик и беспартийный. Тогда Мефодий стал просто вещать по узким компаниям о том, что ожидает Кара-Мусаева-младшего и базаркома Оппок-ойим, разумеется, за бутылку Портвейна-53, и вот когда всё случилось, как предсказал Мефодий-юрпак, когда Мусаев стал постигать лозунги, а Оппок-ойим переименовывать паспортами весь Гилас, весь Гилас, а может быть только компании, где вещал Мефодий, стали подозревать, что всю историю с уйгурками-торговками индийского чая, купленного у узбеков-проводников и проданного казахам-козопасам - подстроила сама Оппок-ойим.

И тогда Оппок-ойим объявила розыск на все гумеровские листы, дабы обладать не только настоящим, но и будущим Гиласа, пронюхав о них, впрочем, бог весть от кого, может быть от Османа Бесфамильного, который тогда ещё состоял при фамилии, но не был приписан к КГБ. Словом, как бы то ни было, она давала по новой двадцатипятке за лист - пусть даже из уборной, но ей принесли лишь историю какого-то киргиза Майке, да некоего директора музыкальной школы, которой и слыхом не существовало тогда в Гиласе. Вот.

Тогда Оппок-ойим решила мудрее - она купила на корню Мефодия-юрфака со всеми его странностями - от чемоданчика и до Кун-охуна, мочащегося теперь уже не на станции, а за домом Оппок-ойим, в яблонево саду - на буйноразросшуюся от обилия фосфора и мочевины шевелюру своего законника, обеспечила ему полный прижизненный пансион - от водки до огурца, но взамен заставила его вспоминать и рассказывать всё прочитанное им в тот самый злополучно-дымный день.

За Мефодием записывал некий мальчик-сирота, которого за каллиграфический почерк и за смыслённость рекомендовала Оппок-ойим 11-ая школа с прохудившейся крышей. Оппок-ойим не только отремонтировала крышу, но и отправила директора школы Имомалиева по профсоюзной путёвке в "Артек", воспитывать тамошнюю шантрапу нашим манерам.

...Тем временем мальчишка записывал на пергаменте из бычьей шкуры, но вскоре после того, как Оппок-ойим заметила, что Толиб-мясник гонит ей вместо бычьей шкуры шкуру с корейских собак, плюнула тому в лицо и достала обыкновенной 800-граммовой финской бумаги формата А-4, да вот Мефодий, боясь окончания синекуры, стал изредка привирать, и вставлял свои нелепые истории, которые потом исследователи, завезённые Оппок-ойим через влиятельного Шаломая, уличили за подделку. Так история с железной дорогой самого Гумера оказалась целиком вымыслом, свои вопросы эксперты поставили и на истории сталинского призыва в партию - Кун-охуна, и ещё бог знает на чём, но не ко всему имел отношение лишь Мефодий.

Дело в том, что, узнав о двадцатипятке за каждый лист, весь Гилас принялся строчить истории, но когда Нахшон по фамилии то ли Доннер, то ли Штоннер, стала беспощадно разоблачать эти фальшивки, население стало действовать хитрее: дескать, вот и мы топили листьями Гумера свои очаги, да вот пострел-то наш, оказывается, прочёл несколько страничек, запомнил, подлец, никак из головы не выветрит! Вот послушайте-ка...

Поначалу мальчишка-сирота из 11-ой школы записывал всё подряд под передиктовку Мефодия, мучившего всех своими перекрёстными допросами, потом в комиссию по наследию включили и Нахшон, что к тому времени внезапно постарела от горя и потеряла память, жившую доселе лишь мужем. Но, впрочем, он не лишилась своей непримиримости, хотя, как знать, может быть её базедову болезнь все принимали за вьедливость, выпучившую ей глаза?

И тогда поток бумаг и рассказчиков к Оппок-ойим мало-помалу иссяк, но не иссякла народная молва. Ортик-киношник за бутылку водки с огурцом, взамен на кисть и гуашь, рассказывал

секретарше музыкальной школы историю Гопала и Сотима, Наби-однорук, пойманный Райником-итотаром<sup>109</sup> за своей профессией - расхищением социалистической собственности, вещал тому историю Гаранг-домуллы, прострелившего себе пипиську, отводя при этом от себя сторожевую двустволку немца. Гаранг-домулла, к тому времени уже мёртвый, снился Толибу-мяснику и пугал того его собственным внуком.

Словом, и пошло, и поехало. Помимо официальной комиссии, назначенной Оппок-ойим, объявились какие-то собиратели-самоучки, которые пару раз даже пытались торговать на кок-терекском базаре самописными книжками, но прослышавшая об этом Оппок-ойим сняла с погрузок и мочепускания Кун-охуна и назначила тому новое занятие - избивать самозванцев. После двух-трёх показных избиений, самописцы в Гиласе исчезли, но кто-то из проводников, приторговывавших чаем, рассказывал, что видел такие же списки где-то в степях среди казахов.

Впрочем, это нас уже не касается, как не касалось это и Оппок-ойим. А коснулось её вот что.

Когда Шаломайские эксперты уже отделили было зёрна от плевел, правда, не зная, что кому и чему принадлежит, Оппок-ойим на всякий случай быстро переплела все четыре списка - один в оленью, другой - в тюленью, третий в крокодилью, а четвёртый список, который якобы явно не принадлежал Гумеру, но мог быть в равной степени либо ранней подделкой Нахшон, поздним вымыслом Мефодия или же честно записанной народной легендой - переплела в дверной, обивочный дерматин и сложила на полгода отстоя, для проверки того, что случится и по какой книге - в свою самую дальнюю и глухую комнату, где хранила письмо от своего мужа Муллы-Ульмаса-куккуза, и, заперев комнату на ключ, вшила ключ в амулет, который носила на шее с дней свое комсомольской юности.

Пока проходят эти полгода, можно вернуться к нашим листам, начинающимся с обгорелой фразы столь же неожиданно, сколь неожиданно и обрываются.

*...соседству с ним. Эта Ногира года два назад осталась под первым пущенным поездом, потеряв в этом приключении часть рассудка и все пальцы правой кисти - кроме безымянного, на котором сидело стеклянное колечко. И вот он пристрастился водить эту двенадцатилетнюю дылду к себе. Летними выжженными днями, когда вся округа спала, а Ногира сидела у своей калитки, чертя единственным пальцем по пыли, он проходил мимо, как будто по воду и противным самому себе голосом говорил как бы невзначай:*

*- Ногира, манда хурозканд бор, йийсанми?*

*- Хэ, - отвечала она и готовно вставала с места.*

*- Уйга секин бориб тургин, бир йула котган нонам олип чикасан, хупми, ман хозир сув олип кайтаман...<sup>110</sup>*

*Её и не нужно было обманывать, это-то и было противно, что всякий раз назло себе он начинал с нехитрого, нелепого обмана, как будто ещё кто-то мог их подслушать...*

*Она неустребимым инстинктом чуяла, как надо незаметно шмыгнуть в его калитку и ждать, пока тысячу раз озираясь по сторонам, он не войдёт с глухой улицы к себе во дворик, как будет делать вид, что накрывает воду крышкой, ищет и готовит сухари для скота, а потом, вытянув их руке, несёт в сторону тандырхоны<sup>111</sup>, где, затаившись, как мышка, сидит эта дебилка.*

*Он заходил в тандырхону, закрывал за собой её кривую дверь и в полосках рассекающего,*

<sup>109</sup> собакострел

<sup>110</sup>

*- Ногира, у меня есть петушковый леденец, хочешь?*

*- Да.*

*- Тогда иди тихо ко мне, заодно принесёшь и хлеба для скотины, а я сейчас вернусь.*

<sup>111</sup> сарайчик, где стоит печь для выпечки хлеба

пыльного света, проходил к ней, укладывал её на хлопковую шелуху и, стянув с неё штаны, начинал тыкаться в её мясистую, ещё детскую и безволосую тупку своим огромным, красным...

- Буни оти нима? - шептал он, глотая слюни.

- Куток, - заученно отвечала она.

- Ман сани нима кивотман?

- Сиквотсиз...<sup>112</sup>

От этих слов он распялялся вовсе и нажимал чуть больней, чем следовало, отчего девочка начинала стонать, да так по-настоящему, как будто он и вправду ввёл в неё свой тычующийся в мякоть одноглазый циклоп. Тогда он опускал его ей между ног и уже не сдерживался. Она кряхтела от тяжести, и когда, колясь и блаженствуя от хлопковой шелухи сквозь её промежность, он выстреливал семенем вглубь, девочка расслаблялась вместе с ним и спрашивала лет на пять запоздало:

- Энди хуроз канд берасиз-а?

Он обтирался хлопковой шелухой и садился на лестницу, торчащую к дымоходу над тандыром. Она, стоя, надевала штаны и, увидев её раскрасневшуюся письку, он возбуждался опять. Тогда он подзывал её к себе и говорил:

- Хурозканд киссамда. Ол узинг!<sup>113</sup>

Она лезла левой рукой в один карман, натыкалась лишь на толстую и раздувшуюся пустоту, потом своей покалеченной рукой тыкалась в другой и выковыривала единственным пальцем прилипший к потному карману леденец, упёршись остальной культией в его и вовсе безпальцевый обрубок.

Тогда он просто вытаскивал разболевшийся от напряжения свой стыд и она, сося свой заработанный петушок, бесстыдно, но в благодарность водила единственным безымянным пальцем по нему, чертя всё те же непонятные письмена, которые завтра, как всегда, будет чертить в полдень по выжженной пыли ау...

...Потом следует ещё один обожжённый кусок, в котором невозможно разобраться, а дальше несколько целых и связанных страниц, но явно не нахшоновского почерка.

...не хотел вспоминать своего позорного бегства. Когда он вышел опять на железную дорогу, где отрядом казаков по окончании работ были расстреляны тридцать туркмен из теке и йомутов, где на протяжении года не могли пустить поезд, поскольку всякий раз, когда ехала проверочная дрезина, она натыкалась на разобранный путь, из которого всякий раз выстраивалась лестница в небо над этими тридцатью сгребёнными в единственную яму, тогда опять рота железнодорожных солдат соединяла путь, а через день поутру всё было как прежде, пока в голову железнодорожному начальству не пришло оставить в покое этот участок пути, уходящий с двух концов в небо, и не построить отводной участок, проходящий в десяти верстах от злосчастного места то ли расправы, то ли мести, так вот, когда он вышел на эту самую железную дорогу, криво и круто заворачивающую на своём обрыве в небо, он вдруг узнал в четырёх окружающих пустыню холмах четыре ориентира своего детства, свои четыре стороны света, которые возил с собой все эти годы, подчиняя восход и движение солнца повсюду этой линии от "двугорбого" холма через полдень над "лысым" и закат над "могильным" холмом.

---

112

- Ты знаешь, как это называют?

- Х..й.

- А что я с тобой делаю?

- Е..те.

113 - Петушок у меня в кармане. Возьми его сама!

*Да, здесь лежал его овул, погребённый теперь под песками и перееханный поверху этой нелепой и бессмысленной железной дорогой в небо, здесь он пас свою козу, кормившую его и Гульсум-халфу, между двух этих холмов - "песчаного" и "могильного" он сбежал с этой козой от джигитов головореза Аспандияра.*

*Разматывая засохшую от пота и крови тряпку со своей простреленной голени, он сидел на нижней шпале лестницы и вспоминал, как вернулся сюда на поиски отца, а оказался, оказался... Пришлый паук ткал свою вечную нить над головой, да тридцать загубленных им джигитов, чьих-то женихов, чьих-то несбывшихся мужей и отцов лежало под ним и солнце оставляло между ними этот свет.*

Так писал Гумер на туркестанском закате в холодном зимнем вагончике для офицеров, запершись от всего торжествующего пьянкой света в своём купе...

## Глава 35

И опять я не знаю, правду ли я рассказал о той ночи? Нет, нет, не в том смысле, что касается всего происшедшего - всё было так, как записано на тех самых листах, нет, я о том - кто это всё подстроил. Легче всего валить на Учмах, кто-то говорил, что Оппок-ойим в старческой тоске по своему мужу-скитальцу прибегла к крайнему средству, кто-то пенял на поросшую бородавками Нахшон, кто-то припомнил Мусаева и ещё бог весть кого. Мефодий, начитавшийся манновских книг и лишившись теперь пансиона, так что Кун-охун по-обычному, я бы сказал заурядно мочился на него на станции, как мог бы мочиться, к примеру, на столб, и вовсе сочинял бредни о триединстве Гумера, Шапика и ещё кого-то третьего, но умные люди быстро раскусили в этом его исконную привычку скидываться "на троих", которая со смертью Тимурхана трансформировалась в испитых мозгах юриста в некие высокие идеологии. Но никто, никто в Гиласе не вспомнил о старшем сыне фронтовика Фатхуллы - ума, совести и чести махалли - об отставном инженере и нынешнем учителе черчения - Ризо-штангенциркуле.

Ризо родился ещё в войну, когда контуженный и ослепший на один глаз Фатхулла был досрочно до Победы демобилизован, дабы мобилизовывать на фронтовой ударный труд женщин Гиласа. За этой мобилизацией и родился от мелкоглазой красавицы Зеби, ударницы артели Папанина - трёхглазый Ризо, ставший впоследствии Штангенциркулем. А трёхглазый потому, что над переносицей у него была ямочка с миндаль, которая и казалась чудным третьим глазом.

Семнадцатилетним юношей отдал его Фатхулла, пользуясь своим фронтовым правом, в институт железной дороги, дабы вернулся Ризо в родной Гилас инженером кагановичских дорог, да вот в институте тот увлёкся совершенно иными проблемами. Нет, нет, далеко не теми, о которых вы подумали, нет, он не пил, не курил, не гулял, но вместо теории прокладки железных дорог по лёссовым почвам и песчанику, он увлёкся, бог знает почему, теорией тени.

Он не только перечитал и законспектировал всё, что имелось во всех библиотеках по этому вопросу, но и просиживал воскресными днями на солнце, изучая малейшее изменение своей собственной тени то на крыше, то у озера, то в общежитии, то на стадионе. Студенческая братия всего города, так или иначе соприкасавшаяся курсовыми или дипломами с этой проблемой, шла через немислимые посредничества к нему, и он в охотку писал то вечернику-полиграфисту сочинение на тему: "Тень в петербургских романах Достоевского" или же филологу-заочнице курсовую: "Тень Гоголя на Булгакове". Правда, большей частью из его доброхотства проистекали одни неприятности: работу полиграфиста награждали дипломом, который тот не хотел получать, а курсовая филологички-заочницы - технической секретарши какого-то Парткома тянула и вовсе на кандидатскую диссертацию, и преподаватели трёх кафедр начинали охотиться за бедной техсекретаршей, пытаясь сосватать её к себе и тем самым оторвать её от регулярных парткомовских праздничных пайков.

Но Ризо не тщеславился. Он шёл дальше. Когда окончив довольно посредственно свой институт, он вернулся в Гилас, Фатхулла-фронтовик сумел устроить его по своей фронтовой квоте всего-навсего помощником дорожных дел мастера Белкова. Но к тому времени Ризо уже научился уничтожать собственную тень. Летними днями уже на закате, в то время как старик Аляпсину волочил за собой нарощую, как его возраст, тень, Ризо то ли системой отражающих зеркал, то ли свойствами предметов, то ли способностью своего тела, испускающего невидимый свет третьего глаза, проходил следом за Аляпсину по тем же проулкам, как будто бы шёл в полдень 22 июня - с пятячками тени лишь под подошвами.

А однажды на спор с корейцем Илюшей, которому осёл Ризо в детстве откусил пол-уха, за что того прозвали «Полтора», Ризо лишил тени и самого старика Аляпсину, после чего обезумевший старик и вовсе перестал выходить на улицу, затосковал и умер.

Тогда-то и уволил его дорожных дел мастер Белков из-под своего начала. Тогда-то и устроился Ризо учителем черчения в школу, перестав напрочь интересоваться земными тенями.

Некоторое время спустя его стали замечать по ночам с подзорной трубой на крыше и всё тот же школьный его товарищ - Илюша по кличке "Полтора" оповестил Гилас по пьянке, что Ризо взялся за звёзды, а особенно за лунные и солнечные затмения. Он же запугивал по пьянке сельпошника Зухуруддина, который отказывался продавать водку в розлив, что скоро Ризо наслёт на Гилас ужасное затмение...

Всполошённый Зухуруддин пошёл тогда в махаллинский комитет к Фатхулле и поделился страшной сплетней. Фатхулла - родной отец Ризо, успокоил встревоженного Зухура, как будто его воля распространялась не только на своего сына, но и на затмения, подчиняемые или учиняемые Ризо-Штангенциркулем. И всё же на всякий случай поздним вечером того же дня, вернувшись из чайханы, Фатхулла отозвал в сторону старшего сына и затеял разговор издалека:

- Вот и мы уже с матерью старимся, сын мой, старики Гиласа стали потихоньку вымирать. Вон Гумер, вон Умарали-судхур, вон Аляапсину...

- Но я им ничего не сделал... - вдруг разволновался Ризо.

- Да нет, я не о том... вот ты будто бы затеял устроить затмение... Не надо беспокоить людей. Тем более что Зухуруддину выгрузили российскую картошку, вот посмотри, он обещал оставить мешок.

- Папа, да что вы говорите, побойтесь Аллаха, разве в людских силах такое?! Волосок не упадёт без повеления...

- Вот и я говорю, не делай плохих дел. Если делаешь что-то, то делай хорошо!

И отец стал рассказывать, как на войне они с хохлом Петро таскали немецких "языков". Ризо выслушал этот рассказ, держа в руках картошку, которую через отца передал Зухуруддин и лишь после этого, дабы придержаться хоть в чём-то научности, он вдруг стал показывать отцу каким образом случаются затмения, когда лампочку принять за солнце, лицо отца за землю, а эту картошку за луну. Он повёл этой луной, и в то мгновение, когда тень картошки упала и покрыла единственный глаз Фатхуллы, вдруг начались какие-то крики в махалле, откуда-то со стороны двора Оппок-ойим, чьи ворота выходили на другую улицу. Тени запрыгали и, закрутившись, полезли в дом, чтобы поползти по стене. Фатхулла по привычке схватился за солдатский ремень, на котором болтался кривой чувский нож и бросился на улицу, Ризо метнулся за ним, и сквозь пыльный виноградник они оба увидели, как сгорает на глазах луна, подобно вот-вот запылающему обрывку бумаги...

- Говорил я тебе, не делай этого! - крикнул Фатхулла и залепил оплеуху сыну. Сын молчал с картошкой в руках...

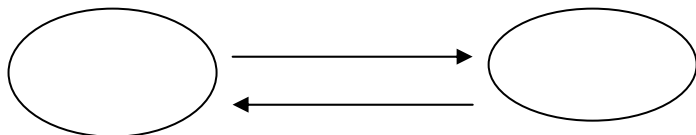
Гилас высыпал на улицу. Бедный Фатхулла не знал, куда девать от стыда свой единственный глаз.

На следующий день после обнаружения спозаранку всего происшедшего за ночь в тугаях, ум, совесть и честь махалли одноглазый фронтовик Фатхулла прогнал из дому, предварительно прокляв добела, своего сына Ризо.

И вот шёл Ризо по железной дороге в сторону мойки, сам не зная куда, и разбирался со своими мыслями. Мысль всегда строится согласно дороге - самые неразрешимые свои противоречия научился разрешать Ризо между двумя линиями рельс в свою бытность помощником дорожных дел мастера Белкова. Вот и сейчас он думал так:

"Я ступаю шаг за шагом, со шпалы на шпалу. Вот моя нога поднимается и опускается на позаследующую шпалу. Она теперь упрочилась здесь. Вот пошла другая - тем же самым движением. А что же остаётся на позапрошлой шпале? Стоп! Повторим ещё раз. Вот - моя нога

ещё на позапрошлой шпале. На позаследующей - ещё пустота. И вот моя нога пошла и заполнила эту пустоту, обулась в это пустое пространство. Но поскольку мгновением раньше она занимала ту же форму пространства на позапрошлой шпале, то не переместилась ли эта пустая форма с позаследующей шпалы на позапрошлую? То есть я двигаюсь вперёд, а моя пустая тень - ровно противоположно. И если соединить моё движение от шлагбаума и до мойки, то не двигалась ли эта занимаемая мною теперь пустота от мойки и до шлагбаума? Начертим условный чертёж... - и Ризо по прозвищу Штангенциркуль наклонился над шпалой, чтобы острым камушком железнодорожной насыпи начертить по шпальному креозоту:



АВ

Вот присутствие, существование этого зачерченного круга А, который будет перемещён по стрелке вправо до своего нынешнего отсутствия, очерченного контурным кругом В. Когда он достигнет этого круга В, его отсутствие, вытесненное его присутствием, переместится на место А, т.е. А и В поменяются местами, но при всём при этом их формы, поскольку ничто в природе не уничтожается и не создаётся, будут одинаковыми, то есть...- но не успел Ризо додумать своей ясной мысли, как из её небытия, свища своим свистком, маша своими разноцветными флажками, и еще при этом умудряясь материть его на чём свет стоит, навстречу к нему бежал впереди катящегося акмолинского маневрового состава Таджи-Мурад-тажанг. Мысль Ризо метнулась к нему навстречу и вместо своей пустой и чистой оболочки наткнулась на отборный мат Таджи:

- Кутокка тункайиб утирибсанми! Кузингни корачигига ский, пойиз амийни чикарворадию! Ха Иштонгинсирка буган отийни памилиясига обиманим!<sup>114</sup>

Ошарашенный от несоответствия чистой мыслительной трансценденции своему внезапному наполнению, Ризо лишь успел разогнуть затёкшую спину, как налетевший вслед мату, свисту и машбе Таджи врезался в него как вагон в вагон и выбил его прямо из-под колёс накатывавшегося вслед за ним спущенного с горки вагона...

Так и лежали они, вальтом, отдышаваясь - один от испуга, другой от запутавшихся внезапно мыслей, как, воспользовавшись прикрытием вагона, железную дорогу стал перебегать поперёк Наби-однорук с мешком ворованных хлопковых семян и, перепрыгнув через рельсу, споткнулся о многомысленный 44 размера башмак Ризо, чтобы грохнуться с разлёту, да так, что пол-полотна засеяло похищенными семенами.

- Аха, е..ётесь! - вскочил первым Наби-однорук, выхватывая по привычке инициативу. Его указательный палец привычно вбуравился в небо, но распространиться ему на этот раз не удалось, - сторож шерстемойки Казакбай-окумет, которому, впрочем, и таскал теперь скотопитательные семена Наби, перепугавшись огласки, бабахнул из табельной двустволки и снёс по основанию богопризывный палец однорука. Тот в воплем замертво кинулся прочь с полотна, а вскакивавший для свещения, сверещения Таджи-Мурад врезал своим тяжёлым железнодорожным башмаком по лбу бедного Ризо, и тот в ослепительном свете этого удара увидел две рельсы, метнувшиеся навстречу друг другу от горизонта и до горизонта, и вдруг, внезапно заметил намертво прихватившие их шпалы, и всё разом поняв в этой жизни, потерял сознание в глубоком нокауте.

<sup>114</sup> Какого х..я сидишь раком? Е..ть тебя в зрачок, ведь поезд выш..ит тебя! Ё.. я твою имя-фамилию Штангенциркуль!

## Глава 36

Тем летом Китов полетел в Космос и когда об этом сообщили по базарному громкоговорителю, его тетушки во дворе под густым виноградником наглаживали рубашки и штанишки ко дню обрезания. Мальчик стоял рядом с ними и единственный из всех услышал голос всех радиостанций Советского Союза. Это он первым назвал фамилию космонавта: Китов, хотя тут же базарный громкоговоритель был перебит хрипом станционного репродуктора, по которому Темир-йул прохрипел своё извечное: “Вунимание, вунимание, гираждыни псажири, абъявлен выхид пиригиридним поездым Сыр-Дарьински - Дарбаза - Чингильды. Поиз пиринимайс на тиретий пут, истаянк адна мнут!”

Мальчик запрывал от неведомой радости, может быть потому, что уже понимал, что значит полететь в космос, не то, что в первый раз, когда его тётушка Нафиса принесла - швыряя портфель в небо - весть: “Ляганов полетел в космос, Ляганов в космосе!” Тогда мальчик перепугался, что кто-то взял и полетел в небо, без крыльев, без приспособлений, просто обидевшись или повздорив с людьми, или напротив, назло им всем, полетел как портфель Нафиски, а из него посыпались тетрадки, учебники, ручки...

Нет, теперь мальчик сам услышал первым эту новость: “Китов полетел в космос, Китов в космосе!” - да вот швырнуть в небо было нечем - шли каникулы и назавтра готовилось его обрезание, а потому двор был прибран и полит водой.

Он радовался так, как будто уже ввели во двор жеребца, которого ему обещали ещё месяц назад, ведь уже завтра ему предстояло сесть на него и кружить вокруг огня до опьянения, чтобы потом не было больно. Он скакал по пятнышкам солнца, падающим на политую тенистую землю сквозь густой и пыльный виноградный навес, как скакал бы на его месте жеребёнок, понимай он, что значит улететь в космос. Китов улетел в космос! Китов - в космосе!

Никто его не осаживал, ни тётушки, ни вышедшая из тёмного дома бабушка, он чувствовал свою именинность, а потому скакал, пока не устал, пока не вошёл в калитку дед, а вернее “дедчим”, поскольку родного деда, как, впрочем, и родного отца у мальчика не было. Дедчим прошёл в тёмный дом, за ним потянулись и бабушка, и обе тётушки, и даже помогавшая им Робия - младшая дочь Курбон-биби, тётушка Кабыла-кавунбаша, который играл сейчас в орехи с Кутром, Хосейном и двумя люльчатами Сабиром и Сабитом под вишнями у окон Хуврона-брадобрея и, конечно же, ничего не знал ни о Китове, ни о космосе...

Мальчика так и подмывало выйти к ним и объявить о новости, что он услышал первым, но терять своего именниного достоинства так, по пустякам, ему не хотелось, а потому, ещё не решив, как быть, он тоже потянулся вслед за тётушками в тёмный дом, чтобы по меньшей мере похвалиться Китовым перед дедом.

Но лишь только он переступил через порог, как тут же всё понял: дед обречённо говорил:

- Жуда киммат экан, пулим етмади,<sup>115</sup> - бабушка завздыхала, а одна из тётушек с места и заплакала...

Мальчик понял: это о жеребце. Глаза его сами по себе наполнились слезами и он стал, как вкопанный... Потянувшиеся было из внутренней комнаты обратно во двор тётушки наткнулись в полутьме на него и уже откровенно заплакали, хотя неизвестно почему, пока не вышла следом бабушка и не погнала их во двор, приговаривая, что грех плакать перед празднеством. Мальчика она не заметила.

Вот это и придало ему злость, он вытер слёзы и пошёл на улицу, совсем уже забыв и о Китове, и о своей именинности.

Нет, Кабыла под окнами Хуврона-брадобрея не было. В орехи играли Кутр и двое чёрных

<sup>115</sup> - Очень дорого, денег не хватило...



люльчат - Сабир и Сабит, Хосейн же сидел, прислонившись к своему дому, видимо уже проиграв и глядя не на орехи, а на долговязого Шапика, ковырявшего в носу, приткнувшись под вишнями.

По полдневному проулку, волоча свою куцую тень, прошёл старик Аляпсинду, и мальчик едва лишь подошёл к игрокам, как вслед за стариком прибежал Кабыл-дынеголов, крича: "Битов в космосе, Битов полетел в космос!" Как старику Аляпсинду, безоглядно волочащему свою прибывающую тень, мальчику не захотелось почему-то ни перебивать Кавунбаша, ни доказывать тому, что не Битов, а Китов полетел в космос, и что на самом деле он первым узнал об этом, что именно он сообщил об этом его тётушке Робие... Ничего мальчику под солнцем не хотелось...

- А ему лошадь не купили, - закончил сводку Кабыл, и тогда мальчик сонно подошёл к тому и наискось залепил оплеуху по его дынной голове. Тот замолчал, и только Шапик, как раскручивающийся мотор в несколько оборотов, заладил своё:

- Во... во... во... во... бля... во бля... во бля... даёт...

Игроки на секунду оторвались от игры и опять уткнулись в неё, потому что на последнем гане Кутр поставил "ганаш". Игра приближалась к развязке. И вдруг вместо того, чтобы играть на "ганаш" и выиграть последний орех или же проиграть все выигранные раньше, люльчонок Сабир вдруг схватил последний ган и припустился, крича на ходу:

- Собит, коч!<sup>116</sup>

Сабит, более долговязый чем Сабир - впол-Шапика ростом, метнулся было вслед за братишкой, но ловкий и юркий Кутр успел подставить подножку, и тот грохнулся всеми костями на Шапика. Завязалась маленькая драчка, в которой короткий Кутр все пытался угодить по яйцам верзилы Сабита, а тот почему-то колошматил никчёмного Шапика. И только окрик Фатхуллы-фронтоника заставил и Кутра, который изо дня в день вставлял колышки в первый дверной звонок одноглазого Фатхуллы, и Сабита, окликаемого издали своим чернеющим братом, метнуться по двум сторонам, заканчивая сегодняшнюю игру.

Так и остались они вчетвером в тени, пока не прошёл под солнцем бывший участковый Мусаев, бормоча какие-то лозунги. и тогда Кабыл-кавунбаш предложил сыграть в фильмы...

Вот так и кончился этот день, пусто и ненужно, пока к вечеру вслед за Сатыбалды-домкомом не стали собираться к ним люди из махалли на резку моркови для плова и приготовления завтрашнего пира. Первым пришёл Наби-однорук и поскольку одной рукой он не мог ничего делать, то стал попросту руководить теми, кто приходил позже него. Таджи-Мурада, Ризо-Штангенциркуля и Файзуллу-ФЗУ он посадил за резку моркови, Кун-охуна и Тимурхана послал рубить дрова и колоть уголь. Толиб-мясник занимался разделкой туши, Темир-йул руководил расставлением длинных столов и скамей, Фатхулла посылал гонцов по махаллям и сводил воедино примерное число гостей, к ночи приехал Гаранг-домла и проверил всё ли готово к обряду, поссовет Турдали привёл своего сына Шерзода, который завтра должен был послужить мальчику вместо жеребца, и даже киношник Ортик, кончив прокрутку своего очередного индийского фильма, зашёл к полуночи, чтобы выпить пиалку чая.

Женщины всей махалли готовились сами по себе, в глубине комнат, одна Оппок-ойим всё ещё не приехала из города, куда уехала сватать на завтрашний пир боготворимого и неуловимого Бахриддина. У соседки Айши, две её вдовы домочадки - Саня и Учмах нарезали платки и полотенца из бязи, купленной подешёвке из дома Соли-складовщика. "Ворованное - самое лучшее!" - определила Айша, поскольку домашняя бязь складовщика была столь прочна, что ножницы тупились быстрее, чем старушка Айша успевала бегать к Хуврону-брадобрею в будку, где тот натачивал на своих ремнях не только эти ножницы, но и ножи, которыми резали морковь и лук, мясо и сало, картошку и тыкву, дыни и арбузы.

Словом, вся махалля была при деле, даже горбатый еврей Дядя Моня, о котором никто ничего

<sup>116</sup> - Сабит, тикай!

не знал, и тот вышел красить к пиршеству свою калитку.

Ровно к полуночи землекоп русского кладбища татарин Риф выкопал отменный очаг, на который навесили огромный - на 25 килограммов риса казан, привезённый на грузовике из Кок-терека от старика Занги-бобо мордвином Мурзиным и Мефодием-юрфаком. Заработанную бутылку Мурзин отдал Мефодию, поскольку сам ещё был, как он говаривал, "за рублём". Мефодий же быстро соединил свою извечную троицу вместе с Кун-охуном и Тимурханом и некоторое время спустя они все втроём ушли на станцию, исполнять свой вечный обряд, но ушли на этот раз без шума.

Мальчик не спал эту ночь и впервые не по недосмотру взрослых, а по их настоянию. Надо было устать к завтрашнему событию, чтобы легче его перенести, а может быть ещё зачем, - многое творилось в эту ночь впервые - впервые в тандыре у бабушки пекла лепёшки наёмная Рохбар, впервые дед не насмешничал над двумя одноглазыми с разных сторон друзьями - ширазским персиянином Джебралем и чувстовским таджиком Фатхуллой, сталкивая их лбами - он осанисто, как надлежит хозяину происходящего, наблюдал за всем из тени, шепча что-то своим детям-гонцам, и те уже передавали его распоряжения Наби-одноруку, который уже трещал, как мог...

Но как ни старался мальчик уследить за всем, поскольку ему то и наказывала бабушка, а всё же ближе к утру, поев у тётушки Рохбар в её сарайчике горячей - прямо из тандыра - лепёшки, он сел на хлопковую шелуху, в которую на зиму дед закладывал огромные чёрные арбузы, и как-то прикорнул. Едва ли он спал долго - всего какой-то обрывок сна, из которого его извлёк голос бабушки: "Ну-ка, примерь это!" А успел он увидеть вот что: будто бы в каком-то лапчатом лесу, так что из-под него совсем не видно неба, мальчик натывается на дупло, кишашее осами, и сзади этого дерева вдруг появляется тётушка Рохбар, которая оказывается одноруким дядей Наби, сосущим свою единственную руку, обмакнутую то ли в мёд, то ли в боль. "Я здесь пасечник", - говорит бабушка тётушке Оппок-ойим, у которой почему-то уже вместо руки отнимается нога, "Давай-ка теперь обмакнём сюда твою пипиську"... Мальчик пугается, замечая смеющихся в стороне люльчат и плачущего Шапика, слышит: "Ну-ка, примерь это...". Когда отнятая пиписька превращается в руках в школьную ручку, он печально успеваает подумать о спасительном жеребёнке, но видит у коновязи лишь приставленную лесенку... и обнаруживает всё ту же самую живую лесенку в закутке у тёти Рохбар и слышит живой голос бабушки: "Ну-ка примерь эти сапожки..."

Мальчик сел на нижний перехват лесенки и только теперь припоминая свой сон, стал примеривать новые сапоги.

- Тормасми?

- Этигим тор булса - дунёни кенглигидан не фойда<sup>117</sup>, - произнёс мальчик охрипшим от краткого сна голосом, женщины всплеснули руками и расхохотались, а тётя Рохбар, та и вовсе пошлѣпала рапидой<sup>118</sup> по попке.

- Совсем уже джигит!

Он вышел в этих сапогах, несколько жавших его расплзшиися за босое лето ноги, но жали легко и удобно, как будто бы ступни его покрылись от долгого босоножничания новой облаткой, и он прошѣлся, стуча как будто костяными ногами по цементному пятаку сразу после калитки.

Занимался летний, скорый на подъѣм рассвет. Петухи Мартинсонов будили ишака люли Ибодулло-махсума, а тот - колхозных коров на ферме "Самараси" Фронтовик Фатхулла

<sup>117</sup> - Не малы?

- Что мне польза оттого, что мир велик, если мне жмут сапоги?

<sup>118</sup> нарукавник для печенья лепёшек

отпросился на полчаса и погнал своих ветеранских баранов в тугаи Солёного арыка. Последними захрюкали свиньи корейцев и их запах, отлежавшийся за ночь, пошёл на некоторых струях рассветного ветра в сторону станции, где всюю уже дудел Акмолин и сверещал свистком, пугая невыспавшихся ворон - невыспавшийся Таджи-Мурад. С рассветом, но еще невставшим солнцем люди потянулись к ним на плов.

Первым пришёл ещё сморщенный и не распутившийся после ночной зябкости Рахмон-Кул одиночка - сын Чинали. В последнее время он торговал пивом на остановке, а потому торопился разбавить его водой до начала движения транспорта. Чуть погодя, когда Рахман-Кул, выслушав молитву от Гаранг-домуллы, только коснулся с ним плова на двоих, вошли вдвоём два шофёра Мурзин и Саймулин - один мордвин, другой чуваш, решившие подкрепиться перед выездом в рейс. Следом, четверых весовщиков коктерекского базара привёл с собой наследник Оппок-ойим - Долим-даллол. Потом Таджи-Мурад, держа свисток во рту, привёл Акмолина, оставившего свой маневровый тепловоз на запасном пути напротив будки Юсуфа-сапожника, который по случаю пловодства надел зелёную маргеланскую тубетейку и плёлся, кланяясь на всякий случай и направо, и налево. Вышел Хуврон-брадобрей, пришла махалля с хлопзавода, потом татары с шерстьфабрики, одиннадцать корейцев футболистов перед отъездом в колхоз "Политотдел" на товарищескую встречу с соплеменниками, вслед за ними пришёл люли Ибодулло-махсум, Логинов, Башачук, два Мартинсона. Следом за ними, держа по-узбекски руку пониже сердца, пришёл дорожных дел мастер Белков. Гаранг-домулла уже не справлялся со чтением молитв на приход всякого гостя, а потому по разным углам за встречные молитвы засели и вернувшийся с выпаса фронтовик Фатхулла, и Наби-однорук, что по-шиитски махал единственной рукой перед сыном второго персиянина Гиласа Али Джеффара - Джефарром Али. Тут же после молитв им подавали плов, те чинно отъедали и, запив ленивой пиалкой зелёного чая, ещё раз выслушивали молитву то Толиба-мясника, то подошедшего Кули-бобо, а то и примазавшего к книгочеям Кун-охуна, протрезвевшего после ночной гражданской казни, и вставали, дабы вымыть руки, идти на работу в новый день.

Осман Бесфамильный привёл своего бывшего коллегу, злосчастного Мусаева, со вставшим солнцем, волоча свою тень, вошёл в одиночестве старик Аляапсину, еврей дядя Мойша трижды выходил по воду к крану, пока его не пригласил с собой отведать бесплатного плова полуузбек Наум по кличке "Дай мало ум!" Пришёл заспанный Мукум-букур, делая вид, что идёт с другого плова, хотя все знали, что в это утро никто в округе плова не давал. Райком партии привёз первого фронтовика Гиласа, недавно освобождённого из лагерей Муллу Ульмаса-куккуза - мужа Оппок-ойим и зятя почившего первого большевика Октама-уруса. Поссовет ему в отместку привёз первого жителя Гиласа - слепого старика Гумера. Тот долго шарил рукой и несвязно просил показать ему виновника, и когда мальчик подошёл к дряхлому и прозрачному слепцу, тот отложил в сторону свой бязевый мешочек, что-то шепнул мальчику на ухо и погладив по головке, дал ему какой-то амулет - то ли землю из-под первой шпалы Гиласа, то ли осколок первого кирпича с хлопзавода, то ли какую-то бумажку, вшитую в чёрный бархатный треугольничек, чтобы следом благословить мальчика. Правда, пах Гумер почему-то хлороформом и валерьянкой, а потому мальчик поспешил тут же отойти от него, и, слава Богу, старика повели есть плов с Муллой Ульмасом-куккузом - всегда блаженно улыбающимся, не зная на каком языке с ним заговорят...

К одиннадцати часам пошли женщины - доедать оставшийся плов и наново сваренный Мохорой-холой гороховый суп. Впрочем, мальчик уже не следил, кто за кем и с кем приходит. Ему нужно было идти в соседский двор к тётке Айше, купаться в тазике перед обрядом. Там он купался в корыте под присмотром своей тётушки и медички тёти Жанны, которая обливала его водой и тёрла мочалкой, но не это было противно, а то, что все три вдовы то и дело сновали вокруг, кто поднося ковшик, кто тёплую воду, кто полотенчику, но каждая считала своим долгом

пощипать его пипиську, что сморщилась от неловкости, и отпустить какую-нибудь шутку по её поводу. И даже когда он был искупан и вытерт насухо, тётушка Учмах высморкалась в сторону и теми же сопливыми пальцами опять коснулась пиписьки, как будто бы это был платок! Ф-фу! Так и застыли её сопли по ободку и уже одетый в праздничный разноцветный наряд мальчик всё пытался оттереть эту корочку своими батистовыми штанами, но те только скользили по нему, раздувая пипиську и нестерпимо увеличивая противный след...

Когда он шёл обратно домой, под вишнями Хуврона-брадобрея уже собрались играть в орехи и Кутр, и Шапик и Хосейн, и Сабир с Сабитом, и Кабыл, и Кара и Борат... Наконец, к часу его голодного и невыспавшегося напоили пиалкой горького и противного коньяка, сказав, что это лекарство, дали заесть полной горстью сушённого изюма и посадили на спину дяди Шерзода, который вместо жеребца должен был кружить мальчика вокруг уже разгорающегося костра.

Как-то мгновенно и остро кольнуло в сердце воспоминание ночного минутного сна, и мальчик обхватил борцовскую шею Шерзода. Они вышли во двор. Увы, огонь ещё не разгорелся. Быстро сбегали за какой-то стопкой бумаг - бумаги в стопках не горели, Мидхат-чулак посоветовал плеснуть керосином, но керосина не нашли, послали детей за кружкой бензина к Мурзину или Саймулину. Те были в рейсе. Кто-то сбегал наконец, к переезду на автозаправку и принёс не кружку, а целую канистру. Плеснули бензином и костёр вспыхнул, обдав его таким же жаром, что шёл тошнотворно и изнутри и тут они пошли вокруг костра.

Горел костёр. Пламя подхватывало листы из стопок и возносило их опалёнными в высь. Дети - кроме Хосейна и двух люльчат сбежались смотреть как закупленный Оппок-ойим в городе Кахрамон Дадаев барабанит в пять бубнов.

Горел костёр. Старик Аляпсинду, проходивший мимо увидел, как пляшет его тень при неподвижно оцепеневшем теле и уже падающий, был подхвачен сыном Фатхуллы-фронтовика Ризо-Штангенциркулем...

Горел костёр. Сабир и Сабит повели Хосейна на Зах-арык, пока отец его Хуврон-брадобрей точил лезвие Гаранг-домуллы для обрезания...

Горел костёр. Слепой Гумер, вернувшись с плова в свой затхлый дом, вдруг с острой болью в груди обнаружил, что где-то оставил свой бязевый мешочек полный бумаг, с которыми никогда не расставался. Но Нахшон уехала в город на процесс крымских татар, а пионеры были на каникулах...

Горел костёр. Мальчика всё больше и больше тошнило от этих мимо уставившихся, кружащихся лиц: Учмах, обдавшей ему пипиську соплями, Жанны-медики, не смывшей эти сопли, Толиба-мясника, прижимавшегося в густой толпе к толстому заду подслеповатой Бойкуш, Таджи-Мурада со свистком на шее, не замечавшего этого из-за еженедельной порции двухкилограммового бескостного мяса, кости которого попадали бабушке.

Горел костёр. Сабир и Сабит привели Хосейна на пустынный берег Зах-арыка и, понырив в воду, стали звать с мелкого берега Хосейна. Тот, не умеющий плавать из-за строгих нравов своей шиитской семьи, разделся до белого гола и осторожно сполз в воду. Сабит и Сабир сначала из озорства, а потом всё более и более упиваясь своим могуществом, стали топить Хосейна. Тот начал кричать. "Бакирма, сикаман хозир!"<sup>119</sup> - крикнул из испуга маленький Сабир, а большой, уже

---

<sup>119</sup> Не кричи, вы..бу сейчас!

мучившийся по ночам поллюциями, днями же онанизмом, вздрогнул от тока крови и прямо там, в воде предложил: “Давай кутига сикамиз!”<sup>120</sup>... Хосейн уже плакал, и тогда они снова стали его топить...

Тогда обессиленный, он согласился на это, лишь бы вывели его из этой ледяной и страшной воды, переполнившей ему все тошнотворные внутренности. На голом берегу, уткнув его лицом в толстую и горячую пыль и поставив "раком", сначала костистый Сабит прожёт ноющий и пульсирующий зад своим быстрым семенем, а потом Сабир ёрзал на нём, пока Сабит держал его, вырывающегося и ревушего, за руки, зажав голову между ног, отчего всё лицо Хосейна перемазалось слюнями, слезами и сопливым люлиевским семенем.

Потом, когда ещё бессемянный Сабир слез с него, удовлетворив свою щекотку, из расслабившегося от отчаяния зада Хосейна сам собой пошёл понос, перемежаемый вогнанным газом, отчего братья пришли в ярость и перевязали ему его собственной майкой руки за спиной, а штанами - ноги у щиколоток.

"Улдираман! Барибир улдираман!"<sup>121</sup> - ревел мальчишка, тогда люльчата, увидев вдалеке старика Занги-бобо, собиравшего по полевым арыкам мяту для облагораживания своего насоя на курином помёте, перепуганные, засунули Хосейну в рот его рубашку. Хосейн укусил до крови руку Сабира, но Сабит пнул его со всего размаху в глаз, и пока Хосейн приходил от удара в себя, успел заткнуть ему рот. Кровь и сопли не давали дышать Хосейну и он стал дёргаться в судорогах...

- Кара, улвотти!<sup>122</sup>... - перепугался младший Сабир, но Сабит уже знал, что надо делать:

- Давай, сувга ташиймиз!<sup>123</sup>

Они попытались поднять дёргающегося Хосейна, но только стянули узел с его ног, а потому просто стали перекачивать его по берегу и, всего его измазанного пылью и кровью, плюхнули в воду.

В воде Хосейн отчаянно задёргался, и даже кляп вытек из его рта - он жадно схватил ртом воздух и в следующее мгновение нечеловечески закричал.

-Тошминан ур!<sup>124</sup> - запищал Сабир, видя как дёрнулся вдалеке Занги-бобо. Сабит стал искать булыжники и бросать их в задыхающуюся голову. Первый булыжник оказался земляным, ударившись об голову он растёкся грязным пятном по уносящейся медленной воде. Зато третий, попавший точно, камень размозжил голову Хосейну и тот, перестав кричать и булькать, ушёл под воду. Вскоре растаяла и кровавая лужа на Зах-арыкской воде.

- Калла ташийсанми?<sup>125</sup> - спросил Сабит с камнем в руке дрожащего Сабира. Сабир вдруг дёрнулся и крича: "Узинг таша, жалаб!"<sup>126</sup> - припустился по зах-арыкскому берегу, боясь, что Сабит решил теперь убивать его. Сабит же, пугаясь, что Сабир всё расскажет, припустился за братом. Один удивлённый Занги-бобо видел, как они бежали, что-то истошно крича, по овражистому берегу реки...

Мальчик не вытерпел тошноты и его вырвало прямо на спину Шерзода. Визг и крики, перебившие пять бубнов Кахрамона Дадаева, поднялись вокруг. Кто-то кричал, кто-то подскочил к нему, кто-то бросился гасить костёр. Началось столпотворение. Их вынесли из круга, а его всё рвало и рвало. И уже когда, казалось бы, вышел из него весь коньяк и весь кишмиш, его

<sup>120</sup> Давай вы..бем его в ж..у!

<sup>121</sup> Убью, всё равно убью!

<sup>122</sup> Смотри, умирает...

<sup>123</sup> Давай, бросим его в воду!

<sup>124</sup> Бей камнем!

<sup>125</sup> Будешь нырять?

<sup>126</sup> Сам ныряй, блядь!

продолжало рвать ядовито-жёлтой и горькой желчью.

- Пора! Пора! - кричал кто-то, и его наспех умывая и вытирая в полубессознательном состоянии, понесли в дом под деревьями. На ходу ему перевязывали туго руки, тут же кто-то наложил крепкий узел на две освобождённые из сапог щиколотки, его бросили в топкую постель, кто-то огромный и беспрекословный стянул ему перед всем миром штаны - последним глотком взгляда он успел заметить прилипших к окну Жанну-медичку и её племяшку - Мошку Наташку, а ещё Шапикову мать Учмах, Кабыла-дынеголова и Кутра, и... острая боль, как гребень стыда, подбросила его ввысь - выше потолка, выше синего неба и жёлто-слепящего солнца - в самую тьму, куда летел тем летом и Китов...

"Вот и я умер..." - спокойно и обречённо подумал мальчик, - и только стал свыкаться с этой мыслью, как в растворённое настезь окно хлынули крики и вопли, и открывший глаза на том свете мальчик увидел всё тех же жарко кричащих Учмах и Жанну, Зумрад и Хадичу Измайлову, которую все звали Катериной Измайловой. На мгновение чья-то огромная рука поднесла сочащийся кровью малюсенький кожаный кружок, сквозь который просветила красная лампочка, и вдруг Гаранг-домулла, заковыляв на своих кривых ногах к окну, бросил эту ненужную плоть наружу сквозь железную решётку окна, и женщины, завопив, стали нешуточно драться за магическое средство нового деторождения...

И мальчик закрыл глаза.

Во дворе бесконечно вопили женщины...

## Глава 37

Зеби<sup>127</sup> была в молодости чуть ближе к своему имени, а потому никогда не держала в себе зла. Однажды, на женском угощении по случаю возвращения предателя Родины и первого ветерана Муллы Ульмаса-куккуза с войны и из последующих лагерей, она нагнулась за лепешкой и пустила громкий ветер. Тишина провисла в собрании. Благо, под рукой оказался ее седьмой сын Барот, которому она залепила при всех оплеуху и, нещадно проклиная, прогнала его вон за допущенную бестактность. В подпорченном воздухе затихшего собрания так и остался висеть недоуменный вопрос бедного малыша: "Ман нима килдим!?"<sup>128</sup>

Но собрание продолжалось...

---

<sup>127</sup> красавица

<sup>128</sup> "А что я сделал!?"